З. ГИППИУС ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДНЕВНИКИ ORPHEUS (ОРФЕЙ) 1982

Зинаида Гиппиус

Петербургские дневники

(1914-1919)

ОРФЕЙ
1982

Зинаида Гиппиус

Петербургские дневники

(1914-1919)

ОРФЕЙ
1982



TYPESET by ANY PHOTOTYPE, N.Y.

ПРЕДИСЛОВИЕ*

На старом издании «Синей книги» (первом и единственном) помета: Белград, 1929. Эта помета требует объяснения.

Русская эмиграция имела между двумя войнами (1918-1939) несколько центров. Это были Париж, Берлин, Прага, Варшава, Рига и Брюссель. Это не значит, что в Лондоне, Риме и Женеве не было русских. Они там были. Но кроме ресторанов с русской едой и православных церквей никакого другого места объединения мы бы там вероятно не нашли. Такие города, как Гельсинфорс и Харбин главным образом были населены людьми, еще до революции (в большинстве после 1905 г.) жившими в Финляндии и Сибири. Они не считали себя эмигрантами, они были там постоянными жителями.

В Риге выходили две ежедневные газеты, утром и вечером, была русская гимназия, русское «меньшинство» голосовало в латвийский парламент. В Бельгии была русская молодежь, учившаяся главным образом в Лувенском университете, была большая группа русских католиков, были русские доктора, русско-еврейский литературный клуб. В Берлине, вплоть до прихода Гитлера к власти, выходила газета кадетов «Руль», и все еще доживали свой век одно или два русские издательства из тех, которые открылись в 1920-х г.г., когда их там было несколько десятков.

В Праге, по сравнению с Парижем, средний возраст русских эмигрантов был моложе. Это может показаться странным, принимая во внимание, что Вас. Ив. Немирович-Данченко, жившему там, было уже за 80 лет, и внушительное число русских университетских профессоров, там преподававших, было весьма почтенного возраста. Однако «масса» была молодая. Президент Чехословакии, Томас Масарик, после периода эвакуации с юга России и Крыма и расселения большой части русских на Балканах, открыл двери чешских университетов для русской эмигрантской молодежи, и с его помощью была открыта русская гимназия. Что касается Белграда, то царствующий там, в Сербии, царь Александр(убитый во Франции в 1934 г. хорватами) в самом начале 1920-х г.г. предпринял шаги, чтобы удержать некоторых русских анти-большевиков с семьями у себя в стране. Это были люди крайне консервативных, или вернее — реакционных кругов Петербурга, бывшие чиновники царского правительства, Сената и Синода, военные, высшие чины Добровольческой армии и кое-какая аристократия. Из них очень многие скоро очутились на казенной службе в Сербии. Дети их, подрастая, постепенно старались сбежать в Париж.

Для тогдашнего сербского правительства и царя Александра, а также для большинства русской эмиграции в Сербии, трагедией была не только революция Октябрьская, но и революция Февральская. Но кое-какое понимание того, что произошло, все-таки было, если не в русских кругах, то в кругах сербской и хорватской интеллигенции. И в Академии наук профессор А. А. Белич[1], ее президент, живший, учившийся и учивший когда-то в России, проявил инициативу, и правительство решило начать выплачивать ежемесячное пособие знаменитым и старым русским писателям, оказавшимся в эмиграции (и не только живущим в Белграде), а также дать средства для учреждения эмигрантского издательства для издания их сочинений; параллельно решено было в 1928 году устроить в Сербии Зарубежный съезд, для объединения русских политических и культурных деятелей в рассеянии.

Пособие, выплачиваемое русским писателям-эмигрантам (знаменитым и старым), было небольшое, но оно высылалось регулярно. Мне известны 8 человек в Париже, которые получали его, но я полагаю, что не мало людей в самом Белграде, а также вероятно в Праге, состояли в списке. Пособие составляло приблизительно 300 франков в месяц на человека. Другая сумма, тоже около 300 франков, приходила тем же лицам из Праги, из собственных сумм президента Масарика. На 600 франков в Париже в те годы прожить было нельзя, но они могли покрыть расход по квартире, по электричеству, газу, метро. Этого было не много, но это было хоть что-то. Сербская субсидия, насколько я помню, кончилась после 1934 г., чешская продолжалась до 1937 г. Они давали возможность писателям (знаменитым и старым) писать, в то время как актеры садились за руль такси, бывшие профессора разносили пирожки, а один из бывших членов Временного правительства открыл прачечную, где собственноручно считал и стирал грязное белье клиентов. Ему помогала жена.

Эти восемь человек были: Мережковский, Гиппиус, Бунин, Ремизов, Зайцев, Тэффи, Куприн и Шмелев. Ни Марина Цветаева, ни В. Ф. Ходасевич никогда казенных регулярных субсидий не получали: они не были ни достаточно стары, ни достаточно знамениты.[2]

По плану, одобренному сербской Академией и королем, проф. Белич выпустил около 40 томов русских авторов, поколения людей, начавших свою литературную деятельность около 1900 года. Не могу сказать, были ли выпущены издательством книги авторов, не включенных в списки субсидий, кажется, таких не было. Две книги Мережковского были выпущены, три книги Шмелева, две книги Куприна, рассказы Тэффи, Ремизова, и другие. «Синяя книга» Гиппиус вышла спустя полгода после Зарубежного съезда. Рукопись чудом вернулась к ней в руки из Советской России в 1927 г.

Она оставила ее в Петрограде, когда уезжала, и считала ее навсегда потерянной.

Личное знакомство эмигрантских писателей с проф. Беличем, а также прием у короля, произошли именно в дни Зарубежного съезда, на который поехала главным образом та часть парижской эмиграции, которая считала себя непримиримой не только по отношению к Октябрьской революции (ее, естественно, не признавала вся эмиграция, иначе зачем было ей жить в изгнании?), но и к революции Февральской. Разумеется, ни либеральный демократ П. Н. Милюков, редактор «Последних новостей», ни журнал «Современные записки» к Зарубежному съезду никакого отношения не имели. Это отнюдь не означает, что произошел разрыв между печатавшимися в издательстве проф. Белича и этими изданиями. Все понимали, что обеим сторонам приходится идти на компромисс. Да и среди поехавших на белградский съезд не все одинаково легко решились на этот шаг: Зайцеву и Ремизову сделать его было нелегко, Шмелев, Куприн и Бунин поехали с надеждами. Главной фигурой на съезде был глава синодальной церкви заграницей, митрополит Антоний, крайний реакционер, расколовший православную церковь в эмиграции.

З. Н. Гиппиус пережила два счастливых момента в связи с «Синей книгой». Первый был, когда друг секретаря Мережковских, В. А. Злобина, жившего у них в доме, неожиданно приехал из Ленинграда и привез З. Н. ее старый дневник. Второй момент был, когда Белич издал эту книгу. Ни в «Соверменных записках», ни в издательстве, связанном с ними, такая книга издана быть не могла. Несмотря на перемены в умах (или вернее — душах) четырех редакторов, членов партии социалистов-революционеров, старые принципы в них были живы, пример — отказ их напечатать в журнале ту главу «Дара» Набокова, где была иронически подана «жизнь Чернышевского».

Прямого бойкота Гиппиус ни со стороны газеты Милюкова, ни со стороны эс-эровского журнала не было. Бойкот — роскошь, которую эмигранты не часто могли себе позволить. Автор был нужен русской печати, русская печать была нужна автору. Но охлаждение произошло — и с Милюковым, и с Керенским, и с Бунаковым (один из четырех). Раны постепенно залечились, но рубцы остались. Кадетов З. Н. никогда не любила (это была до революции партия конституционно-**монархическая**); Бунакова она временно вычеркнула из числа ближайших друзей. (Позже она писала о его «неумной слабости», считая его «все-таки человеком... симпатичным»). Что касается Керенского, то она соглашалась с мнением Савинкова о нем, когда Савинков говорил, что для Керенского «свобода — первое, а Россия — второе». Мережковские в свое время, еще до 1917 г., были знакомы с Керенским и даже «любили его».

Самого Савинкова она никогда не понимала: одно время он значил для нее больше всех остальных, но очень скоро она усомнилась в нем, а затем — предала анафеме. Но самой большой катастрофой было сначало расхождение, а потом и разрыв с давним другом ее и Дмитрия Сергеевича, Дмитрием Владимировичем Философовым, с которым они много лет жили под одной крышей и с которым теперь (1918-1921) потеряли полностью общий язык.

Есть несколько причин, почему «Синяя книга», оказавшаяся снова в наших руках после пятидесяти лет, будет прочитана и перечитана, и не будет забыта. Она принадлежит к числу исключительных документов исключительной эпохи России (1914-1920) и бросает яркий (и безжалостный) свет на события, потрясшие мир в свое время. Все главные участники — видные деятели Февральской революции и личные знакомые (или даже близкие друзья) Мережковских. Впрочем, сказать «обоих Мережковских», пожалуй будет не совсем справедливо. Д. С. всю жизнь интересовался книгами, идеями и даже фактами (правда не личными фактами отдельных людей, но фактами общественно-историческими) гораздо сильнее, чем самими людьми. З. Н. — наоборот. Она каждого встречного немедленно клала, как букашку, под микроскоп, и там его так до конца и оставляла. Конец мог быть — ссорой, или расхождением, или вынужденной разлукой, или «изменой» (не ее, своих измен она никогда не признавала, «изменяли» ей. У нее даже есть строка в стихах: «Я изменяюсь, но не изменяю», и спорить с этим утверждением было бы безрезультатно). Под микроскопом лежали и Иван Петрович, и Петр Иваныч, и Борис Викторович, короткое время находился там и А. Ф. Керенский, и всю свою долгую жизнь — Д. В. Философов. Лежал Бунин (скоро ей прискучивший), и даже его жена (об уме которой М. Ф. Андреева, вторая жена Горького, однажды выразилась весьма неуважительно, но справедливо[3]). Лежали под микроскопом поэты Петербурга начала нашего столетия, и поэты парижской эмиграции. И страстно любопытствуя о человеке, она, с неостывающим пылом молодости (до 75 лет!), вкривь и вкось, часто неверно, часто предвзято, судила его и о нем, по принципу «кто не с нами, тот против нас». А иногда она откладывала его куда-нибудь далеко от себя и объявляла: «я ничего не понимаю», не догадываясь, что в этом признании заключается нечто гораздо более серьезное, чем кокетливое, женское «ах, объясните мне пожалуйста!», что-то глубоко связанное с ее собственными необоримыми недостатками и ограничениями, с ее неполнотой и эгоцентризмом.

Но она знала всех, кто тогда был на верхах России, и не просто была знакома, а знала их годами, особенно тех, с кем у нее было хотя бы некоторое относительное единство идей. Вторая причина — вполне прозаическая: если мы взглянем на карту Петербурга, то

мы увидим, что З. Н. и Д. С. жили рядом с Государственной Думой, и к ним доходило то, что делалось в центре России не по слухам, или на второй день, а так, как если бы они находились за кулисами сцены или может быть сидели в первом ряду театра. Сегодня Милюков говорит о Распутине, завтра Керенский требует политической амнистии, послезавтра левая часть депутатов предает гласности дело военного министра Сухомлина, а еще через год или два — с этой же трибуны объявляется отречение Николая II. Дом стоял на углу Сергиевской и Потемкинской, в окнах квартиры был виден купол Таврического дворца, гараж думских автомобилей был за углом, и у заседавших там денно (и нощно!) государственных людей не было другого пути из Таврического сада к Литейному и центру столицы, как Сергиевская улица (более долгий путь шел по Таврической улице к Суворовскому проспекту).

Третья причина лежала в З. Н. самой. Ее личность окрашивает каждую страницу дневника. В те годы даже прозорливые и мудрые люди еще не умели ни понимать самих себя, ни понимать других вокруг. Все приходились друг другу загадками, и люди посвящали иногда многие годы, чтобы отгадывать друг друга. Теперь мы знаем, что она из своих неврозов брала свою энергию, из своих неврозов делала свои стихи, писала свои дневники, и своими неврозами кормила свое мышление, делая свои мысли яркими, живыми и острыми не только благодаря их **сути,** на которой, как на драгоценном компосте, они выростали и зрели, но и благодаря тому стилю, которым они облекались.

Но все то, что было результатом этой энергии и иногда сверкало и шипело как сноп электрических искр в ее писаниях, роковым образом несло в себе присущее всякому неврозу ограничение, которое так явственно видно на страницах дневника: невозможность, а может быть и нежелание собственной внутренней эволюции, неумение принять ее в других, отсутствие чувства перспективы, недостаток дисциплины в ограничении своих политических страстей, страх себя самой и своего свободного суждения, — она не видела себя и потому не могла бороться с этими слабостями. Впрочем, не сказала ли она однажды: «Люблю я себя, как бога»?

В дружбе она признавала только «глобальное» согласие, только «тоталитарный унисон», не знала, что такое «дружеский контрапункт» отношений. Раз и навсегда, еще в молодости, построив непроницаемую стену между сознанием и чувством, перевязав узлом нить, ведущую от «ума» к «сердцу», она только в редкие минуты слабости оплакивала свою раздвоенность. Приведу здесь первые и последние строки одного ее стихотворения:

Свяжу я в узел нить
Меж сердцем и сознаньем,

Хочу разъединить
Меня с моим страданьем.
. . . .
Но плачу я во сне,
Когда слабеет узел.

Но было и другое: какая-то податливость на каждый непроверенный слух (например — о «китайском мясе»). Она видела все в преувеличенном объеме и связывала в одно — Ленина и каннибализм (она писала: Ленин-Ульянов и Троцкий-Бронштейн), Ллойд Джорджа и дьявола, издателя Гржебина и ворованные ценности Эрмитажа. И даже открытие Дома искусств (с помощью Горького), где писатели, и поэты, и художники могли наконец в 1920 г. обогреваться зимой, встречаться, говорить в чистых комнатах о стихах, есть пшенную кашу в елисеевской кухне, было воспринято ею, как космическое (или всероссийское) безобразие, бесстыдство и мерзость. Что-то жестокое, викторианское, стародевическое, угрюмое звучит в ее возмущении тем фактом, что люди все еще (или опять) ходят в театр и «любуются Юрьевым» и «постановками Мейерхольда», и что кто-то с кем-то танцует фокстрот. И ее приводил в бешенство «марксистский мессианизм», потому что в ней самой глубоко дремала ее общая с Д. С. великодержавность, презрение к инородцам, живущим на российской земле. Позже это выветрилось из нее, и она даже стыдилась этих своих чувств. И она, и Д. С. никогда не забывали, что русская действительность XX века была результатом шести последних царствований и той культурно-политической реальности, которую эти царствования породили.

Но вернемся к «тоталитарному унисону». Он был у нее полностью с Д. С., который по существу был и терпимее, и спокойнее ее, но — и время это доказало — был и слабее, и элементарнее в своих неврозах. Две черты были характерны для него. Первое было — чувство вины, которое было и в других людях его поколения, а также и следующего, от древних старцев — Н. В. Чайковского, О. С. Минора, Ек. Брешковской, до младших депутатов в Учредительное собрание. Д. С. мучился вопросами: кто виноват в том, что произошло, могло ли все быть иначе, когда и кем была сделана ошибка? В. А. Маклаков говорил об этом открыто — спрашивал: «торопились мы или опаздывали? Поздно было для реформ? рано для революции?» Д. С. никогда не забывал этих вопросов, он кричал о них, они постепенно стали невыносимы и в конце концов убили его.

Как человеку религиозному и всю жизнь имевшему сложные отношения с русской церковью (его хоронили по православному обряду, что тогда удивило многих), он не мог мириться с фактом, что русские всегда любили сектантов и поэтому «допустили Распу-

тина», что и Бердяева, и Бонч-Бруевича тянуло к «изуверам», чермяковцам и щетининцам, а Щетинин сам был только неудачливый Распутин, которого Бонч «хотел обработать на божественную социал-демократию». Он не мог принять факта, что петербургский митрополит Питирим был другом Распутина, и вместе с З. Н. боялся, что, если опять вернутся Романовы, вокруг царя «может завиться сильная черносотенная партия, подпираемая церковью».

Вторая черта была его пророческая сила, проявлявшаяся как в писаниях, так и в речах. Особенно она проявилась в «Царстве Антихриста», где он говорит об угрозе в будущем русского большевизма западному миру.

В наше время мы опять видим появление такого «особенного» человека и слышим его мировой голос. Он знает, что он видит будущее и уверен, что он один знает его. Мережковского сначала слушали тысячи, — пятьдесят лет его лучшие книги были в печати, переведенные на 14 языков от Португалии до Японии. Это были обе трилогии — «Воскресшие боги» и «Александр Первый и декабристы». Потом его стали читать сотни. Его перестают принимать и слушать короли, президенты республик, главы государств и римский папа. И в 1930-х г.г., в зале Лас-Каз, в Париже, рассчитанной на 160 слушателей, где обычно происходят русские собрания, рядом с церковью св. Клотильды, у метро Сольферино, на его вечер (лекцию) собирается сорок человек, почти все ему лично знакомы. И он, картавя, как Ленин, как Лев Толстой, как Николай II, вдохновенно пророчит, что **они** не только **наша** проблема, но **они** и **ваша** проблема, и через двадцать, через пятьдесят лет она встанет перед вами.

К годам 1919-1920 Зинаида Николаевна возвращалась несколько раз: в «Возрождении» в декабре 1951 г. (№ 12) и в январе 1951 г. (№ 13) Злобин посмертно напечатал ее рассказ о Польше 1920 г., а в 1951 г. вышла ее посмертная книга «Дмитрий Мережковский», в которой говорится и о военных, и о революционных годах, и о раннем периоде эмиграции. Но это уже не ежедневная, взволнованная, живая речь о событиях, бегущих изо-дня в день. Это воспоминания, сведение счетов, список обид. Что касается книги, то там не столько сказано о Д. С., сколько об их общей жизни. Книга обрывается на неконченном абзаце. Последние 15 страниц — бормотанье лунатика, потерявшего связь с действительностью. И речь З. Н. была оборвана смертью, она не рассчитала время, она слишком поздно принялась за книгу, которую давно собиралась написать, и «верные слова», за которые ее так когда-то ценил Брюсов, и которые всю жизнь шли к ней сами собой, теперь не давались ей.

И потому так важно новое издание ее живого, огненного днев-

ника, ее «Синей книги», написанной в доме на Сергиевской. А все то, что было потом набросано, сказано, опубликовано, если и не ушло еще в небытие, то когда-нибудь уйдет под «крыло забвения», о котором она сама написала, не то страшась его, не то ища его, как всегда полная противоречий, как своих собственных, так и своего времени.

Н. Берберова

Принстон, 1980

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Александр А. Белич (1876-1960) сербский славист, языковед, президент сербской Академии Наук, позже (1947) почетный профессор Московского и др. университетов, видная фигура в послевоенной Югославии.

[2] Здесь уместно коснуться М. И. Цветаевой и ее литературной судьбы в эмиграции, в нескольких строках напомнив ее взаимоотношения с «либерально-демократической» частью эмигрантской интеллигенции. Они были всегда натянуты. От П. Н. Милюкова (или даже от И. В. Гессена, редактора берлинского «Руля») до редакционной коллегии «Современных записок», людей коробило от ее увлечения «белой армией» и «героями белой борьбы». Страстное, бескомпромиссное увлечение это сделало невозможным для М. И. стать ни постоянной сотрудницей русской «демократической» прессы, ни создать дружеские отношения с редакторами этих изданий. Ее безаппеляционное обоготворение «лебединого стана» и «русской Вандеи» поставило ее по другую сторону эмигрантской баррикады, туда, где печатались монархические листовки белградских реакционеров. Сама она поняла слишком поздно, что там, за чертой, где были ее «герои», ее никто не полюбит и даже никто не поймет, и что ее высокое искусство не дойдет до умов наиболее серого, заскорузлого и темного класса царской России.

[3] З. Н. Гиппиус видимо ничего не знала о М. Ф. Андреевой: ни что она была членом РСДРП (б) с самого начала ее образования, ни что она была личным другом Ленина, ни что ее первый муж, отец ее детей, которого она бросила ради Горького, был тайный советник Желябужский, крупный чиновник одного из министерств в Петербурге.

ИНИЦИАЛЫ В ТЕКСТЕ

Стр. 8 Т. — Тата, Татьяна Николаевна Гиппиус, сестра З. Н.
Стр. 14 К. Р. — вел. кн. Константин Константинович Романов.
Стр. 16 М. — Иван Иванович Манухин, доктор.
Стр. 19 Д. В, Дима — Дмитрий Владимирович Философов.
Стр. 117 И. Г. — Иосиф Владимирович Гессен, кадет, редактор газеты «Речь».
Стр. 124 Ч. — Чхенкели, соц.-демократ, член Гос. Думы.
Стр. 126 Х. — Илья Исидорович Фондаминский (Бунаков).
Стр. 132 Ел. — жена Савинкова, Елена. (предположительно)
Стр. 161 Л. — Евгений Ал. Ляцкий, литератор.
Стр. 167 К. К. С. — Керенский, Корнилов, Савинков.
Стр. 216 Х. — видимо тоже доктор Манухин, на этот раз только.

(Синяя книга, страницы оригинала 1929)

Стр. 7 И. И. — доктор Манухин.
Стр. 19 Н. В. — Натан Венгров.
Стр. 20 З. — Владимир Ананьевич Злобин, секретарь Мережковских.
Стр. 25 Т. — Татьяна Николаевна Гиппиус.
Стр. 31 Д-ский — Добужинский, М. В.
Стр. 31 А-ский — Владимир Николаевич Аргутинский-Долгоруков.
Стр. 34 Х. — не Фондаминский, который в это время уже был на юге.
Стр. 34 Р. — Н. А. Розанель, актриса.
Стр. 35 Вера Гл. — Вера Глебовна Савинкова, вторая жена (?) Савинкова.
Стр. 37 Т. — Варвара Васильевна Тихонова, жена А. Н. Тихонова.
Стр. 37 Комиссар К. — Борис Гитманович Каплун, брат издателя Сумского.
Стр. 39 А. В. — Александр Введенский, священник «обновленной» церкви.

(Черная книжка)



Д. Философов Д. Мережковский З. Гиппиус В. Злобин

История моего Дневника

«Черная книжка» — лишь сотая часть моего «Петербургского Дневника», моей записи, которую я вела почти непрерывно, со дня объявления войны. Я скажу далее, какая судьба постигла две толстые книги этой записи, доведенной до февраля-марта 1919 года. Сейчас отмечаю лишь то обстоятельство, что их у меня нет. И я должна сказать о них несколько слов прежде, чем дать текст записи последней, касающейся второй половины 1919 года. Правда, этот последний дневник написан несколько иначе, отрывочнее, короткими отметками, иногда без чисел. Но все-таки он — продолжение, и без фактических ссылок на первые тетради он будет непонятен даже внешне.

Наша жизнь, наша среда, моя и Мережковского, и наше положение, в общем, были благоприятны для ведения подобных записей. Коренные жители Петербурга, мы принадлежали к тому широкому кругу русской «интеллигенции», которую, справедливо или нет, называли «совестью и разумом» России. Она же — и это уже конечно справедливо — была единственным «словом» и «голосом» России, немой, притайно-молчащей — самодержавной. После неудавшейся революции 1905 года — неудавшейся потому, что самодержавие осталось, — интеллигенция если не усилилась, то расширилась. Раздираемая внутренними несогласиями, она, однако, была объединена общим политическим, очень важным отрицанием: отрицанием самодержавного режима. Русская

интеллигенция, — это класс или круг, или слой (все слова не точны), которого не знает буржуазно-демократическая Европа, как не знала она самодержавия. Слой, по сравнению со всей толщей громадной России, очень тонкий; но лишь в нем совершалась кое-какая культурная работа. И он сыграл свою, очень серьезную историческую роль. Я не буду ее определять, я не сужу сейчас русскую интеллигенцию, я просто о ней рассказываю.

Разделения на профессиональные круги в Петербурге почти не было. Деятели самых различных поприщ, — ученые, адвокаты, врачи, литераторы, поэты, — все они так или иначе оказывались причастными политике. Политика, — условия самодержавного режима, — была нашим первым жизненным интересом, ибо каждый русский культурный человек, с какой бы стороны он не подходил к жизни, — и хотел того или не хотел, — непременно сталкивался с политическим вопросом.

Когда после 1905 года появился призрак общегосударственной работы, — создалась Дума, — и народились так называемые «политические деятели», — эта специализация ничего, в сущности, не изменила. Только усилилась партийность; но самый видный «политический деятель» оставался тем же интеллигентом, в том же кругу, а колесо его чисто-государственной, политической деятельности вертелось в пустоте. Прибавился только некоторый самообман, — а он был даже вреден.

Не всякий интеллигент, конечно, принадлежал фактически к той или другой партии; но все в них разбирались, и почти каждый сочувствовал какой-нибудь одной более, чем остальным. Междупартийная борьба не прекращалась; но так как при данных условиях она принимала довольно отвлеченные формы, и так как все партии сходились на ненависти к самодержавию, то русские круги интеллигенции, даже не центральные, были в постоянном соприкосновении.

Мы, т.е. я, Мережковский и Философов, а также некоторые друзья наши, склонялись, как писатели, к идейным сторонам общественного вопроса. Не входя ни в одну из политических партий, мы, однако, имели касание почти ко всем. В той, которой мы наиболее сочувствовали, у нас было много давних друзей. Задолго до войны мы сблизились с некоторыми эмигрантами (между прочим с Савинковым), с которыми мы

поддерживали постоянные сношения. Это была партия социалистов-революционеров. Несмотря на плохо разработанную идеологию, партия эта казалась нам наиболее органической, наиболее отвечающей русским условиям. За соц.-революционерами, как народниками, стояло уже свое историческое прошлое. Что касается партии социал-демократической, — партии, сравнительно новой в России, лишь после 1905 года оформившейся у нас по западным образцам и уже расколотой на большевиков и меньшевиков, то самая основа ее — экономический материализм, — была нам, и некоторой части русской интеллигенции, особенно чужда (как и самому русскому народу, — казалось нам). Все десять лет мы вели с ней последовательную, очень внутреннюю, идейную борьбу.

Призрак конституции, Дума, послужила созданию партии «умеренных», либеральных, стремящихся к государственной работе в легальных рамках. Как уже было упомянуто, эта работа в конечном счете тоже оказывалась призрачной. Партия конституционно-демократическая (ка-детская), единственно значительная либеральная русская партия, в сущности не имела под собой никакой почвы. Она держалась европейских методов в условиях, ничего общего с европейскими не имеющих. Но, конечно, если в области политики работа либералов и была бесплодна, то в области культуры они кое-что сделали — или делали, по крайней мере. Этим объясняется то, что либералы, в предвоенные годы, постепенно завоевывали себе все больше и больше сочувствующих среди интеллигенции.

Мы близко соприкасались с либералами, благодаря тому, что Философов, не входя в партию ка-де, работал в партийной газете «Речь» и позиция его имела много общего с позицией либеральной.

Таким образом, вся скудная политическая жизнь России, сконцентрированная в русской интеллигенции, в нелегальных и легальных партиях, около вырождающегося правительства и около призрачного парламента, — *около Думы,* — вся эта жизнь лежала перед нашими глазами. Не надо русскому писателю быть профессиональным политиком, чтобы понимать, что происходит. Довольно иметь открытые глаза. У нас были только открытые глаза. И мой дневник естественно сделался записью общественно-политической.

Здесь кстати сказать, что даже внешнее, географическое, наше положение оказалось очень благоприятным для моей записи. Важен Петербург, как общий центр событий. Но в самом Петербурге еще был частный центр: революция с самого начала сосредоточилась *около Думы,* т.е. около Таврического Дворца. Прямые улицы, ведущие к нему, были во дни февраля и марта 17 года словно артериями, по которым бежала живая кровь к сердцу — к широкому Дворцу екатерининских времен. Он задумчиво и гордо круглил свой купол за сетью обнаженных берез старинного парка.

Мы следили за событиями по минутам, — мы жили у самой решетки парка в бельэтаже последнего дома одной из улиц, ведущих ко дворцу. Все шесть лет, — шесть веков, — я смотрела из окна, или с балкона, то налево, как закатывается солнце в туманном далеке прямой улицы, то направо, как опушаются и обнажаются деревья Таврического сада. Я следила, как умирал старый дворец, на краткое время воскресший для новой жизни, — я видела, как умирал город... Да, целый город, Петербург, созданный Петром и воспетый Пушкиным, милый, строгий и страшный город — он умирал... Последняя запись моя — это уже скорбная запись агонии.

Но я забегаю вперед. Я лишь хочу сказать, что и это внешнее обстоятельство, случайное наше положение вблизи центра событий, благоприятствовало ясности моих записей. Мне кажется, если бы я даже не была писателем, если б я даже вовсе не умела писать, но видела бы, что видела, — я бы научилась писать и не могла бы не записывать...

Война всколыхнула петербургскую интеллигенцию, обострила политические интересы, обострив в то же время борьбу партий внутри. Либералы резко стали за войну, — и тем самым в какой-то мере за поддержку самодержавного правительства. Знаменитый «думский блок» был попыткой объединения левых либералов (ка-де) с более правыми — ради войны.

Другая часть интеллигенции была против войны, — более или менее; тут народилось бесчисленное множество оттенков. Для нас, не чистых политиков, людей не ослепленных сложностью внутренних нитей, для нас, не потерявших еще человеческого здравого смысла, — одно было ясно: война для России, при ее современном политическом положении, не может окончиться естественно; раньше конца ее — будет ре-

волюция. Это предчувствие, — более, это *знание,* разделяли с нами многие.

«...Будет, да, несомненно, — писала я в 16-ом году. — Но что будет? *Она,* революция настоящая, нужная, верная, или безликое стихийное *Оно,* крах, — что будет? Если бы все мы с ясностью видели, что грозные события близко, при дверях, если бы все мы одинаково понимали, были готовы встретить их... может быть,они стали бы не крахом, а спасением нашим...» Но грозы этой не видали «реальные политики», те именно, которые во время войны одни что-то делали в Думе, как-то все-таки направляли курс — либералы. Во всяком случае они стояли за правительством; здание трещит, казалось нам, — и не должны ли они первые, своими руками, помочь разрушению того, что обречено разрушиться, чтобы сохранить нужное, чтобы не обвалилось все здание и не похоронило нас под обломками!

Но либералы все правели, ожесточая крайние левые партии (у них была кое-какая связь с низами, хотя слабая, кажется), ожесточая даже и не самые крайние. Я помню, как однажды Керенский, говоря со мной по телефону после какой-то очень грубой ошибки думских лидеров, на мой горестный вопрос «что же теперь будет?» отвечал: «будет то, что начинается с а...», т.е. анархия; т.е. крах. «*Оно*».

Керенского мы знали давно. Он бывал у нас и до войны. Во время войны мы, кроме того, встречались с ним и в бесчисленных левых кружках интеллигенции. Мы любили Керенского. В нем было что-то живое, порывистое и — детское. Несмотря на свою истерическую нервность, он тогда казался нам дальновиднее и трезвее многих.

Было бы и трудно, и бесполезно, и даже скучно рассказывать здесь по памяти о тех страницах моего дневника, которых нет передо мною. Исторические события того времени в общих чертах — известны; мелких подробностей не припомнишь; а центр тяжести дневника, самый уклон его — такого рода, что вздумай я говорить о нем кратко — ничего бы не вышло. Дело в том, что меня, как писателя — беллетриста, по преимуществу занимали не одни исторические события, свидетелем которых я была; меня занимали главным образом *люди в них*. Занимал каждый человек, его образ, его личность, его роль в этой громадной трагедии, его сила, его падения, — его путь, его жизнь. Да, историю делают не люди... но *и* люди

тоже, в какой-то мере. Если не видеть и не присматриваться к отдельным точкам в стихийном потоке революции, можно перестать все понимать. И чем меньше этих точек, отдельных личностей, — тем бессмысленнее, страшнее и *скучнее* становится историческое движение. Вот почему запись моя, продолжаясь, все более изменялась, пока не превратилась, к концу 19 года, в отрывочные, внешние, чисто фактические заметки. С воцарением большевиков — стал исчезать *человек*, как единица. Не только исчез он с моего горизонта, из моих глаз; он вообще начал уничтожаться, принципиально и фактически. Мало-помалу исчезла сама революция, ибо исчезла всякая борьба. Где нет никакой борьбы, какая революция?

Что осталось — ушло в подполье. Но в такое глубокое, такое темное подполье, что уже ни звука оттуда не доносилось на поверхность. На петербургских улицах, в петербургских домах в последнее время царила пугающая тишина, молчание рабов, доведенных в рабстве разъединенности до совершенства.

Самодержавие; война; первые дни свободы; первые дни светлой, как влюбленность, февральской революции; затем дни первых опасений и сомнений... Керенский в своем взлете... Ленин, присланный из Германии, встречаемый прожекторами... Июльское восстание... победа нам ним, страшная, как поражение... Опять Керенский и люди, которые его окружают. Наконец, знаменитое К—С—К, т.е. Керенский, Савинков и Корнилов, вся эта потрясающая драма, которую довелось нам наблюдать с внутренней стороны. «Корниловский бунт», записали торопливые историки, простодушно поверив, что действительно *был* какой-то «корниловский бунт»... И наконец — последний акт, молнии выстрелов на черном октябрьском небе... Мы их видели с нашего балкона, слышали каждый... Это обстрел Зимнего Дворца, и мы знали, что стреляют в людей, мужественно и беспомощно запершихся там, покинутых всеми — даже «главой» своим — Керенским.

Временное правительство — да ведь это все те же *мы,* те же интеллигенты, люди, из которых каждый имел для нас свое *лицо*... (Я уже не говорю, что были там и люди, с нами лично связанные). Вот движение, вот борьба, вот история.

А потом наступил конец. Последняя точка борьбы — Учредительное Собрание. Черные зимние вечера; наши друзья р. социалисты, недавние господа, — теперь приходящие к

нам тайком, с поднятыми воротниками, загримированные... И последний вечер — последняя ночь, единственная ночь жизни Учредительного Собрания, когда я подымала портьеры и вглядывалась в белую мглу сада, стараясь различить круглый купол Дворца... «Они там... Они все еще сидят там... Что — там?»

Лишь утром большевики решили, что довольно этой комедии. Матрос Железняков (он знаменит тем, что на митингах требовал непременно «миллиона» голов буржуазии) объявил, что утомился и закрыл Собрание.

Сколько ни было дальше выстрелов, убийств, смертей — все равно. Дальше — падение, то медленное, то быстрое, агония революции и ее смерть.

Жизнь все суживалась, суживалась, все стыла, каменела, — даже самое время точно каменело. Все короче становились мои записи. Что писать? Нет людей, нет событий. Новый «быт», страшный, небывалый, нечеловеческий, — но и он едва нарождался...

И все-таки я пыталась иногда раскрывать мои тетради, пока, к весне 19 года, это стало фактически невозможно. О существовании тетрадей пополз слух. О них знал Горький. Я рисковала не только собой и нашим домом: слишком много *лиц* было в моих тетрадях. Некоторые из них еще не погибли и не все были вне пределов досягаемости... А так как при большевистском режиме нет такого интимного уголка, нет такой частной квартиры, куда бы «власти» в любое время не могли ворваться (это лежит в самом принципе этих властей) — то мне оставалось одно: зарыть тетради в землю. Я это и сделала. Добрые люди взяли их и закопали где-то за городом, где — я не знаю точно.

Такова история моей книги, моего «Петербургского Дневника» 1914-1919 годов.

Проходили — проползали месяцы. Уже давно была у нас не жизнь, а воистину «житие». Маленькая черная старая книжка валялась пустая на моем письменном столе. И я полуслучайно — полуневольно начала делать в ней какие-то отметки. Осторожные, невинные, без имен, иногда без чисел. Ведь даже когда не думаешь — все время чувствуешь, — там, в Совдепии, — что кто-то стоит у тебя за спиной и читает через плечо написанное.

А между тем все-таки писать было надо. Не хотелось, не

умелось, но чувствовалось, что хоть два-три слова, две-три подробности — надо закрепить *сейчас*. И действительно: многое теперь, по воспоминанию, я просто не могла бы написать: я уж сама в это почти не верю, оно мне кажется слишком фантастичным. Если б у меня не было этих листиков, черных по белому, если б я в последнюю минуту не решилась на вполне безумный поступок — схватить их и спрятать в чемодан, с которым мы бежали — мне все казалось бы, что я преувеличиваю, что я лгу.

Но вот они, эти строки. Я помню, как я их писала. Я помню, как я, из осторожности, преуменьшала, скользила по фактам, — а не преувеличивала. Я вспоминаю недописанные слова, вижу нарочные буквы. Для меня эти скользящие строки — налиты кровью и живут, — ибо я знаю *воздух,* в котором они рождались. Увы, как мало они значат для тех, кто никогда не дышал этим густым, совсем особенным, по тяжести, воздухом!

Я коснусь общей внешней обстановки, чтобы пояснить некоторые места, совсем непонятные.

К весне 19 года общее положение было такое: в силу бесчисленных (иногда противоречивых и спутанных, но всегда угрожающих) декретов, приблизительно все было «национализировано», — «большевизировано». Все считалось принадлежащим «государству» (большевикам). Не говоря о еще оставшихся фабриках и заводах, — но и все лавки, все магазины, все предприятия и учреждения, все дома, все недвижимости, почти все движимости (крупные) — все это по идее переходило в ведение и собственность государства. Декреты и направлялись в сторону воплощения этой идеи. Нельзя сказать, чтобы воплощение шло стройно. В конце концов это просто было желание прибрать все к своим рукам. И большею частью кончалось разрушением, уничтожением того, что объявлялось «национализированным». Захваченные магазины, предприятия и заводы закрывались; захват частной торговли повел к прекращению вообще всякой торговли, к закрытию *всех* магазинов и к страшному развитию торговли нелегальной, спекулятивной, воровской. На нее большевикам поневоле приходилось смотреть сквозь пальцы и лишь периодически громить и хватать покупающих-продающих на улицах, в частных помещениях, на рынках; рынки, единствен-

ный источник питания решительно для всех (даже для большинства коммунистов) — тоже были нелегальщиной. Террористические налеты на рынки, со стрельбой и смертоубийством, кончались просто разграблением продовольствия в пользу отряда, который совершал налет. Продовольствия прежде всего, но так как нет вещи, которой нельзя встретить на рынке, — то забиралось и остальное, — старые онучи, ручки от дверей, драные штаны, бронзовые подсвечники, древнее бархатное евангелие, выкраденное из какого-нибудь книгохранилища, дамские рубашки, обивка мебели... Мебель тоже считалась собственностью государства, а так как под полой дивана тащить нельзя, то люди сдирали обивку и норовили сбыть ее хоть за полфунта соломенного хлеба... Надо было видеть, как с визгами, воплями и стонами кидались торгующие врассыпную при слухе, что близки красноармейцы! Всякий хватал свою рухлядь, а часто, в суматохе, и чужую; бежали, толкались, лезли в пустые подвалы, в разбитые окна... Туда же спешили и покупатели, — ведь покупать в Совдепии не менее преступно, чем продавать, — хотя сам Зиновьев отлично знает, что без этого преступления Совдепия кончилась бы, за неимением подданых, дней через 10.

Мы называли нашу «республику» не РСФСР, а между прочим «РТП», — республикой торгово-продажной. Так оно фактически и было.

Надо отметить главную характерную черту в Совдепии: есть факт, над каждым фактом есть — вывеска, и каждая вывеска — абсолютная ложь по отношению к факту. О том, что скрывается под вывеской «Советов» («выборного начала»), упоминается в моем дневнике.

Здесь скажу о петербургских домах. Эти полупустые, грязные руины, — собственность государства, — управляются так называемыми «комитетами домовой бедноты». Принцип ясен по вывеске. На деле же это вот что: власти в лице Чрезвычайки совершенно открыто следят за комитетом каждого дома (была даже «неделя чистки комитетов»). По возможности комитетчиками назначаются «свои» люди, которые, при постоянном контакте с районным Совдепом (местным полицейским участком) могли бы делать и нужные доносы. Требуется, чтобы в комитетах не было «буржуев», но так как действительная «беднота» теперь именно «буржуи», то фактически комитеты состоят из лиц, находящихся на боль-

шевистской службе, или спекулянтов, т.е. менее всего из «бедноты». Нейтральные жильцы дома, рабочие или просто обывательские низы обыкновенно в комитет не попадают, да и не стремятся туда.

Бывают счастливые исключения. Например, в доме одного писателя — «очень хороший комитет, младший дворник, председатель, такой добрый... Он нас не притесняет, он понимает, что все это рано или поздно кончится...» А вот другой, очень известный мне дом: вечные доносы, вечное врывание в квартиры, вечное преследование «буржуазии» — такой, например, как три барышни, жившие вместе, две учительницы в большевистских (других нет) школах и третья — врач в большевистской (других нет) больнице. Эту третью даже несколько раз арестовывали, то когда вообще всех врачей арестовывали, то по доносу комитетчика, который решил, что у нее какая-то подозрительная фамилия.

Наш дом около Таврического Дворца был самым счастливым исключением из общего правила. И не случайно, а благодаря незабвенному другу нашему, удивительнейшему человеку, И. И.

На нем я должна остановиться. Он постоянно упоминается в моем Дневнике. Он, — и жена его, — люди, с которыми мы действительно вместе, почти не разлучаясь физически и душевно, переживали годы петербургской трагедии. Слишком много нужно бы говорить о нем, я не буду здесь вспоминать страницы моего зарытого дневника. Скажу лишь кратко, что И. И. — редкое сочетание очень серьезного ученого, известного своими творческими работами в Европе, — и деятельного человека жизни, отзывчивого и гуманного. Типичные черты русского интеллигента, — крайняя прямота, стойкость, непримиримость, — выражались у него не словесно, а именно действенно. Он жил по соседству с нами, но во время войны мы не были знакомы. Сочувствуя со дней юности партии, нам далекой — социал-демократической, — он сталкивался преимущественно с людьми, с которыми мы уже были в идейной борьбе. Правда и у нас имелась некоторая связь через Горького: Горького мы знали давно, лет двадцать, он даже бывал у нас во время войны. Но мы не сходились никогда с Горьким, странная чуждость разделяла нас. Даже его несомненный литературный талант, сильный и неровный, которым мы порою восхищались, не сближал нас с

ним. Впрочем, окружение Горького, постоянная толпа ничтожных и корыстных льстецов, которых он около себя терпел, отталкивала от него очень многих.

Эти льстецы обыкновенно даже не партийные люди; это просто литературные паразиты. Подобный «двор» — не редкость у русского писателя-самородка, имеющего громкий успех, если он при том слабохарактерен, некультурен и наивно-тщеславен.

Паразитов Горьковских И. И. весьма не любил, но по доброте своей Горькому их прощал; а с партийными людьми горьковского круга вел давнее знакомство.

И в дни февральской революции, когда вокруг Думы, — вокруг Таврического Дворца, — кипели и подымались человеческие волны, когда в нашу квартиру втекали, попутно, люди, более близкие нам — у И. И. собирались другие, иного толка. Казалось, в первые дни, — что смешались все толки, что нет разделения; но оно уже было. И чем дальше, тем делалось резче. Во время июльского восстания, определенно с.-д.-большевистского, — у И. И. в квартире скрывались социал-демократы, еще не вполне примкнувшие к большевизму, но уже чувствующие, что у них рыльце в пушку. Известный когда-то лишь своему муравейнику литературно-партийный хлыщ — Луначарский, ставший с тех пор литературным хлыщем «всея Совдепии», — во время июльского бунта жалобно прятался у давнего своего знакомого чуть не под кроватью. И так «дрянно» трусил, так дрожал за свою особу, гадая куда-бы ему удрать, что внушил отвращение даже снисходительным его укрывателям.

Вскоре после этого восстания, когда линия большевиков ярко определилась, когда все честные люди из не потерявших разум ее совершенно поняли, мы встретились с И. И. и его женой. Встретились и сразу сошлись крепко и близко.

Надвигалась буря. Лед гудел и трещал. Действительно, скоро он сломался на куски, разъединив прежде близких, и люди понеслись — куда? — на отдельных льдинах. Мы очутились на одной и той же льдине с И. И. Когда по месяцам нельзя было физически встретиться, даже перекликнуться с давними, милыми друзьями, ибо нельзя было преодолеть черных пространств страшного города, — каким счастьем и помощью был стук в дверь и шаги человека, то же самое понимающего, так же чувствующего, о том же ревнующего, тем же

страдающего, чем страдали мы!

Деятельная, творческая природа И. И. не позволяла ему глядеть на совершающееся, сложа руки. Он вечно бегал, вечно за кого-то хлопотал, кому-то помогал, кого-то спасал. Он делал дела и крупные и мелкие, ни от чего не отказывался, лишь бы кому-нибудь помочь. При всей своей непримиримости и кипучей ненависти к большевикам, при очень ясном взгляде на них — он не впадал в уныние: он до конца, — до дня нашей разлуки, — таким и остался: жарко верующим в Россию, верующим в ее непременное и скорое освобождение. Зная все, что мы перенесли, какие темные глубины мы проходили, — я знаю, какая нужна сила духа и сила жизни, чтобы не потерять веру, чтобы устоять на ногах, — остаться *человеком*. С какой благодарностью обращается мысль моя к И. И. Он помог нам — он и его жена, — более, чем сами они об этом думают.

Не могу не прибавить, что сильнее чувства благодарности по отношению к этим людям, а также к другим, там оставшимся, там нечеловечески страдающим и погибающим, к миллионам людей с душой живой — сильнее всех чувств во мне говорит пламенное чувство долга. Я никогда не знала ранее, что оно может быть *пламенным*. Мы здесь; наши тела уже не в глубокой, темной яме, называемой Петербургом; — но не ради нашего избавления избавлены мы, нет у нас чувства избавления — и не может быть, пока звучат в ушах эти голоса оттуда, — de profundis.* Каждая минута, когда мы не стремимся приблизить хотя на линию, на полмиллиметра освобождение сидящих в яме, — наш собственный провал, если есть эта минута, — не оправдано избавление наше, и да погибнем мы здесь, как погибли бы там. Все равно, сколько у каждого сил. Сколько бы ни было — он обязан положить их на дело погибающих — все.

И это я говорю не только себе, не только нам: говорю всякому русскому в Европе, даже всякому вообще *человеку*, если только он знает или может как-нибудь понять, что сейчас делается в России.

Я верю, что людям, достойным называться людьми, доступно и даже свойственно именно *пламенное* чувство долга...

---

* из глубины (латинск.)

Возвращаюсь, после невольного отступления, к фактам.

И. И. с самого начала пошел — «спасать квартиры от разграбления, жильцов от унижения». Сначала он был председателем одного из домовых комитетов, но затем его не утвердили — председателем стал старший дворник. Хитрый мужик, смекавший, что не век эта «ерунда» будет длиться, и что ссориться ему с «господами» не расчет, — охотно уступал И. И. К тому же дворник более думал, как бы «спекульнуть» без риска, и был малограмотен. Остальная «беднота», состоявшая уже окончательно из спекулирующих, воров (один шофер хапнул на 8 миллионов, попался и чуть не был расстрелян), тайных полицейских («чрезвычайных»), дезертиров и т.д., благодаря тому же малограмотству и отсутствию интереса ко всему, кроме наживы — эта «беднота» тоже не особенно восставала против энергичного И. И.

Надо все-таки видеть, что за колоссальная чепуха — домовой комитет. Противная, утомляющая работа, обходы неисполнимых декретов, извороты, чтобы отдалить ограбления, разговоры с тупыми посланцами из полиции... А вечные обыски! Как сейчас вижу длинную худую фигуру И. И. без воротника, в стареньком пальто, в 4 часа ночи среди подозрительных, подслеповатых людей с винтовками и кучи баб — новых сыщиков и сыщиц. Это И. И. в качестве уполномоченного от «Комитета» сопровождает обыски уже в двадцатую квартиру.

Как известно, все население Петербурга взято «на учет». Всякий, так или иначе, обязан служить «государству», — занимать место если не в армии, то в каком-нибудь правительственном учреждении. Да ведь человек иначе и заработка никакого не может иметь. И почти вся оставшаяся интеллигенция очутилась в большевистских чиновниках. Платят за это ровно столько, чтобы умирать с голоду медленно, а не быстро. К весне 19 года почти все наши знакомые изменились до неузнаваемости, точно другой человек стал. Опухшим — их было очень много — рекомендовалось есть картофель с кожурой, — но к весне картофель вообще исчез, исчезло даже наше лакомство — лепешки из картофельных шкурок. Тогда царила вобла, — и кажется я до смертного часа не забуду ее пронзительный, тошный запах, подымавший голову из каждой тарелки супа, из каждой котомки прохожего.

Новые чиновники, загнанные на службу голодом и плет-

кой, — русские интеллигентные люди, — не изменились, конечно, не стали большевиками. Водораздел между «склонившимися» и «сдавшимися», между служащими «за страх» и другими «за совесть» — всегда был очень ясен. Сдавшиеся, передавшиеся насчитываются единицами; они усердствуют, якшаются с комиссарами, говорят высокие слова о «народном гневе», но менее ловкие все-таки голодают (я все говорю о «чиновниках», а не об откровенных спекулянтах). Есть еще «приспособившиеся»; это просто люди обывательского типа; они тянут лямку, думая только о еде; не прочь извернуться, где могут, не прочь и ругнуть, за углом, «советскую» власть. Но к чести русской интеллигенции надо сказать, что громадная ее часть, подавляющее большинство, состоит именно из «склонившихся», из тех, что с великим страданием, со стиснутыми зубами несут чугунный крест жизни. Эти виноваты лишь в том, что они не герои, т.е. герои, но не активные. Они нейдут активно на немедленную смерть, свою и близких; но нести чугунный крест — тоже своего рода геройство, хотя и пассивное.

К ним надо причислить и почти *всех* офицеров красной армии, — бывших офицеров армии русской. Ведь когда офицеров мобилизуют (такие мобилизации объявлялись чуть не каждый месяц) — их сразу арестовывают; и не только самого офицера, но его жену, его детей, его мать, отца, сестер, братьев, даже двоюродных дядей и теток. Выдерживают офицера в тюрьме некоторое время непременно *вместе* с родственниками, чтобы понятно было, в чем дело, и если увидят, что офицер из «пассивных» героев — выпускают всех: офицера — в армию, родных под неусыпный надзор. Горе, если прилетит от армейского комиссара донос на этого «военспеца» (как они называются). Едут дяди и тетки, — не говоря о жене с детьми, — куда-то на принудительные работы, а то и запираются в прежний каземат.

Среди офицеров, впрочем, не мало оказалось героев и активных. Этих расстреливали почти буквально на глазах жен. В моих листках приведены факты; они происходили на глазах близкого мне человека, женщины-врача, арестованной... за то, что у нее подозрительная фамилия.

Я веду вот к чему. Я хочу в грубых чертах определить, как разделяется сейчас *все население России вообще* по отношению к «советской» власти. Последние годы много дали

нам; много видели мы со всех сторон, и я думаю, что не очень ошибусь в моей сводке. Делаю ее по главным линиям и совершенно объективно. Они относятся ко второй половине 19 года; вряд ли могло в ней потом что-либо измениться коренным образом.

1) Собственно народ, низы, крестьяне, в деревнях и в красной армии, главная русская толща в подавляющем большинстве — нейтралы. По природе русский крестьянин — ярый частный собственник, по воспитанию (века длилось это воспитание!) — раб. Он хитер — но послушен, внешне, всякой силе, если почувствует, что это действительно грубая сила. Он будет молчать и ждать без конца, норовя за уголком устроиться по своему, но лишь за уголком, у себя в уголке. Он еще весьма узко понимает и пространство, и время. Ему довольно безразличен «коммунизм», пока не коснулся его самого, пока это вообще какое-то «начальство». Если при этом начальстве можно забрать землю, разогнать помещиков и поспекулировать в городе — тем лучше. Но едва коммунистические лапы тянутся к деревне, — мужик ершится. Упрямство у него такое же бесконечное, как и терпение. Землю, захваченное добро он считает *своими,* никакие речи никаких «товарищей» не разбудят его. Он не хочет работать «на чужих ребят», и когда большевики стали посылать отряды, чтобы реквизировать «излишки» — эти излишки исчезли, а где не были припрятаны — там мужики встретили реквизиторов с винтовками и даже с пулеметами. Вскоре мужик сообразил, что спокойнее вырабатывать хлеба лишь столько, сколько надо для себя, его уж и защищать. И половина полей просто начала пустовать. Нахватанные керенки все зарываются да зарываются в кубышки; и вот, мужик начинает хмуриться: да скоро ли время, чтобы свободно попользоваться накопленным богатством? Он ни минуты не сомневается, что «они» (большевики) кончаются; но когда? Пора бы... И «коммунист» — уже ругательное слово в деревне.

Воевать мужик так же не хочет, как не хотел при царе; и так же покоряется принудительному набору, как покорялся при царе. Кроме того, в деревне, особенно зимой, и делать нечего, и хлеб на счету; в красной же армии — обещают паек, одевку, обувку; да и веселее там молодому парню, уже привыкшему лодырничать. На фронт — не всех же на фронт. Посланные на фронт покоряются, пока над ними зоркие очи

комиссаров; но бегут кучами при малейшей возможности. Панике поддаются с легкостью удивляющей, и тогда бегут слепо, не взирая ни на что. Веснами, едва пригреет солнышко, и можно в деревню, — бегут неудержимо и без паники: просто текут назад, прячась по лесам, органически превращаясь в «зеленых».

Большевики отлично все это знают. Прекрасно понимают своих подданных, свою армию, — учитывают все. Но они так же прекрасно учитывают, что их враги, — европейцы ли, собственные ли белые генералы, — ничего не понимают и ничего не знают. На этой слепоте, я полагаю, они и строят все свои главные надежды.

2) Рабочие? Пролетариат? Но собственно пролетариата в России почти не было и раньше, говорить же о нем сейчас, когда девять десятых фабрик закрылись, — просто смешно. Российские рабочие — те же крестьяне, и с закрытием заводов они расплылись — в деревню, в красную армию. За оставшимися в городах, на работающих фабриках, большевики следят особенно зорко, обращаются с ними и осторожно — и беспощадно. Периодически повторяются вспышки террора именно рабочего. И это понятно, ибо громадное большинство оставшихся рабочих уже почти не нейтрально, оно *враждебно* большевикам. Большевикам не по себе от этой, глухой пока, враждебности, и они ведут себя тут очень нервно: то заискивают, то неистовствуют. На официальных митингах все бродят какие-то искры, и порою, достаточно одному взглянуть исподлобья, проворчать: «надоело уже все это...», чтобы заволновалось собрание, чтобы занадрывались одни ораторы, чтобы побежали другие черным ходом к своим автомобилям. Слишком понятна эта неудержимо растущая враждебность к большевикам в средней массе рабочих: беспросветный голод, несмотря на увеличение ставок («чего на эти ленинки купишь? Тыща тоже называется! Куча...» следует непечатное слово), беззаконие, расхищение, царящие на фабриках, разрушение производительного дела в корне и, наконец, неслыханное количество безработных — все это слишком достаточные причины рабочего озлобления. Пассивного, как у большинства русских людей, и особенно бессильного, потому что «власти» особенно заботятся о разъединении рабочих. Запрещены всякие организации, всякие сходки, сборища, митинги, кроме официально назначаемых. Сколько юр-

ких сыщиков шныряет по фабрикам. Русские рабочие очутились в таких ежовых рукавицах, какие им не снились при царе. Вывеска, — уверения, что их же рукавицы, — «рабочее» же правительство — на них более не действуют и никого не обманывают.

3) Городское обывательское население, полуинтеллигенты, интеллигенты-чиновники, а также верхи и полу-верхи красной армии, ее командный состав — об этом слое уже было упомянуто. Взятый en gros — он в подавляющем большинстве *непримирим* по отношению к «советской власти». Нейтралов сравнительно немного, да и нейтралами они могут быть названы лишь в той мере, в какой было названо нейтральным крестьянство. Под тончайшей пленкой — и у них, у нейтралов, лежит самая определенная враждебность к данной власти, — трусливая ненависть или презрение. С каким злорадством накидывается обывательщина, верхняя и нижняя, на всякую неудачу большевиков, с какой жадностью ловит слухи о их близком падении. Не раз и не два мне собственными ушами приходилось слышать, как ждут освободителей: «хоть сам черт, хоть дьявол, — только бы пришли! И чего они там, союзники эти самые! Часок только и пострелять с моря, и готово дело! Уж мы бы тут здешней нашей сволочи удрать не дали, — нет! Уж мы бы с ней тогда сами расправились!» Но этого «часочка стрельбы» настоящей не было, и разочарованные жители Петербурга после взрыва надежды молчаливо злобными взглядами провожают автомобиль. (Автомобиль — это, значит, едут большевики. Автомобилей других нет).

Вот моя сводка. И не моя вовсе — ее, такую, делают все в России, все знают, что в грубых и общих чертах отношение русского населения к большевистской власти именно таково. Я ничего не сказала о чистых спекулянтах. Но это не слои и не класс. Спекулянты, сколько бы их ни было, все-таки отдельные личности и принадлежат ко всем слоям и классам. Они, конечно, рады, что подвернулись такие роскошные условия — власть большевиков, — для легкой наживы. Но, в целом, и на армию спекулянтов большевики не могут рассчитывать, как на твердую опору. Происходит та же, приблизительно, история, как с крестьянами. Кучи спекулянтов уже стонут: да когда же? Долго ли? Когда же попользоваться награбленным? А жить все дороже, грабить надо шире, значит и

рисковать больше... Расчетливый спекулянт с таким же нетерпеливым ожиданием считает дни, как иной чиновник.

Да, вот факт, вот правда о России в немногих словах: *Россией сейчас распоряжается ничтожная кучка людей, к которой вся остальная часть населения, в громадном большинстве, относится отрицательно и даже враждебно.* Получается истинная картина чужеземного завоевания. Латышские, башкирские и китайские полки (самые надежные) дорисовывают эту картину. Из латышей и монголов составлена личная охрана большевиков: китайцы расстреливают арестованных, — захваченных. (Чуть не написала «осужденных», но осужденных нет, ибо нет суда над захваченными. Их просто *так* расстреливают). Китайские же полки или башкирские идут в тылу посланных в наступление красноармейцев, чтобы когда они побегут (а они бегут!), встретить их пулеметным огнем и заставить повернуть.

Чем не монгольское иго?

Я знаю вопрос, который сам собой возникает после моих утверждений. Вот он: если все это правда, если это действительно власть кучки, беспримерное насилие меньшинства над таким большинством, как *почти* все население огромной страны, — почему нет внутреннего переворота? Почему хозяйничанье большевиков длится вот уже почти три года? Как это возможно?

Это не только возможно — это даже не удивительно для того, кто знает Россию, русский народ, его историю, — и в то же время знает большевиков. Россия — страна всех возможностей, сказал кто-то. И страна всех невозможностей, прибавлю я. О причинах такой, на первый взгляд, неестественной нелепости — длящегося владычества кучки партийных людей, недавно подпольных, над огромным народом вопреки его воле — об этом я говорю много в моем дневнике. Почти весь он, пожалуй, об этом. Здесь подчеркну только еще раз; мы знаем, что это именно так и должно было быть; но мы знаем еще, — и это страшно важно! — что малейший *внешний толчок,* малейший камешек, упавший на черную неподвижность сегодняшней России — произведет оглушительный взрыв. Ибо это чернота не болота, но чернота порохового погреба.

Никаких тут нет сомнений у большевиков. Никаких нет и не было сомнений у нас, всех остальных русских людей. От-

сюда понятно, что переживали мы в мае 19 года, мы — и они, большевики. Они, впрочем, трусы, а у страха глаза велики; при одном лишь том факте, что наступает лето, делается возможным удар на Петербург, и все в городе ждали удара, — большевики засуетились, заволновались. А когда началось наступление с Ямбурга — паника их стала неописуема. Мы были гораздо скептичнее. Мы совершенно не знали, кто наступает, с какими силами, а главное — есть ли там, на Западе, какая-нибудь согласованность, есть ли *единая воля* у идущих, — воля дойти во что бы ни стало. Для внешнего толчка, самого легкого, но вполне достаточного, чтобы опрокинуть центральную власть, это единство воли необходимо. Паника большевиков, цену которой мы знали, не доказывала еще, что общий удар на Петербург предрешен. Напряжение в городе, однако, все возрастало и ширилось.

Нельзя передать словами краску, запах, воздух в такие минуты ожидания. Уже потому нельзя, что дни эти особенно тихи, молчаливы, никаких слов никто не говорит, да и зачем слова? Надо ждать и слушать; надо угадать, захватить мгновение... не переворота, а то последнее мгновение, когда можно сказать «пора»: когда можно встать действенно, за «тех» — против «этих».

Целые коллективы, по вывеске большевистские, в неусыпном напряжении ждали такой минуты. (Меня поймут, мне простят, конечно, мою бездоказательность и неопределенность: я пишу это в 20-м году, во время *длящегося* царства большевиков). Красноармейцы, посылаемые на фронт, были проще и разговорчивее: «мы до первого кордона. А там сейчас — на ту сторону». Помню их весело и глупо улыбающиеся лица.

События на Красной Горке (почти у самого Кронштадта) — неизвестны в подробностях; но по всем вероятиям, это была ошибка, обман момента; слишком измученные ожиданием люди сказали себе «пора!» — а было вовсе не пора. Да настоящего момента для внутреннего восстания тогда и совсем не было (как не было его и после, осенью, во время наступления Юденича). Не было, видим мы теперь, *единой воли* у идущих, не было ее еще ни разу... Будет ли когда-нибудь?

Майская эпопея скатилась, как волна, оставив после себя полосы опустошения; нас только сдавили, задушили новыми распоряжениями и декретами, новыми запрещениями и огра-

ничениями, — новые замки повесили на двери тюремные. Да цены сразу удвоились, так что волей-неволей приходилось думать о последней рубашке — когда, сегодня или завтра, снимать ее, чтоб послать на рынок.

Но думалось и об этом как-то тупо. Не уныние, а именно тупость начинала все больше овладевать всеми. Собственно наша внешняя жизнь изменялась так медленно и незаметно, что на первый взгляд, вот тогда, весной 19 года, все было как бы то же: та же квартира, в кухне та же старенькая няня моя, та же преданная нам служанка, деревенская девушка, с отвращением и покорностью глядящая на «этих коммунистов». Правда, пустели полки с книгами, унесли пианино, постепенно срывались занавесы с окон и дверей, а в кухне бедная моя едва живая старушка тщетно суетилась над полупустыми горшками и бранилась с таинственными личностями, на ухо обещающими картофель по сто рублей фунт. Кухня была у нас самое оживленное место в квартире. Кого-кого там не приходилось мне видеть! Кухонные митинги порою давали нам очень живую информацию.

Все пустеющая рабочая комната, балкон, с которого, поверх зеленых шапок Таврического сада, можно видеть главы страшного Смольного, бледнозолотые в белую майскую ночь, — о, какое странное томление, какая — словно предсмертная — тоска.

Тетрадей моих уже давно не было. Давно уже они покоились в могиле. Но вот тогда-то, в начале июня, я и нашла черную книжку, где стала делать не частые, краткие отметки.

Я их печатаю здесь, как они есть, в редких случаях прибавляя несколько поясняющих слов. Я не называю почти ни одного имени — причины понятны, о них уже сказано выше.

Черная книжка.

1919 г. Июнь.
С.П.Б.

...Не забывай моих последних дней...

...О, эти наши дни последние,
Остатки неподвижных дней.
И только небо в полночь меднее,
Да зори голые длинней...

Июнь... Все хорошо. Все как быть должно. Инвалиды (грязный дом напротив нас, тоже угловой, с железными балконами) заводят свою музыку разно: то с самого утра, то попозже. Но заведя — уже не прекращают. Что-нибудь да зудит: или гармоника, иди дудка, или граммофон. Иногда граммофон и гармоника вместе. В разных этажах. Кто не дудит — лежит брюхом на подоконниках, разнастанный, смотрит или плюет на тротуар.

После 11 ч. вечера, когда уже запрещено ходить по улицам (т.е. после 8, — ведь у нас «революционное» время, часы на 3 часа вперед!) музыка не кончается, но валявшиеся на подоконниках сходят на подъезд, усаживаются. Вокруг толпятся так называемые «барышни», в белых туфлях, — «Катьки мои толстоморденькие», о которых А. Блок написал:

«С юнкерьем гулять ходила,
С солдатьем гулять пошла».

Визги. Хохотки.

Инвалиды (и почему они — инвалиды? все они целы, никто не ранен, госпиталя тут нет) — «инвалиды» — здоровые, крепкие мужчины. Праздник и будни у них одинаковы. Они ничем не заняты. Слышно, будто спекулируют, но лишь по знакомству. Нам ни одной картофелины не продали.

А граммофон их звенит в ушах, даже ночью, светлой, как день, когда уже спят инвалиды, замолк граммофон.

Утрами по зеленой уличной траве, извиваются змеями приютские дети, — «пролетарские» дети, — это их ведут в Таврический сад. Они — то в красных, то в желтых шапченках, похожих на дурацкие колпаки. Мордочки землистого цвета, сами голоногие. На нашей улице, когда-то очень аристократической, очень много было красивых особняков. Они все давно реквизированы, наиболее разрушенные — покинуты, отданы «под детей». Приюты доканчивают эти особняки. Мимо некоторых уже пройти нельзя, — такая грязь и вонь. Стекла выбиты. На подоконниках лежат дети, — совершенно так, как инвалиды лежат, — мальчишки и девчонки, большие и малые, и как инвалиды глазеют и плюют на улицы. Самые маленькие играют сором на разломленных плитах тротуара, под деревьями, или бегают по уличной траве, шлепая голыми пятками. Ставят детей в пары и ведут в Таврический лишь по утрам. Остальное время дня они свободны. И праздны, опять совершенно так же, как инвалиды.

Есть, впрочем, и много отличий между детьми и инвалидами. Хотя бы это одно: у детей лица желтые — у инвалидов красные.

Вчера (28-го июня) дежурила у ворот. Ведь у нас со времени весенней большевистской паники установлено бессменное дежурство на тротуаре, день и ночь. Дежурят все, без изъятья, жильцы дома по очереди, по три часа каждый. Для чего это нужно сидеть на пустынной, всегда светлой улице — не знает никто. Но сидят. Где барышня на доске, где дитя, где старик. Под одними воротами раз видела дежурящую интеллигентного обличия старуху; такую старуху, что ей вынесли на тротуар драное кресло из квартиры. Сидит покорно, за-

щищает, бедная, свой «революционный» дом и «красный Петроград» от «белых негодяев»... которые даже не наступают.

Вчера, во время моих трех часов «защиты» — улица являла вид самый необыкновенный. Шныряли, грохоча и дребезжа, расшатанные, вонючие большевистские автомобили. Маршировали какие-то ободранцы с винтовками. Словом — царило непривычное оживление. Узнаю тут же, на улице, что рядом в Таврическом Дворце идет назначенный большевиками митинг и заседание их Совета. И что дела как-то неожиданно-неприятно там обертываются для большевиков, даже трамваи вдруг забастовали. Ну что же, разбастуют.

Без всякого волнения, почти без любопытства, слежу за шныряющими властями. Постоянная история, и ничего ни из одной не выходит...

Женщины с черновато-синими лицами, с горшками и посудинами в ослабевших руках (суп с воблой несут из общественной столовой) — останавливались на углах, шушукались, озираясь. Напрасно, голубушки! У надежды глаза так же велики, как и у страха.

Рынки опять разогнали и запечатали. Из казны дается на день 1/8 хлеба. Муку ржаную обещали нам принести тайком — 200 р. фунт.

Катя спросила у меня 300 рублей, — отдать за починку туфель.

Если ночью горит электричество — значит в этом районе обыски. У нас уже было два. Оцепляют дом и ходят целую ночь, толпясь, по квартирам. В первый раз обыском заведывал какой-то «товарищ Савин», подслеповатый, одетый, как рабочий. Сопровождающий обыск друг (ужасно он похож, без воротничка, на большую, худую, печальную птицу) — шепнул «товарищу», что тут, мол, писатели, какое у них оружие! Савин слегка ковырнул мои бумаги и спросил: участвую ли я *теперь* в периодических изданиях? На мой отрицательный ответ ничего, однако, не сказал. Куча баб в платках (новые сыщицы-коммунистки) интересовались больше содержимым моих шкафов. Шептались. В то время мы только что начинали продажу, и бабы явно были недовольны, что шкаф не пуст. Однако, обошлось. Наш друг ходил по пятам каждой бабы.

На втором обыске женщин не было. Зато дети. Мальчик лет 9 на вид, шустрый и любопытный, усердно рылся в комодах и в письменном столе Дм. Серг. Но в комодах с особенным вкусом. Этот наверно «коммунист». При каком еще строе, кроме коммунистического, удалось бы юному государственному деятелю полазить по чужим ящикам! А тут — открывай любой. — «Ведь, подумайте, ведь они детей развращают! Детей! Ведь я на этого мальчика без стыда и жалости смотреть не мог!» — вопил бедный И. И. в негодовании на другой день.

Яркое солнце, высокая ограда С. собора. На каменной приступочке сидит дама в трауре. Сидит бессильно, как-то вся опустившись. Вдруг тихо, мучительно, протянула руку. Не на хлеб попросила — куда! Кто теперь в состоянии подать «на хлеб». На воблу.

Холеры еще нет. Есть дизентерия. И растет. С тех пор, как выключили все телефоны — мы почти не сообщаемся. Не знаем, кто болен, кто жив, кто умер. Трудно знать друг о друге, — а увидаться еще труднее.

Извозчика можно достать — от 500 р. конец.

Мухи. Тишина. Если кто-нибудь не возвращается домой — значит, его арестовали. Так арестовали мужа нашей квартирной соседки, древнего-древнего старика. Он не был, да и не мог быть причастен к «контр-революции», он просто *шел по Гороховой.* И домой не пришел. Несчастная старуха неделю сходила с ума, а когда, наконец, узнала, где он сидит и собралась послать ему еду (заключенные кормятся только тем, что им присылают «с воли») — то оказалось, что старец уже умер. От воспаления легких или от голода.

Так же не вернулся домой другой старик, знакомый З. Этот зашел случайно в швейцарское посольство, а там засада.

Еще не умер, сидит до сих пор. Любопытно, что он давно на большевистской же службе, в каком-то учреждении, которое его от Гороховой требует, он нужен... Но Гороховая не отдает.

Опять неудавшаяся гроза, — какое лето странное! Но посвежело.

А в общем ничего не изменяется. Пыталась целый день продавать старые башмаки. Не дают полторы тысячи, — малы. Отдала задешево. Есть-то надо.

Еще одного надо записать в синодик. Передался большевикам А. Ф. Кони. Известный всему Петербургу сенатор Кони, писатель и лектор, хромой, 75-летний старец. За пролетку и крупу решил «служить пролетариату». Написал об этом «самому» Луначарскому. Тот бросился читать письмо всюду: «Товарищи, А. Ф. Кони — наш! Вот его письмо». Уже объявлены какие-то лекции Кони — красноармейцам.

Самое жалкое — это что он, кажется, не очень и нуждался. Дима* не так давно был у него. Зачем же это на старости лет? Крупы будет больше, будут за ним на лекции пролетку посылать, — но ведь стыдно!

С Москвой, жаль, почти нет сообщений. А то бы достать книжку Брюсова «Почему я стал коммунистом». Он теперь, говорят, важная шишка у большевиков. Общий цензор. (Издавно злоупотребляет наркотиками).

Валерий Брюсов — один из наших «больших талантов». Поэт «конца века», — их когда-то называли «декадентами». Мы с ним были всю жизнь очень хороши, хотя дружить так, как я дружила с Блоком и с Белым, с ним было трудно. Не больно ли, что как раз эти двое последних, лучшие, кажется, из поэтов и личные мои долголетние друзья — чуть не первыми пришли к большевикам? Впрочем, — какой большевик — Блок! Он и вертится где-то около, в левых эсерах. Он и А. Белый — это просто «потерянные дети», ничего не понимающие, а-политичные отныне и до века. Блок и сам как-то соглашался, что он «потерянное дитя», не больше.

Но бывают времена, когда нельзя быть безответственным, когда всякий обязан быть человеком. И я «взорвала мосты» между нами, как это ни больно. Пусть у Блока, да и у Белого, — «душа невинна»: я не прощу им никогда.

Брюсов другого типа. Он не «потерянное дитя», хотя так же безответствен. Но о разрыве с Брюсовым я не жалею. Я жалею его самого.

---

* Д. В. Философов.

Все-таки самый замечательный русский поэт и писатель — Сологуб, — остался «человеком». Не пошел к большевикам. И не пойдет. Невесело ему зато живется.

Молодой поэт Натан В., из кружка Горького, но очень восставший здесь против большевиков, — в Киеве очутился на посту Луначарского. Интеллигенты стали под его покровительство.

Шла дама по Таврическому саду. На одной ноге туфля, на другой — лапоть.

Деревянные дома приказано снести на дрова. О, разрушать живо, разрушать мастера. Разломают и растаскают.

Таскают и торцы. Сегодня сама видела, как мальчишка с невинным видом разбирал мостовую. Под торцом доски. Их еще не трогают. Впрочем, нет, выворачивают и доски, ибо кроме «плешин» — вынутых торцов, — кое-где на улицах есть и бездонные ямы.

N. был арестован в Павловске на музыке, во время облавы. Допрашивал сам Петерс, наш «беспощадный» (латыш). Не верил, что N. студент. Оттого, верно, и выпустил. На студентов особенное гонение. С весны их начали прибирать к рукам. Яростно мобилизуют. Но все-таки кое-кто выкручивается. Университет вообще разрушен, но остатки студентов все-таки нежелательный элемент. Это, хотя и — увы! — пассивная, но все-таки оппозиция. Большевики же не терпят вблизи никакой, даже пассивной, даже глухой и немой. И если только могут, что только могут, уничтожают. Непременно уничтожат студентов, — останутся только профессора. Студенты все-таки им, большевикам, кажутся *коллективной* оппозицией, а профессора разъединены, каждый — отдельная оппозиция, и они их преследуют отдельно.

Сегодня прибавили еще 1/8 фунта хлеба на два дня. Какое объ дение.

Ночи стали темнее.

Да, и очень темнее. Ведь уже старый июль вполовине. Сегодня 15 июля.

Косит дизентерия. Направо и налево. Нет дома, где нет больных. В нашем доме уже двое умерло. Холера только в развитии.

16 июля. Утром из окна: едет воз гробов. Белые, новые, блестят на солнце. Воз обвязан веревками.

В гробах — покойники, кому удалось похорониться. Это не всякому удается. Запаха я не слышала, хотя окно было отворено. А на Загородном — пишет «Правда» — сильно пахнут, когда едут.

Няня моя, чтобы получить парусиновые туфли за 117 р. (ей удалось добыть ордер казенный!) стояла в очереди сегодня, вчера и третьего дня с 7 час. утра до 5. Десять часов подряд.

Ничего не получила.

А И. И. ездил к Горькому, опять из-за брата (ведь у И. И. брата арестовали).

Рассказывает: попал на обед, по несчастью. Мне не предложили, да я бы и не согласился ни за что взять его, Горьковский ,кусок в рот; но, признаюсь, был я голоден, и неприятно очень было: и котлеты, и огурцы свежие, кисель черничный...

Бедный И. И., когда-то *буквально спасший Горького от смерти!* За это ему теперь позволяется смотреть, как Горький обедает. И только; потому что на просьбу относительно брата Горький ответил: «Вы мне надоели! Ну и пусть вашего брата расстреляют!»

Об этом И. И. рассказывал с волнением, с дрожью в голосе. Не оттого, что расстреляют брата (его, вероятно, не расстреляют), не оттого, что Горький забыл, что сделал для него И. И., — а потому, что И. И. *видит* теперь Горького, настоящий облик человека, которого он любил... и любит, может быть, до сих пор.

Меня же Горький и не ранит (я никогда его не любила) и не удивляет (я всегда видела его довольно ясно). Это человек прежде всего не только не культурный, но *неспособный* к культуре внутренно. А кроме того — у него совершенно бабья душа. Он может быть и добр — и зол. Он все может и ни за что не отвечает. Он какой-то бессознательный. Сейчас он приносит много вреда, играет роль крайне отрицательную, — но все это, в конце концов, женская пассивность, — «путь Магдалинин». Но Магдалина, которая никогда не раскается, ибо никогда не поймет своих грехов.

Не завидую я его котлетам. Наша затхлая каша и водянистый суп, на которых мы сидим месяцами (равно как и И. И.) — право, пища более здоровая!

Старика Г., знакомого З. (я о нем писала), не выпустили, но отправили в Москву, на работы, в лагерь. Обвинений никаких. На работу нужно ходить за 35 верст.

Что-то все делается, делается, мы чуем, а что — не знаем.

Границы плотно заперты. В «Правде» и в «Известиях» — абсолютная чепуха. А это наши две *единственные* газеты, два полу-листика грязной бумаги, — официозы. (В «коммунистическом государстве» пресса допускается, ведь, только *казенная*. Книгоиздательство тоже только одно, государственное, — казенное. Впрочем, оно никаких книг и не издает, издает пока лишь брошюры коммунистические. Книги соответственные еще не написаны, все старые — «контрреволюционны»; можно подождать, кстати и бумаги мало. Ленинки печатать — и то не хватает).

Что пишется в официозах — понять нельзя. Мы и не понимаем.

И никто. Думаю, сами большевики мало понимают, мало знают. Живут со дня на день. Зеленая армия ширится.

Дизентерия, дизентерия... И холера тоже. В субботу пять лет войне. *Наша* война кончиться не может, поэтому я уже и мира не понимаю!

Надо продавать все до нитки. Но не умею, плохо идет продажа.

Дмитрий* сидит до истощения, целыми днями, корректируя глупые, малограмотные переводы глупых романов для «Всемирной Литературы». Это такое учреждение, созданное покровительством Горького и одного из его паразитов — Тихонова, для подкармливания будто бы интеллигентов. Переводы эти не печатаются — да и незачем их печатать.

Платят 300 ленинок с громадного листа (ремингтон на счет переводчика), а за корректуру — 100 ленинок.

Дмитрий сидит над этими корректурами днем, а я по ночам. Над каким-то французским романом, переведенным голодной барышней, 14 ночей просидела.

Интересно, на что в Совдепии пригодились писатели. Да и то, в сущности, не пригодились. Это так, благотворительность, копеечка, поданная Горьким Мережковскому.

На копеечку эту (за 14 ночей я получила около тысячи

---

* Д. С. Мережковский.

ленинок, полдня жизни) — не раскутишься. Выгоднее продать старые штаны.

Ощущение *лжи* вокруг — ощущение чисто-физическое. Я этого раньше не знала. Как будто с дыханием в рот вливается какая-то холодная и липкая струя. Я чувствую не только ее липкость, но и особый запах, ни с чем не сравнимый.

Сегодня опять всю ночь горело электричество — обыски. Верно для принудительных работ.

Яркий день. Годовщина (пять лет!) войны. С тех пор почти не живу. О, как я ненавидела ее всегда, этот европейский позор, эту бессмысленную петлю, которую человечество накинуло на себя! Я уже не говорю о России. Я не говорю и о побежденных. Но с первого мгновения я знала, что эта война грозит неисчислимыми бедствиями *всей* Европе, и победителям и побежденным. Помню, как я упрямо, до тупости, восставала на войну, шла против если не всех, — то многих, иногда против самых близких людей (не против Д. С.*, он был со мной). Общественно — мы звука не могли издать не военного, благодаря царской цензуре. На мой доклад в Религиозно-Философском О-ве, самый осторожный, нападали в течение двух заседаний. Я до сих пор утверждаю, что здравый смысл был на моей стороне. А после мне приходилось выслушивать такие вопросы: «вот, вы всегда были против войны, значит, вы за большевиков?» За большевиков! Как будто мы их не знали, как будто мы не знали до всякой революции, что большевики — это перманентная война, безысходная война?

Большевистская власть в России — порождение, детище войны. И пока она будет — будет война. Гражданская? Как бы не так! Просто себе война, только двойная еще, и внешняя, и внутренняя. И последняя в самой омерзительной форме террора, т.е. убийства вооруженными — безоружных и беззащитных. Но довольно об этом, довольно! Я слышу выстрелы. Оставляю перо, иду на открытый балкон.

Посередине улицы медленно собираются люди. Дети, женщины... даже знаменитые «инвалиды», что напротив,

---

* Мережковский.

слезли с подоконников, — и музыку забыли. Глядят вверх. Совершенно безмолвствуют. Как завороженные — и взрослые, и дети. В чистейшем голубом воздухе, между домами, — круглые, точно белые клубочки, плавают дымки. Это «наши» (большевистские) части стреляют в небо по будто бы налетевшим «вражеским» аэропланам.

На белые ватные комочки «наших» орудий никто не смотрит. Глядят в другую сторону и выше, ища «врагов». Мальчишка жадно и робко указует куда-то перстом, все оборачиваются туда. Но, кажется, ничего не видят. По крайней мере я, несмотря на бинокль, ничего не вижу.

Кто — «они»? Белая армия? Союзники — англичане или французы? Зачем это? Прилетают любоваться, как мы вымираем? Да ведь с этой высоты все равно не видно.

Балкон меня не удовлетворяет. Втихомолку, накинув платок, бегу с Катей, — горничной, по черному ходу вниз и подхожу к жидкой кучке посреди улицы.

Совсем ничего не вижу в небе (бинокль дома остался), а люди гробово молчат. Я жду. Вот, слышу, желтая баба щепчет соседке:

— И чего они — летают-летают... Союзники тоже... Хоть бы бумажку сбросили, когда придут, или что...

Тихо говорила баба, но ближний «инвалид» слышал. Он, впрочем, невинен.

— Чего бумажку, булку бы сбросили, вот это дело!

Баба вдруг разъярилась:

— Булки захотел, толстомордый! Хоть бы бомбу шваркнули, и за то бы спасибо! Разорвало бы окаянных, да и нам уж один конец, легче бы!

Сказав это, баба крупными шагами, бодрясь, пошла прочь. Но я знаю, — струсила. Хоть не видать ничего «такого» около, а все же... С улицы легче всего попасть на Гороховую, а там в списках потеряешься, и каюк. Это и бабам хорошо известно.

Пальба затихла, кучка стала расходиться. Вернулась и я домой.

Да зачем эти праздные налеты?

Вчера то же было, говорят, в Кронштадте. То же самое.

Зачем это?

Дни — как день один, громадный, только мигающий —

ночью. Текучее неподвижное время. Лупорожий А-в с нашего двора, праздный ражий детина из шоферов (не совсем праздный, широко спекулирует, кажется) — купил наше пианино за 7 т. ленинок, самовар новый за тысячу и за 7 т. мой парижский мех — жене.

Приходят, кроме того, всякие спекулянты, тип один, обычный, — тип нашего Гржебина: тот же аферизм, нажива на чужой петле. Гржебин даже любопытный индивидуум. Прирожденный паразит и мародер интеллигентской среды. Вечно он околачивался около всяких литературных предприятий, издательств, — к некоторым даже присасывался, — но в общем удачи не имел. Иногда промахивался: в книгоиздательстве «Шиповник» раз получил гонорар за художника Сомова, и когда это открылось, — слезно умолял не предавать дело огласке. До войны бедствовал, случалось — занимал по 5 рублей; во время войны уже несколько окрылился, завел свой журналишко, самый патриотический и военный — «Отечество».

С первого момента революции он, как клещ, впился в Горького. Не отставал от него ни на шаг, кто-то видел его на запятках автомобиля вел. княгини Ксении Александровны, когда в нем, в мартовские дни, разъезжал Горький. (Быть может, автомобиль был не Ксении, другой вел. княгини, за это не ручаюсь).

Горькому сметливый Зиновий остался верен. Все поднимаясь и поднимаясь по паразитарной лестнице, он вышел в чины. Теперь он правая рука — главный фактор Горького. Вхож к нему во всякое время, достает ему по случаю разные «предметы искусства» — ведь Горький жадно скупает всякие вазы и эмали у презренных «буржуев», умирающих с голоду. (У старика Е., интеллигентного либерала, больного, сам приехал смотреть остатки китайского фарфора. И как торговался!) Квартира Горького имеет вид музея — или лавки старьевщика, пожалуй: ведь горька участь Горького тут, мало он понимает в «предметах искусства», несмотря на всю охоту смертную. Часами сидит, перетирает эмали, любуется приобретенным... и верно думает бедняжка, что это страшно «культурно!»

В последнее время стал скупать и порнографические альбомы. Но и в них ничего не понимает. Мне говорил один антиквар-библиотекарь, с невинной досадой: «заплатил Горь-

кий за один альбом такой 10 тысяч, а он и пяти не стоит!»

Кроме альбомов и эмалей, Зиновий Гржебин поставляет Горькому и царские сторублевки. И. И. случайно натолкнулся на Гржебина в передней Горького с целым узлом таких сторублевок, завязанных в платок.

Но присосавшись к Горькому, Зиновий делает попутно и свои главные дела: какие-то громадные, темные обороты с финляндской бумагой, с финляндской валютой, и даже с какими-то «масленками»; Бог уж их знает, что это за «масленки». Должно быть — вкусные дела, ибо он живет в нашем доме в громадной квартире бывшего домовладельца, покупает сразу пуд телятины (50 тысяч), имеет свою пролетку и лошадь (даже не знаю, сколько, — тысячи 3 в день?).

К писателям Гржебин относится теперь по-меценатски. У него есть как бы свое (полу-легальное, под крылом Горького) издательство. Он скупает всех писателей с именами, — скупает «впрок», — ведь теперь нельзя издавать. На случай переворота — вся русская литература в его руках, по договорам, на многие лета, — и как выгодно приобретенная! Буквально, буквально за несколько кусков хлеба!

Ни один издатель при мне и со мной так бесстыдно не торговался, как Гржебин. А уж кажется, перевидали издателей мы на своем веку.

Стыдно сказать, за *сколько* он покупал меня и Мережковского. Стыдно не нам, конечно. Люди с петлей на шее уже таких вещей не стыдятся.

Однако, что я — столько о Гржебине. Это сегодня день такой, все разные комиссионеры. Мебельщик развязно предлагал Д. С-чу продать ему «всю его личную библиотеку и рукописи». У Злобиных он уже купил гостиную — за 12 рублей (тысяч). Армянка-бриллиантщица поздно вечером принесла мне 6 тысяч за мою брошку (большой бриллиант). Шестьсот взяла себе. Показывала — в сумочке у нее великолепное бриллиантовое колье чье-то — 400 тысяч. Получит за комиссию 40 т. сразу.

Это все крупные аферисты, гады, которыми кишит наша гнилая «социалистическая» заводь. Мелочь же порой даже симпатична, — вроде чухонки, бывшей кухарки расстрелянного министра Щегловитого. Эти все-таки очень рискуют, когда тащут наши вещи на рынок. На рынках вечные облавы, разгоны, стрельба, избиения.

Сегодня избивали на Мальцевском. Убили 12-ти-летнюю девочку. (Сами даже, говорят, смутились).

Чем объяснить эти облавы? Разве любовью к искусству, главным образом. Через час после избиений те же люди на тех же местах снова торгуют тем же. Да и как иначе? Кто бы остался в живых, если б не торговали они — вопреки избиениям?

Надо понять, что мы не знаем даже того, что делается *буквально* в ста шагах от нас (в Таврическом Дворце, например). Тогда будет понятно, что мы не можем составить себе представление о совершающемся в нескольких верстах, не говоря уже о Юге или Европе!

Вот характерная иллюстрация.

На недавней конференции «матросов и красноармейцев» наш петербургский диктатор, Зиновьев (Радомысльский), пережил весьма неприятную, весьма щекотливую минуту. Казалось бы, собрание надежное, профильтрованное (других не собирают). В «Правде», для осведомления верноподданных, в отчете об этой конференции было напечатано (цитирую дословно), что «т. Зиновьев объявил о прибытии великого писателя Горького, великого противника войны, теперь великого поборника советской власти». И Горький сказал речь: «...воюйте, а то придет Колчак и оторвет вам голову». После этого «был покрыт длительными овациями».

Нам посчастливилось узнать правду, помимо «Правды», — от очевидцев, присутствовавших на собрании (имен, конечно, не назову). Надежное собрание возмутилось. «Коммунисты» вдруг точно взбесились: полезли на Зиновьева с криками: «долой войну! долой комиссаров!»

Кое-где стали сжиматься кулаки. Зиновьев, окруженный, струсил. Хотел удрать задним ходом, — и не мог. Предусмотрительная личная секретарша Зиновьева, — Костина, бросилась отыскивать Горького. Ездила на Зиновьевском автомобиле по всему городу, даже в наш дом заглядывала, — а вдруг Горький, случаем, у И. И.? Где-то отыскала, наконец, привезла — спасать Зиновьева, спасать большевиков.

Горький говорит мало, глухо, отрывисто, — будто лает. Насчет Колчака, «отрыва головы» и совета воевать — очевидцы не говорили, может быть, не дослышали.

Красноречие Горького вряд ли могло иметь решающее

значение, но «верная и преданная» часть сборища постаралась использовать выход «великого писателя, поборника» и т.д., как диверсию отвлекающую. После нее «конференцию» быстро закончили и закрыли.

Вскоре после напечатанного отчета И. И. был у Горького (все из-за брата). В упор спросил его, правда ли, что Горький большевиков спасал? Правда ли, что требовал продолжения войны? Неужели, как выразился И. И., — «Горький и этим теперь *опаскужен*»?

На это Горький пролаял мрачно, что ни слова не говорил о войне. Будто бы в Москву даже ездил, чтобы «протестовать» против напечатанного о нем, да вот «ничего сделать не может».

Какой, подумаешь, несчастный обиженный!

Говорит еще, что в Москве — «вор на воре, негодяй на негодяе»... (а здесь? Кого он спасал?)

Если можно было еще кем-нибудь возмущаться, то Горьким — первым. Но возмущенье и ненависть — перегорели. Да *люди* и стали выше ненависти. Сожалительное презрение, а иногда брезгливость. Больше ничего.

Оплакав Венгрию, большевики заскучали. Троцкий, главнокомандующий армией «всея России», требует, однако, чтобы к зиме эта армия уничтожила всех «белых», которые еще занимают часть России. «Тогда мы поговорим с Европой».

Работы много — ведь уже август, даже по старому стилю.

Косит дизентерия.

Т. (моя сестра) лежит третью неделю. Страшная, желтая, худая. Лекарств нет.

Соли нет.

Почти насильно записывают в партию коммунистов. Открыто устрашают: «...а если кто...» Дураки — боятся.

Петерса убрали в Киев. Положение Киева острое. Кажется, его теснят всякие «банды», от них стонут сами большевики. Впрочем — что мы знаем?

Арестованная (по доносу домового комитета, из-за созвучий фамилий) и через 3 недели выпущенная, Ел. (близкий

нам человек) рассказывает, между прочим.

Расстреливают офицеров, сидящих с женами вместе, человек 10-11 в день. Выводят на двор, комендант, с папироской в зубах, считает, — уводят.

При Ел. этот комендант (коменданты все из последних низов), проходя мимо тут же стоящих, помертвевших жен, шутил: «вот, вы теперь молодая вдовушка! Да не жалейте, ваш муж мерзавец был! В красной армии служить не хотел».

Недавно расстреляли профессора Б. Никольского. Имущество его и великолепную библиотеку конфисковали. Жена его сошла с ума. Остались — дочь 18 лет и сын 17-ти. На днях сына потребовали во «Всевобуч» (всеобщее военное обучение). Он явился. Там ему сразу комиссар с хохотком объявил (шутники эти комиссары!) — «А вы знаете, где тело вашего папашки? Мы его зверькам скормили!»

Зверей Зоологического Сада, еще не подохших, кормят свежими трупами расстрелянных, благо Петропавловская крепость близко, — это всем известно. Но родственникам, кажется, не объявляли раньше.

Объявление так подействовало на мальчика, что он четвертый день лежит в бреду. (Имя комиссара я знаю).

Вчера доктор X. утешал И. И., что у них теперь хорошо устроилось, несмотря на недостаток мяса: сердце и печень человеческих трупов пропускают через мясорубку и выделывают пептоны, питательную среду, бульон... для культуры бацилл, например.

Доктор этот крайне изумился, когда И. И. внезапно завопил, что не переносит такого «глума» над человеческим телом и убежал, схватив фуражку.

Надо помнить, что сейчас в СПБ-ге, при абсолютном отсутствии одних вещей и скудости других, есть нечто в изобилии: трупы. Оставим расстрелянных. Но и смертность в городе, по скромной большевистской статистике (петитом) — 6,5%, при 1,2% рождений. Не забудем, что это *большевистская,* официальная статистика.

И. И. заболел. И сестра его — дизентерией. «Перспектив» — для нас — никаких, кроме зимы без света и огня. Киев, как будто, еще раз взяли, кто — неизвестно. Не то Деникин, не то поляки, не то «банды». Может быть, и все они вместе.

Очень все неинтересно. Ни страха, ни надежды. Одна тяжелая свинцовая скука.

Петерс, уезжая в Киев (мы знаем, что Киев взяли потому, что Петерс уж в Москве: удрал, значит), решил возвратить нам телефоны. Причин возвращать их так же мало, как мало было отнимать. Но и за то спасибо.

Все теперь, все без исключения, — носители слухов. Носят их соответственно своей психологии: оптимисты — оптимистические, пессимисты — пессимистические. Так что каждый день есть *всякие* слухи, обыкновенно друг друга уничтожающие. Фактов же нет почти никаких. Газета — наш обрывок газеты, — если факты имеет, то не сообщает, тоже несет слухи, лишь определенно подтасованные. Изредка прорвется кусок паники, вроде «вновь угрожающей Антанты, лезущей на нас с еще окровавленной от Венгрии мордой...» или вроде внезапно появившегося Тамбово-Козловского (?) фронта.

Несомненный факт, что сегодня ночью (с 17 на 18 августа) где-то стреляли из тяжелых орудий. Но Кронштадт ли стрелял, в него ли стреляли — мы не знаем (слухи).

Должно быть, особенно серьезного ничего не происходит, — не слышно усиленного ерзанья большевистских автомобилей. Это у нас один из важных признаков: как начинается тарахтенье автомобилей, — завозились большевики, забеспокоились, — ну, значит, что-то есть новенькое, пахнет надеждой. Впрочем, мы привыкли, что они из-за всякого пустяка впадают в панику и начинают возиться, дребезжа своими расхлябанными, вонючими автомобилями. Все автомобили расхлябанные, полуразрушенные. У одного, кажется, Зиновьева — хороший. Любопытно видеть, как «следует» по стогнам града «начальник Северной Комуны». Человек он жирный, белотелый, курчавый. На фотографиях, в газете, выходит необыкновенно похожим на пышную, старую тетку. Зимой и летом он без шапки. Когда едет в своем автомобиле, — открытом, — то возвышается на коленях у двух красноармейцев. Это его личная охрана. Он без нее — никуда, он трус первой руки. Впрочем, они все трусы. Троцкий держится за семью замками, а когда идет, то охранники его буквально теснят в кольце, давят кольцом.

Фунт чаю стоит 1200 р. Мы его давно уже не пьем. Сушим ломтики морковки, или свеклы, — что есть. И завариваем. Ничего. Хорошо бы листьев, да какие-то грязные деревья в Таврическом саду, и Бог их знает, может неподходящие.

В гречневой крупе (достаем иногда на рынке — 300 р. фунт), в каше-размазне — гвозди. Небольшие, но их очень много. При варке няня вчера вынула 12. Изо рта мы их продолжаем вынимать. Я только сейчас, вечером, в трех ложках нашла 2, тоже изо рта уже вынула. Верно, для тяжести прибавляют.

Но для чего в хлеб прибавляют толченое стекло, — не могу угадать. Такой хлеб прислали Злобиным из Москвы, их знакомые, — с оказией.

Читаю рассказ Лескова «Юдоль». Это о голоде в 1840-м году, в средней России. Наше положение очень напоминает положение крепостных в имении Орловской губернии. Так же должны были они умирать *на месте,* лишенные прав, лишенные и права отлучки. Разница: их «Юдоль» длилась всего 10 месяцев. И еще: дворовым крепостным выдавали помещики на день не 1/8 хлеба, а целых 3 фунта! Три фунта хлеба. Даже как-то не верится.

Сыпной тиф, дизентерия — продолжаются. Холодные дни, дожди. Сегодня было холодное солнце.

Все эти деникинские Саратовы, Тамбовы и Воронежи, о которых нам говорят то слухи, то, задушенно намекая, большевистские газеты, — оставляют нашу эпидерму бесчувственной. Нам нужны «ощущения», а не «представления».

Но и помимо этого, — когда я пытаюсь рассуждать, — я тоже не делаю радужных выводов. Не вижу я ни успеха «белых генералов» (если они одни), ни целесообразности движения *с юга.* (Вслух насчет неверия моего в «белых генералов» не говорю, это слишком ранит всех). Большевики твердо и ясно знают, что без Петербурга центральная власть (хотя она и в Москве) не будет свалена. Большевики недаром всей силой, почти суеверно, держатся за Петербург. Они так и говорят, даже в Москве: «пока есть у нас наш красный Петроград, — мы есть и мы непобедимы».

Да, это роковым образом так. Петербург — большевист-

ский талисман. И большевистская голова.

Кроме того, «белые генералы» наши... Впрочем, — молчание, молчание. Если и думают многие, как я (опытны, ведь, мы все!), то все-таки теперь помолчим.

Продала старые портьеры. И новые. И подкладочный коленкор. 2 тысячи. Полтора дня жизни.

Большевики и сами знают, что будут свалены так или иначе, — но когда? В этом вопрос. Для России, — *и для Европы* — это вопрос громадной важности. Я подчеркиваю, *для Европы*. Быть может, для Европы вопрос времени падения большевиков даже *важнее,* чем для России. Как это ясно!

Принудительная война, которую ведет наша кучка захватчиков, еще тем противнее обыкновенной, что представляет из себя «дурную бесконечность» и развращает данное поколение в корне, — создает из мужика «вечного» армейца, праздного авантюриста. Кто не воюет, или *пока* не воюет, торгует (и ворует, конечно). *Не работает никто.* Воистину «торгово-продажная» республика, — защищаемая одурелыми солдатами — рабами.

Если большевики падут лишь «в конце концов», — то, пожалуй, под свалившимся окажется «пустое место». Поздравим тогда Европу. Впрочем, будет ли тогда кого поздравлять, — в «конце-то концов»?

Матросье кронштадтское ворчит, стонет, — надоело. «Давно бы сдались, да некому. Никто нейдет, никто не берет».

Что бы ни было далее — мы не забудем этого «союзникам». Англичанам, — ибо французы без них вряд ли что могут.

Да что — мы? Им не забудет этого и жизнь сама.

Вчера видела на улице, как маленькая, 4-х-летняя девочка колотила рученками упавшую с разрушенного дома старую вывеску. Вместо дома среди досок, балок и кирпича — возвышалась только изразцовая печка. А на валявшейся вывеске были превкусно нарисованы яблоки, варенье, сахар и — булки! Целая гора булок!

Я наклонилась над девочкой.

— За что же ты бьешь такие славные вещи?

— В руки не дается! В руки не дается! с плачем повторяла девочка, продолжая колотить и топтать босыми ножками заколдованное варенье.

Чрезвычайку обновили. Старых расстреляли, кое-кого. Но воры и шантажисты — все.

Отмечаю (конец августа по нов. стилю), что, несмотря на отсутствие *фактов,* и даже касающихся севера *слухов,* — общее настроение в городе — повышенное, атмосфера просветленная. Верхи и низы одинаково, хотя безотчетно, вдруг стали утверждаться на ощущении, что скоро, к октябрю-ноябрю, все будет кончено.

Может быть, отчасти действуют и слишком настойчивые большевистские уверения, что «*напрасны* новые угрозы», «*тщетны* решения англичан кончить с Петербургом теперь же», «*нелепы* надежды Юденича на новое соглашение с Эстляндией» и т.д.

Агонизирующий Петербург, читая эти выкрики, радуется: ага, значит, есть «новые угрозы». Есть «решение англичан»! Есть речь о «соглашении Юденича с Эстляндией»!

Я прямо чувствую нарастание беспочвенных, казалось бы, надежд.

Рядом большевики пишут о своем наступлении на Псков. Возможно, отберут его; но и это вряд ли изменит настроение дня.

Наша Кассандра, — Д. С., — пребывает в тех же мрачных тонах. Я... не говорю ничего. Но констатировать общее состояние атмосферы считаю долгом.

Живем буквально на то, что продаем, изо дня в день. Все дорожает в геометрической прогрессии, ибо рынки громят систематически. И, кажется, уже не столько принципиально, сколько утилитарно: нечем красноармейцев кормить. Обывательское продовольствие жадно забирается.

С.* с женой поехал недавно в К., на Волгу, где у него была своя дачка. Скоро вернулся. Заполняющие домик «ком-

---

* Замечательный и очень известный писатель.

мунары» уделили хозяевам две каморки наверху. Незавидное было житье.

С. говорит, что на Волге — непрерывные крестьянские восстания. Карательные отряды поджигают деревни, расстреливают крестьян по 600 человек зараз.

Южные «слухи» упорны относительно Киева: он, будто бы, взят Петлюрой — в соединении с поляками и Деникиным.

(Вот что я заметила относительно природы «слуха» вообще. Во всяком слухе есть смешение *данного* с *должным*. Бывают слухи очень *неверные,* — с громадным преобладанием должного над данным; — не верны они, значит, фактически, и тем не менее очень поучительны. Для умеющего учиться, конечно. Вот и теперь, Киев. Может быть, его *должно было бы* взять соединение Петлюры, поляков и Деникина. А как *данного* — такого соединения и не существует, может быть, если Киев и взят).

Большевики признались, что Киев окружен с 3-х сторон. Только сегодня (29-го августа) признались, что «противник (какой? кто?) занял Одессу». (Одесса взята около месяца тому назад).

Ах, да что эти южные «взятия». И мы — Россия, и большевики — наши завоеватели, в этом пункте единомысленны: занятие южных городов «белыми» нисколько не колеблет центральную власть и само по себе не твердо, не окончательно. Не удивлюсь, если тот же Киев сто раз еще будет взят обратно.

Хамье отъевшееся, глубоко а-политичное и беспринципное (с одним непотрясаемым принципом — частной собственности) спешит «до переворота» реализовать нахваченные пуды грязной бумаги, «ленинок», — скупая все, что может. У нас. В каждом случае учитывая, конечно, степень нужды, прижимая наиболее голодных. Помещают свои ленинки, как в банк, в бриллианты, меха, мебель, книги, фарфор, — во что угодно. Это очень рассудительно.

Лупорожего А-ва с нашего двора, ражего детину из шоферов, который для жены купил мой парижский мех — сцапали. Спекульнул со спиртом на 2½ миллиона. Ловко!

А чем лучше Гржебин? Только вот не попался, и ему покровительствует Горький. Но жена Горького (вторая, — настоящая его жена где-то в Москве), бывшая актриса, теперь комиссарша всех российских театров, уже сколотила себе деньжат... это ни для кого не тайна. Очень любопытный тип эта дама-коммунистка. Каботинка до мозга костей, истеричка, довольно красивая, хотя sur le retour, — она занималась прежде чем угодно, только не политикой. При начале власти большевиков сам Горький держался как-то невыясненно, неопределенно. Помню, как в ноябре 17 года я сама лично кричала Горькому (в последний раз, кажется, видела его тогда): «...а ваша-то собственная совесть что вам говорит? Ваша внутренняя человеческая совесть?», а он, на просьбы хлопотать перед большевиками о сидящих в крепости министрах, только лаял глухо: «я с этими мерзавцами... и говорить... не могу».

Пока для Горького большевики, при случае, были «мерзавцами», — выжидала и Марья Федоровна. Но это длилось недолго. И теперь, — о, теперь она «коммунистка» душой и телом. В роль комиссарши, — министра всех театрально-художественных дел, — она вошла блестяще; в буквальном смысле «вошла в роль», как прежде входила на сцене, в других пьесах. Иногда художественная мера изменяет ей, и она сбивается на роль уже не министерши, а как будто императрицы («ей Богу, настоящая «Мария Феодоровна», восклицал кто-то в эстетическом восхищении). У нее два автомобиля, она ежедневно приезжает в свое министерство, в захваченный особняк на Литейном, — «к приему».

Приема ждут часами и артисты, и писатели, и художники. Она не торопится. Один раз, когда художник с большим именем, Д-ский, после долгого ожидания удостоился, наконец, впуска в министерский кабинет, он застал комиссаршу очень занятой... с сапожником. Она никак не могла растолковать этому противному сапожнику, какой ей хочется каблучок. И с чисто королевской милой очаровательностью вскрикнула, увидев Д-ского: — «Ах, вот и художник! Ну нарисуйте же мне каблучок к моим ботинкам!»

Не знаю уж, воспользовался ли Д-ский «случаем» и попал, или нет, «в милость». Человек «придворной складки», конечно, воспользовался бы.

Теперь, вот в эти дни, у всех почему-то на устах одно

слово: «*переворот*». У людей «того» лагеря, не нашего — тоже. И спешат что-то успеть «до переворота». Спекулянты — реализовать ленинки, причастные к «властям» — как-то «заручиться» (это ходячий термин).

Спешит и Марья Федоровна А-ва. На днях А-ский, зайдя по делу к Горькому, застал у М. Ф. совсем неожиданный «салон»: человек 15 самой «белогвардейской» породы, — П., К. и т.д. Говорят о перевороте, и комиссарша уже играет на этой сцене совсем другую роль: роль «урожденной Желябужской». Вот и «заручилась» на случай переворота. Как не защитят ее гости — своего поля ягоду, «урожденную Желябужскую»?

Недаром, однако, были слухи, что прямолинейный Петерс, наш «беспощадный», в раже коммунистической «чистки», метил арестовать всю компанию: и комиссаршу, и Горького, и Гржебина, и Тихонова... Да широко махнул. В Киев услали.

Киев, если не взят, то, кажется, будет взят. Понять, вообще, ничего нельзя. Псков большевики тогда же взяли, — торжествовали довольно! Однако, Зиновьев опять объявляет — мы, мол, накануне цинического выступления англичан...

Вы так боитесь, товарищ Зиновьев? Не слишком ли большие глаза у вашего страха? У моей надежды они гораздо меньше.

Атмосфера уверенности в перевороте, которую я недавно отметила, ее температура (говорю о чисто кожном ощущении) за последние дни, и как будто тоже без всяких причин — сильно понизилась. Какая это странная вещь!

Разбираясь, откуда она могла взяться, я вот какое предполагаю объяснение: вероятно *был,* опять ставился, вопрос о *вмешательстве.* Реально так или иначе снова *поднимался.* И это передалось через воздух. Только это могло родить такую всеобщую надежду, ибо: все мы здесь, сверху до низу, до последнего мальчишки, *знаем* (и большевики тоже!), что сейчас одно лишь так называемое «вмешательство» может быть толчком, изменяющим наше положение.

Вмешательство! «Вмешательство во внутренние дела России»! Мы хохочем до слез, — истерических, трагических, правда, — когда читаем эту фразу в большевистских газетах. И большевики хохочут — над Европой, — когда пишут эти слова. Знают, каких она слов боится. Они и не скрывают, что рассчитывают на старость, глухоту, слепоту Европы, на

страх ее перед традиционными словами.

В самом деле, каким «вмешательством» в какие «внутренние дела» какой «России» была бы стрельба нескольких английских крейсеров по Кронштадту? Матросы, скучающие, что «никто их не берет», сдались бы мгновенно, а петербургские большевики убежали бы еще раньше. (У них автомобили всегда наготове). Но, конечно, все это лишь в том случае, если бы несомненно было, что стреляют «англичане», «союзники». (Так знают все, что самый легкий толчок «оттуда» — дело решающее).

О, эта пресловутая «интервенция»! Хоть бы раньше, чем произносить это слово, европейцы полюбопытствовали взглянуть, что происходит с Россией. А происходит, приблизительно, то, что было после битвы при Калке: татаре положили на русских доски, сели на доски — и пируют. Не ясно ли что свободным, не связанным еще, — надо (и легко) столкнуть татар с досок. И отнюдь, отнюдь не из «сострадания» — а в собственных интересах, самых насущных! Ибо эти новые татаре такого сорта, что чем дольше они пируют, тем грознее опасность для соседей попасть под те же доски.

Но видно, и соседей наших, и Антанту Бог наказал, — разум отнял. Даже просто здравый смысл. До сих пор они называют этот необходимый, и такой нетрудный, *внешний толчек,* жест самосохранения — «вмешательством во внутренние дела России».

Когда рассеется это марево? Не слишком ли поздно?

Вот мое соображение, сегодняшее (26-ое Августа), некий мой прогноз: если в течение ближайших недель не произойдет резко положительных *фактов,* указующих на вмешательство — дело можно считать конченным. Т.е. это будет уже *факт невмешательства.*

Как выльется большевистская зима? Трудно вообразить себе наше внутреннее положение — оставим эту сторону. С внешней же думаю: к январю или раньше возможно соглашение большевиков с соседями («торговые сношения»). С Финляндией, со Швецией и, может быть (да, да!), с самой Антантой (снятие блокады). Я ничего не знаю, но вероятия большие...

Учесть последствия этого невозможно, однако, в общих чертах они для нас, отсюда, очень ясны. Первый результат — усиление и укрепление красной армии. Ведь все, что получат

большевики из Европы (причем глупой Европе они не дадут ничего — у них нет ничего) — все это пойдет комиссарам и красной армии. Ни одна кроха не достанется населению (да на что большевикам население?). Пожалуй, красноармейцы будут спекулировать на излишках, — только.

Слабое место большевиков — возможность голодных бунтов в армии. Это будет устранено...

Пусть совершается несчастие: мне не жаль Англии; что же, если она сама будет вооружать и кормить противника.

Европа получит по делам своим.

Ленин живет в Кремле, в «Кавалерском Доме» (бывшем прислужьем) в двух комнатках; рядом, в таких же — Бонч*. Между ними проломили дверь, т.е. просто дыру, какая еще там дверь! И кто удостаивается деловой аудиенции у Бонча — видит и Ленина. Только что рассказывал такой удостоившийся, после долгих церемоний: сидит Ленин с компрессом на горле, кислый; оттого ли что горло болит, или от дел неприятных — неизвестно.

Главный Совдеп московский — в генерал-губернаторском доме, но приемная — в швейцарской. Там стоит на голом столе бутылка, в бутылке — свечка.

В Москве зимой не будет «ни одного полена даже для Ленина», уверял нас один здешний «приспособившийся» (не большевик), заведующий у них топливом.

Кстати, он же рассказывал, что живя вблизи Петропавловской крепости, слышит по ночам бесконечные расстрелы. — Мне кажется иногда, что я схожу с ума. И думаю: нет, уж лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас...

Электричество — 4 часа в сутки, от 8—12 (т.е. от 5—9 час. вечера). Ночи темные-темные.

Вчера (14 ст. ст.) была нежная осенняя погода. В саду пахло землей и тихой прудовой водой. Сегодня — дождь.

Ожидаются новые обыски. Вещевые, для армии. Обещают брать все, до занавесей и мебельной обивки включительно.

---

* Бонч-Бруевич, старый партийный большевик, друг Ленина. Занимался когда-то исследованием сектанства.

Сегодня (30 авг. нов. стиля) — теплый, влажный день. С утра часов до 2-3 — далекая канонада. Опять, верно, вялые английские шалости. Connu et vit!* В московской газете довольно паническая статья «Теперь или никогда!», опять об «окровавленной морде» Антанты, собирающейся, будто бы, лезть в Петербург. Новых фактов никаких. Букет старых.

Здешняя наша «Правда» — прорвалась правдой (это случается). Делаю вырезку, с пометкой числа и года (30 августа 19 г. СПБ.) и кладу в дневник. Пусть лежит на память.

Вот эта вырезка дословно, с орфографией:

Рабочая масса к большевизму относится несочувственно и когда приезжает оратор или созывается общее собрание, т.т. рабочие прячутся по углам и всячески отлынивают. Такое отношение очень прискорбно. Пора одуматься.

ЧЕРЕХОВИЧ.

* * *

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМЫХ ИМУЩЕСТВ
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО РАЙОНА.

Настроение «пахнет белогвардейским духом». Из 150 служащих всего 7 человек в коллективе (2 коммуниста, 3 кандидата и 2 сочувствующих). Все старания привлекать публику в нашу партию безрезультатны.

14-я Государств. типография. Петроград.

Весьма характерный «прорыв». Достанется за него завтра кому следует. Бедный «Черехович» неизвестный! Угораздило на такие откровенности пуститься!

Положим, это все знают, но писать об этом в большевистской газете — непорядок. Ведь это же правда, — а не «Правда».

---

* Знакомо и видено (франц.)

Опять где-то стреляют, целыми днями. Должно быть сами же большевики куда-нибудь палят зря, с испугу. В газете статья *«Совершим Чудо!»* т.е. «дадим отпор Антанте».

Прибыл «сам» Троцкий. Много бытовых подробностей о грабежах, грязи и воровстве — но нет сил записывать.

В общем, несмотря на периодическую глухую орудийную стрельбу, — все то же, и вид города все тот же: по улицам, заросшим травой, в ямах, идут испитые люди с котомками и саквояжами, а иногда, клубясь вонючим синим дымом, протарахтит большевистский автомобиль.

Нет, видно ясны большевистские небеса. Мария Федоровна (каботинка, «жена» Горького) — не только перестала «заручаться», но даже внезапно сделалась уже не одним министром «всех театров», а также и министром «торговли и промышленности». Объявила сегодня об этом запросто И. И-чу. Положим, не хлопотно: «промышленности» никакой нет, а торгуют всем, чем ни попадя, и министру надо лишь этих всех «разгонять» (или хоть «делать вид»).

Будто бы арестовали в виде заложников Станиславского и Немировича*. Мало вероятно, хотя Лилина (жена Станиславского) и Качалов — играют в Харькове и, говорят, очень радостно встретили Деникина. Были слухи, что Станиславский бывает в Кремле, как придворный увеселитель нового самодержца — Ленина, однако и этому я не очень верю. Мы так мало знаем о Москве.

Из Москвы приехал наш «единственный» — Х. Очень забавно рассказывал обо всем. (Станиславского выпустили). Но вот прелесть — это наш интернациональный хлыщ — Луначарский. Живет он в сиянии славы и роскоши, эдаким неразвенчанным Хлестаковым. Занимает, благодаря физическому устранению конкурентов, место единственного и первого «писателя земли русской». Недаром «Фауста» написал. Гете написал немецкого, старого, а Луначарский — русского, нового, и уж, конечно, лучшего, ибо «рабочего».

Официальное положение Луначарского дозволяет ему

---

* Директора известного Художественного театра в Москве.

циркулярами призывать к себе уцелевших критиков, которым он жадно и долго читает свои поэмы. Притом безбоязненно: знает, что они, бедняги, словечка против не скажут — только и могут, что хвалить. Не очень-то накритикуешь, явившись на литературное чтение по приказу начальства! Будь газеты, Луначарский, верно, заказывал бы и статьи о себе.

До этого не доходили и писатели самые высокопоставленные, вроде великого князя К. Р. (Константина Романова), уважая все-таки закон внутренний — литературной свободы. Но для Луначарского нет и этих законов. Да и в самом деле: он устал быть «*вне*» литературы. Большевистские штыки позволяют ему если не *быть,* то *казаться* в самом сердце русской литературы. И он упустит такой случай?

Устроил себе, в звании литературного (всероссийского) комиссара, и «Дворец Искусств». Новую свою «цыпочку», красивую Р., поставил... комиссаром над всеми цирками. Придумал это потому, что она вообще малограмотна, а любит только лошадей. (Старые жены министров большевистских чаще всего — отставлены. Даны им разные места, чтоб заняты были, а министры берут себе «цыпочек», которым уже даются места поближе и поважнее).

У Луначарского, в бытность его в Петербурге, уже была местная «цыпочка», какая-то актриска из кафе-шантана. И вдруг (рассказывает X) — является теперь, в Москву — с ребеночком. Но министр искусств не потерялся, тотчас откупился, ассигновал ей из народных сумм полтора миллиона (по-царски, знай наших!) — «на детский театр».

Сегодня, 2 сентября нов. ст., во вторник, записываю *прогноз* Дмитрия*, его «пророчества», притом с его согласия, — так он в них уверен.

Никакого наступления ни со стороны англичан, ни с других сторон, Финляндии, Эстляндии и т.п. —

— *не будет*

ни в ближайшие, ни в дальнейшие дни. Где-нибудь, кто-нибудь, возможно, еще постреляет — но и только.

Определенного примирения с большевиками у Европы тоже *не будет.* Все останется приблизительно в таком же по-

---

* Д. С. Мережковского.

ложении, как сейчас. Выдержит ли Европа строгую блокаду — неизвестно; будет, однако, пытаться.

Деникин обязательно провалится.

Затем Дмитрий дальше пророчествует, уже о будущем годе, после этой зимы, в продолжение которой большевики сильно укрепятся... но я пока этого не записываю, лучше потом.

Дмитрий почему-то объявил, что «вот этот вторник был решающим». (Уж не Троцкий ли загипнотизировал его своими «красными башкирами»?).

Эти «пророчества» — в сущности то, что мы все знаем, но не хотим знать, не должны и не можем говорить *даже себе*... если не хотим сейчас же умереть. Физически нельзя продолжать эту жизнь без постоянной надежды. В нас горит праведный инстинкт жизни, когда мы стараемся не терять надежду.

На Деникина, впрочем, никто почти не надеется, несмотря на его, казалось бы, колоссальные успехи, на все эти Харьковы, Орлы, на Мамонтова и т.д. *Слишком* мы здесь зрячи, слишком все знаем *изнутри,* чтобы не видеть, что ни к чему, кроме ухудшения нашего положения, не поведут наши «белые генералы», старые русские «остатки», — если они не будут *честно* и *определенно* поддержаны Европой. А что у Европы нет этой прямой честности — мы видим.

Опять пачками аресты. Опять те же, — Изгоев, Вера Гл. и пр., самые бессмысленные. Плюс еще всякие англичане. Пальбы нет.

Арестовали двух детей, 7 и 8 лет. Мать отправили на работы, отца неизвестно куда, а их, детей, в Гатчинский арестный приют. Эта такая детская тюрьма, со всеми тюремными прелестями, «советские дети *не для иностранцев*», как мы говорим. Да, уж в этот приют «европейскую делегацию» не пустят (как, впрочем, и ни в какой другой приют: для этого есть один или два «образцовых», т.е. чисто-декорационных).

Тетка арестованных детей (ее еще не арестовали) всюду ездит, хлопочет об освобождении, — напрасно. Была в Гатчине, видала их там. Плачет: голодают, говорит, оборванные, во вшах.

Любопытная это, вообще, штука — «красные дети». Большевики во всю решили их для себя «использовать». Ни

на что не налепили столь пышной вывески, как на несчастных совдепских детей. Нет таких громких слов, каких не произносили бы большевики тут, выхваляя себя. Мы-то знаем им цену, и только тихо удивляемся, что есть в «Европах» дураки, которые им верят.

Бесплатное питание! Это матери, едва стоящие на ногах, должны водить детей в «общественные столовые», где дают ребенку тарелку воды, часто недокипяченой, с одиноко плавающим листом чего-то. Это посылаемые в школы «жмыхи», из-за которых дети дерутся, как звереныши.

Всеобщее бесплатное обучение! Приюты! Школы! — Много бы могла я тут рассказать, ибо имею *ежедневную, самую детальную,* информацию *изнутри.* Но я ограничусь выводом: это целое поколение русское, погибшее духовно и телесно. Счастье для тех, кто не выживет...

Кстати, недавно Горький «лаял» в интимном кругу, что «это черт знает, что в школах делается»... И действительно, средняя школа, преобразованная в одну «нормальную» советскую школу, т.е. заведение для обоих полов, сделалась странным заведением... Женские гимназии, институты соединили с кадетскими корпусами, туда же подбавили 14-15-летних мальцов прямо с улицы, всего повидавших... В гимназиях, по словам Горького тоже, есть уже беременные девочки 4-го класса... В «этом» красным дстям дается полная «свобода». Но в остальном требуется самое строгое «коммунистическое» воспитание. Уже с девяти лет мальчика выпускают говорить на митинге, учат «агитации» и защите «советской власти». (Очевидно, более способных подготовляют и к действию в Чрезвычайке. Берут на обыски — это «практические занятия»).

Но довольно! довольно! Об этом будет время вспомнить...

Как это англичане терпят? Даже на них не похоже. Они как будто потеряли всякое понятие национальной гордости. Вот: большевики забрали английское посольство, вещи присвоили, сидит там Горький в виде оценщика-старьевщика, записывает «приобретенное».

И все-таки англичанам верят! Сегодня упорные слухи, что англичане взяли Толбухинский маяк и тралят мины.

Как бы не так.

Киев взят почти наверно, — по большевистским же газетам. Но какое это имеет значение?

Третий обыск, с Божией помощью! Я уже писала, что если не гаснет вечером электричество — значит обыски в этом районе. В первую ночь, на 5-ое сентября, была, очевидно, проба. На 6-ое, вечером, у нас сидел И. И., около 12 часов — шум со двора. Пришли! И. И. скорей убежал туда.

Всю ночь ходили по квартирам, всю ночь с ними И. И. (Поразительно, в эту ночь *почти все* дома громадного района были обысканы. В одну ночь! По всей нашей улице, бесконечно длинной, — часовые).

Я сидела до 4-х часов ночи. Потом так устала — что легла, черт с ними, встану. На минуту уснула — явились.

Войдя в свою рабочую комнату, увидела субъекта, пыхающего махоркой и роющегося в ящиках с моими рукописями. Засунуть пакеты назад не может. Рвет.

— Дайте, я вам помогу, говорю я. — И лучше я сама вам все покажу. А то вы у меня все спутаете.

Махнул рукой:

— Тут все бумаги...

С ними, на этот раз, «барышня» в белой шляпке, негритянского типа. Она как-то стеснялась. И когда Дмитрий сказал: «открыть вам этот ящик? Видите, это мои черновики...», барышня-сыщица потянула сыщика — рабочего за рукав: «не надо...»

— Да вы чего ищите? Спрашиваю.

Новый жандарм заученным тоном ответил:

— Денег. Анти-советской литературы. Оружия.

Вещей они пока не забирали. Говорят, теперь будет другая серия.

Странное чувство *стыда,* такое жгучее, — не за себя, а за этих несчастных новых сыщиков с махоркой, с исканием «денег», беспомощных в своей подлости и презрительно жалких.

А рядом всякие бурные романтические истории (у сытых): Т. изгнал свою жену из «Всемирной Литературы» (а также из своей квартиры). Она перекочевала к Горькому, который усыпал ее бриллиантами (? за что купила, за то и продаю, за точность не ручаюсь). И теперь лизуны, вроде X., Y.,

Z., не знают чью пятку лизать: Т-ва, отставной жены или Марии Федоровны.

Аресты и обыски.

Сегодня 8 сентября. Положение то же, что было и неделю тому назад, — если не хуже: слухи о «мирных переговорах» с Эстляндией и Финляндией. (Что это еще за новое, неслыханное, умопомешательство? Как будто большевики могут с кем-нибудь «договориться» и договор *исполнять*?)

С 10-го сентября я считаю дело конченным — в смысле большевистской зимы. Она делается фактом. Непредставима она до такой степени, что самые трезвые люди все-таки еще цепляются за какие-то надежды... Но зима эта — факт.

Всеобщая погоня за дровами, пайками, прошениями о невселении в квартиры, извороты с фунтом керосина и т.д. Блок, говорят, (лично я с ним не сообщаюсь) даже болен от страха, что к нему в кабинет вселят красноармейцев. Жаль, если не вселят. Ему бы следовало их целых «12». Ведь это же, по его поэме, 12 апостолов, и впереди них «в венке из роз идет Христос»! —

Х. вывернулся. Получил вагон дров и устраивает с Горьким «Дом искусств».

Вот два писателя (первоклассные, из непримиримых) в приемной комиссариата Нар. просвещения. Комиссар К. — любезен. Обещает: «мы вам дадим дрова; кладбищенские; мы березы с могил вырубаем — хорошие березы». (А возможно, что и кресты, кстати, вырубят. Дерево даже суше, а на что же кресты?)

К И. И. тоже «вселяют». Ему надо защитить свой кабинет. Бросился он в новую «комиссию по вселению». Рассказывает: — Видал, кажется, Совдепы всякие, но таких архаровцев не видал! Рыжие, всклокоченные, председатель с неизвестным акцентом, у одного на носу волчанка, баба в награбленной одежде... «Мы — шестерка!», а всех 12 сидит. Самого Кокко (начальник по вселению, национальность таинственна) — нету. «Что? Кабинет? Какой кабинет? Какой ученый? Что-то не слыхали. Книги пишете? А в «Правде» не пишете? Верно с буржуями возитесь. Нечего, нечего! Вот мы вам пришлем товарищей исследовать, какой такой рентген, какой такой ученый!»

Бедный И. И. кубарем оттуда выкатился. Ждет теперь «товарищей» — исследователей.

Пусть убивают нас, губят Россию (и себя, в конечном счете) невежественные, непонимающие европейцы, вроде англичан. Но как могут распоряжаться нами откормленные русские эмигранты, разные «представители» пустых мест, несуществующие «делегации» и т.д. Когда к нам глухо доносятся голоса зарубежников, когда здешние наши палачи злорадно подхватывают эмигрантские свары и заявления — с одной стороны всяких большевиствующих тупиц о невмешательстве, с другой — безумные «непризнания независимости Финляндии» (!!) каких-то русских парижских «послов», мы здесь скрежещем зубами, сжимаем кулаки. О, если б не тряпка во рту, как мы крикнули бы им всем: «Что вы делаете? Кто вам дал право распоряжаться нами и Россией? России нет сейчас, а поскольку есть она — мы Россия, мы, а не вы! Как вы смеете от ее лица что-то «признавать», чего-то «не признавать», распоряжаться нами?

Впрочем, все они были бы только смешны и глупы, если бы глупость не смешивалась с кровью. Кровавая глупость! Ладно, в свое время за нее ответят.

Отдельные русские голоса за рубежем, трезвые, — слабы и не имеют значения. Трезвы только *недавно* бежавшие. Они еще чувствуют Россию, реальное ее положение. А для тех — точно ничего не случилось! Не понимают, между прочим, что и все их *партии* — уже фикция, туман прошлого, что ничего этого уже нет *безвозвратно*.

А здесь... Эстляндия 15-го начинает «мирные переговоры», сегодня Чичерин предлагает их всем окраинам, с Финляндией во главе, конечно. Англия и «шалости» прекратила.

Не ясно ли, что после этого...

Сегодня понедельник 15 (2) сентября. Жду, что в вечерней ихней тряпке будет очередной клик об очередных победах и «устрашенной» Финляндии, склоняющейся к самоубийству (мирным переговорам). Ведь «мир» с большевиками — это согласие на самоубийство или на разложение заживо.

24 (11) сентября. Вчера объявление о 67-ти расстрелянных в Москве (профессора, общественные деятели, женщи-

ны). Сегодня о 29 — здесь. О мирных переговорах с Эстляндией, прерванных, но готовящихся, будто бы, возобновиться — ничего не знаем, не понимаем, не можем и нельзя ничего себе представить. Деникин взял, после Киева, Курск. Троцкий гремит о победах. Ощущение тьмы и ямы. Тихого умопомешательства.

Масло подбирается уже к 1000 р. за фунт. Остальное соответственно. У нас нет более ничего. Да и нигде ничего. И. И. уже «продался» тоже Гржебину — писать брошюры. Недавно такая была картина: у меня сидела торговка, скупающая за гроши нашу одежду. И. И. прислал сверху, с сестрой, свои туфли старые, галстуки, еще что-то, чуть не пиджак последний. А в это же время к нему, И. И., приехал Горький (пользоваться рентгеном И. И.) Вызвал кстати фактора своего, Гржебина (он в нашем доме живет). Тот прибежал. Принес каких-то китайских божков и акварельный альбом, — достал по поручению. Горький купил это за 10 тысяч. Эта сделка наверху, в квартире И. И., была удачнее нижней: вещи И. И., которые он послал продавать, — погибли у торговки вместе с моими. Торговка ведь берет без денег. А когда через несколько дней И. И. послал сестру к ней за деньгами — там оказалась засада, торговки нет, вещей нет, чуть и сестру не арестовали.

Опять выключили телефоны. Через 2 дня пробую — снова звонят. Постановили закрыть все заводы. Аптеки пусты. Ни одного лекарства.

(Какой шум у меня в голове! Странное состояние. Физическое или нравственное — не могу понять. Петр Верховенский у Достоевского — как верно о «равенстве в братстве». Механика. И смерть. Да, именно — механика смерти).

Говорят (в ихней газете), что умер Леонид Андреев, у себя, в Финляндии. Он не испытал нашего. Но он понимал правду. За это ему вечное уважение.

Х. и Горький остались. Процветают.

В литературную столовку пришла барышня. Спрашивает у заведующей: не здесь ли Дейч? (старик, толстовец). Та говорит: его еще нету. Барышня просит указать его, когда придет; мне, мол, его очень нужно. И ждет. Когда старец приплелся (он едва ходит) — заведующая указывает: вот он. Ба-

рышня к нему — ордер: вы арестованы! Все растерялись. Старик просит, чтобы ему хоть пообедать дали. Барышня любезно соглашается...

Изгоев и Потресов сидят на Шпалерной, в одной камере.

Из объявлений в газете, *за что* расстреляны:

«...Чеховский, б. дворянин, поляк, был против коммунистов, угрожал последним отплатить, когда придут белые...» № его 28.

Холодно, сыро. У нас пока ни полена, только утром в кухню.

Правительство, «Сев. Западное» — Маргулиеса и других — полная загадка. Большевики издеваются, ликуют.

Большевистские деньги почти не ходят вне городской черты. Скоро и здесь превратятся в грязную бумагу. Чистая

Небывалый абсурд происходящего. Такой, что никакая человечность с ним не справляется. Никакое воображение.

11 окт. (28 сен.) — После нашей недавней личной неудачи (объясню как-нибудь потом* писать психологически невозможно; да и просто нечего. Исчезло ощущение связи событий среди этой трагической нелепости. Большевистские деньги падают с головокружительной быстротой, их отвергают даже в пригородах. Здесь — черный хлеб с соломой уже 180-200 р. фунт. Молоко давно 50 р. кружка (по случаю). Или больше? Не уловишь, цены растут *буквально* всякий час. Да и нет ничего.

Когда «их» в Москве взорвало (очень ловкий был взрыв, хотя по последствиям незначительный, — убило всего несколько не главных большевиков, да оглушило Стеклова) — мы думали, начнется кубический террор; но они как-то струсили и сверх своих обычных расстрелов не забуйствовали. Мы так давно живем среди потока слов (официальных) — «раздавить», «залить кровью», «заколотить в могилу» и т.д. и т.п., что каждодневное печатное повторение непечатной ругани этой — уже не действует, кажется старческим шамка-

---

* Мы пытались организовать побег на Режицу — Ригу. Это не вышло, как не удавались десятки еще других планов побега.

ньем. Теперь все заклинания «додавить» и «разгромить» направлены на Деникина, ибо он после Курска взял Воронеж (и Орел — по слухам).

Абсурдно-преступное поведение Антанты (Англии?) продолжается. На свою же голову, конечно, да нам от этого не легче.

Понять по-прежнему ничего нельзя.

Уже будто бы целых три самостийных пуговицы, Литва, Латвия и Эстония, объявили согласие «мирно переговариваться» с большевиками. Хотят, однако, не нормального мира, а какого-то полубрестского, с «нейтральными зонами» (опять абсурд). Тут же путается германский Гольц, и тут же кучка каких-то «белых» (??) ведет безнадежную борьбу у Луги!

Кошмар.

Все меньше у них автомобилей. Иногда дни проходят — не прогремит ни один.

Закрыли заводы, выкинули 10 тысяч рабочих. Льготы — месяц. Рабочие покорились, как всегда. Они не думают вперед (я приметила эту черту некультурных «масс»), льготный месяц на то и дается, уедут по деревням. («Чего — там, что еще будет через месяц, а пока — езжай до дому!»)

Здесь большевики организовали принудительную запись — в свою партию (не всегда закрывают принудительность даже легким флером). Снарядили, как они выражаются «пару тысяч коммунистов на южный фронт» чтобы, «через какую-нибудь пару недель» догромить Деникина. (Это не я сближаю эти «пары», это так точно пишут наши «советские» журналисты).

15 (2) Октября. — Ну вот, и в четвертый раз высекли! — говорит Дмитрий в 5 часов утра, после вчерашнего, нового, обыска.

Я с убеждением возражаю, что это неверно; это опять гоголевская унтер-офицерская вдова «сама себя высекла».

Очень хороша была плотная баба в белой кофте с *засученными рукавами*, и с басом (несомненная прачка), рывшаяся в письменном столе Дмитрия. Она вынимала из конвертов какие-то письма, какие-то заметки.

— А мне жилательно йету тилиграмму прочесть...

Стала приглядываться и бормоча разбирать старую телеграмму — из кинематографа, кажется.

Другая баба, понежнее, спрашивала у меня «стремянку».

— Что это? Какую?

— Ну лестницу, что ли... На печку посмотреть.

Я тихо ее убедила, что на печку такой вышины очень трудно влезть, что никакой у нас «стремянки» нет, и никто туда никогда и не лазил. Послушалась.

У меня в кабинете так постояли, даже столов не открыли. Со мной поздоровался испитой малый и «ручку поцеловал». Глядь — это Гессерих, один из «коренных мерзавцев нашего дома», или, по-советски, «кормернадов». В прошлый обыск он еще скакал по лестницам, скрываясь, как дезертир и т.д., а нынче уже руководит обыском, как член Чрезвычайки. Их, кормернадов, несколько; глава, конечно, Гржебин. Остальные простецкие (двое сидят). Гессерих одно время и жил у Гржебина.

Потолкались — ушли. Опять придут.

Сегодня грозные меры: выключаются *все* телефоны, закрываются *все* театры, *все* лавченки (если уцелели), не выходить после 8 ч. вечера, и т.д. Дело в том, что вот уже 4 дня идет наступление белых с Ямбурга. Не хочу, не могу и не буду записывать всех слухов об этом, а ровно ничего кроме слухов, самых обрывочных, у нас *нет*. Вот, впрочем, один, наиболее скромный и постоянный слух: какие «белые» и какой у них план — неизвестно, но они хотели закрепиться в Луге и Гатчине к 20-му и ждать (чего? тоже неизвестно). Однако, красноармейцы так побежали, что белые растерялись, идут, идут, и не могут их догнать. Взяв Лугу и Гатчину — взяли *будто бы* уже и Ораниенбаум и взорвали мост на Ижоре. Насчет Ораниенбаума слух нетвердый. Псков *будто бы* взял фон дер-Гольц (это совсем нетвердо).

На юге Деникин взял Орел (признано большевиками) и Мценск (не признано).

Мы глядим с тупым удивлением на то, что происходит. Что из этого выйдет? Ощущением, всей омозолившейся душой, мы склоняемся к тому, *что ничего не выйдет*. Одно разве только: в буквальном смысле будем издыхать от голода, да еще всех нас пошлют копать рвы и строить баррикады.

Красноармейцы действительно подрали от Ямбурга, как

зайцы, роя по пути картошку и пожирая ее сырую. Тут не слухи. Тут свидетельства самих действующих лиц. От кого дерут — сказать не могут, — не знают. Прослышали о каких-то «таньках», лучше до греха домой.

Завтра приезжает «сам» Троцкий. Вдыхать доблесть в бегущих.

Состояние большевиков — неизвестно. *Будто бы* не в последней панике, считая это «налетом банд», а что «сил нет».

Самое ужасное, что они, вероятно, правы, что сил и нет, если не подтыкано хоть завалящими регулярными нерусскими войсками, хоть фон дер-Гольцем. Большевики уповают на своих «красных башкир», в расчете, что им — все равно, лишь бы их откармливали и все позволяли. Их и откармливают, и расчет опять верный.

Газеты — обычны, т.е. понять ничего нельзя абсолютно, а слова те же, — «додушить», «раздавить» и т.д.

(Черная книжечка моя кончилась, но осталась еще корка, — в конце и в начале. Буду продолжать, как можно мельче на корке).

На корке.

16 Окт. (3), Четв. — Неужели я снизойду до повторения здесь таких слухов: англичане вплотную бомбардируют Кронштадт. Взяли на Кр. Горке форт «Серая Лошадь». Взято Лигово...

Но вот *почти* наверно: взято Красное Село, Гатчина, кр-армейцы продолжают бежать.

В ночь сегодня мобилизуют всех рабочих, заводы (оставшиеся) закрываются, Зиновьев вопит не своим голосом, чтобы «опомнились», не драли, и что «никаких танек нет». Все равно дерут.

Оптимисты наши боятся слово сказать (чтоб не сглазить событий), но не выдерживают, шепчут, задыхаясь: Финляндия взяла Левашево... О, вздор, конечно! Т.е. вздор фактический, как данное, — как должное — это истина. И если бы выступила Финляндия...

Все равно, душа молчит, перетерпела, замозолилась, изверилась, разучилась надеяться. Но надеяться надо, надо, иначе смерть.

Голод полнейший. Рынки расхвачены. Фунта хлеба сегодня не могли достать. Масло, когда еще было, — было 1000-1200 р. фунт.

26 (13) Октября, вторник. — Рука не подымалась писать. И теперь не подымается. Заставляю себя.

Вот две недели неописуемого кошмара. Троцкий дал приказ: *«гнать»* вперед красноармейцев (так и напечатал «гнать»), а в Петербурге копать окопы и строить баррикады. Все улицы перерыты, главным образом центральные. Караванная, например. Роют обыватели, схваченные силой. Воистину ассирийское рабство! Уж как эти невольники роют — другое дело. Не думаю, чтобы особенно крепки были правительственные баррикады, дойди дело до уличного боя.

Но в него никто не верил. Не могло до него дойти (ведь если бы освободители могли дойти до улиц Петербурга — на них уже не было бы ни одного коммуниста!)

Три дня, как большевики трубят о своих победах. Из фактов знаем только: белые оставили Царское, Павловск и Колпино. Почему оставили? Почему? Большевики их не прогнали, это мы знаем. Почему они ушли — мы не знаем.

Гатчина и Кр. Село еще заняты. Но если они уже начали уходить...

Большевики вывели свой крейсер «Севастополь» на Неву и стреляют с него в Лигово и вообще во все стороны наудачу. В частях города, близких к Неве, около площади Исаакия, например, дома дрожали и стекла лопались от этой умной бомбардировки близкого, но невидимого неприятеля.

Впрочем, два дня уже нет стрельбы. Под нашими окнами, у входа в Таврический сад, — окоп, на углу, в саду, — пушка.

О том, что мы едим и сколько это стоит — не пишу. Ложь, которая нас окружает... тоже не пишу.

Если они не могут взять Петербурга, — не могут, — они бы должны понимать, что, идя бессильно, они убивают невинных.

(Сбоку на полях). И тут эта неделя дифтеритного ужаса у Л. К. Нельзя добыть доктора (а ведь она сама — врач), — наконец добыли, все это пешком, нельзя добыть сыворотки... Как она пережила эту ночь? Теперь — последствия; начались нарывы в горле...

4 Ноября (22 Окт.) вторник. — Дрожа, пишу при последнем свете мутного дня. Холод в комнатах туманит мысли. В ушах непрерывный шум. Трудно. Хлеб — 300 р. фунт. Продавать больше нечего.

Близкие надежды всех — рухнули. (Мои, далекие, оста-

лись). Большевики в непрерывном ликовании. Уверяют, что разбили белых совершенно и наступают во весь фронт. Вчера, будто бы отобрали и Гатчину. Мы ничего не знаем о боях, но знаем: и Царское, и Гатчина — красные, однако, большевики вступают туда лишь через 6-12 часов *после* очищения их белыми. Белые просто уходят (??).

Как дрожали большевики, что выступит Финляндия! Но она недвижима.

Сумасшествие с баррикадами продолжается. Центр города еще разрывают. Укрепили... цирк Чинизелли! На стройку баррикад хватают и гонят всех, без различия пола и возраста, устраивая облавы в трамваях и на квартирах. Да, этого еще никогда не было: казенные баррикады! И, главное, все ни к чему.

Эрмитаж и Публичную Библиотеку замораживают: топлива нет.

Большевики, испугавшись, потеряли голову в эти дни: кое-что раздали, кое-что увезли — сами не знают, что теперь будут делать.

Уверяют, что и на юге их дела великолепны. Быть может. Все может быть. Ведь мы ничего не знаем абсолютно.

Перевертываю книгу, там тоже есть, в начале, место на переплете, на корке.

(Переверт).

Ноябрь. — Надо кончить эту книжку и спрятать. Куда? Посмотрим. Но хорошо, что она кончается. Кончился какой-то период. Идет новый, — на этот раз, действительно, последний.

Наступление Юденича (что это было на самом деле, как и почему — мы не знаем) для нас завершилось следующим: буквально «погнанные» вперед красноармейцы покатились за уходящими белыми и даже, раскатившись, заняли Гдов, который не могли занять летом. Армия Юденича совсем куда-то пропала, словно иголка. Что с ней случилось, зачем она вдруг стала уходить от Петербурга (от самого города! Разъезды белых были даже на Забалканском проспекте!), когда большевики из себя вышли от страха, когда их автомобили ночами пыхтели, готовые для бегства (один из них, очень важный, пыхтел и сверкал под окнами моей столовой, у нас во дворе

его гараж) — не знаем, не можем понять! Но факт на лицо: *они ушли.*

Говорят, прибалтийцы закрыли границу, и армия Юденича должна была переправляться в Финляндию. Ее особенно трусили большевики. Напрасно. Даже не шевельнулась.

Состояние Петербурга в данную минуту такое катастрофическое, какое, без этого движения Юденича, было бы еще месяца через три-четыре. К тому же ударили ранние морозы, выпал снег. Дров нет ни у кого, и никто их достать не может. В квартирах, без различия «классов» — от 4^0 тепла до 2^0 мороза. Мы закрыли мой кабинет. И Димин. Закрываем столовую. И. И. живет с женой в одной только, — ее, — комнате. И без прислуги.

В коридоре прямо мороз. К 1 декабря совсем не будет электричества, (теперь мы во мраке полдня). Закроют школы. И богадельни. Стариков куда? Топить ими, верно. О том, чем мы питаемся со времени наступления, — не пишу, не стоит, скучно. Просто почти ничего совсем *нет.* Есть еще кое-что (даже дрова) у Гржебина, primo-speculanto нашего дома. А мелкую нашу сошку расстреляли: знаменитого Гессериха, что сначала жил у Гржебина, потом прятался, как дезертир, а потом приходил с обыском, как член Чрезвычайки. Да кажется и Алябьева тоже.

А матерому пауку — Гржебину уже и Дима принужден продаться — брошюры писать какие-то (??)

(Электричество погасло. Оно постоянно гаснет, когда и горит. Зажгла лампу. Керосин на донышке).

Собственно, гораздо *благороднее* теперь не писать. Потому что общая мука жизни такова, что в писание о ней может войти... тщеславие. Непонятно? Да, а вот мы понимаем. И Розанов понял бы. (Несчастный, удивительный Розанов, умерший в такой нищете. О нем вспомнят когда-нибудь. Одна его история — целая историческая книга...)

Люди так жалки и страшны. Человек человеку — ворон. С голодными и хищными глазами. Рвут падаль на улице равно и одичавшие собаки, и воронье, и люди. Едут непроницаемые (какие-то нелюди) башкиры на мохнатых лошаденках и заунывно воют, покачиваясь: средняя Азия...

Блестящи дела большевиков и на юге. Так ли блестящи, как они говорят, — не знаю, но очевидно, что Деникин пошел уже не вперед, а назад. Это не удивляет нас. Разложились,

верно. Генеральско-южные движения обречены (как и генеральско-северные, оказывается).

Англичан здесь, конечно, и не было ни малейших: с моря слегка попалили французы (или кто?) и все успокоилось.

Большевики снова принялись за свою «всемирную революцию», — вплотную принялись. Да и не могут они от нее отстать, не могут ее не устраивать всеми правдами и неправдами, пока они существуют. Это самый смысл и непременное условие их бытия. Страна, которая договаривается с ними о мире и ставит условием «отказ от пропаганды» — просто *дура*.

Очень хотели бы мы все, здесь живущие в России, чтобы Англия поняла на своей шкуре, что она проделывает. Германия уже понесла — и несет — свою кару. Ослепшая Европа (особенно Англия) на очереди. Ведь она зарывается не плоше Германии. И тут же продолжает после мира, — подлого, — подлую войну с Германией — на костях России.

Как ни мелко писала я, исписывая внутреннюю часть переплета моей «Черной Книжки» — книжка кончается. Не буду, верно, писать больше. Да и о чем? Записывать каждый хрип нашей агонии? Так однообразно. Так скучно.

Хочу завершить мою эту запись изумительным отрывком из *«Опавших листьев»* В. В. Розанова. Неизвестно, о чем писал он это — в 1912 году. Но это мы, мы — в конце 1919-го!

«И увидел я вдали смертное ложе. И что умирают победители, как побежденные, а побежденные, как победители.

«И что идет снег и земля пуста.

«Тогда я сказал: Боже, отведи это, Боже, задержи.

«И победа побледнела в душе моей. Потому что побледнела душа. Потому что где умирают, там не сражаются. Не побеждают, не бегут.

«Но остаются недвижимыми костями, и на них идет снег».

(Короб II, стр. 251).

На нас идет снег. И мы — недвижимые кости. Не задержал, не отвел. Значит, так надо.

Смотреть в глаза людские...

Этим кончилась «Черная Книжка». Но странное, порой непреодолимое влечение отметить некоторые наши минуты — осталось. В потайном кармане меховой шубки, которую я последнее время не спускала с плеч, лежал серенький блокнот. Его не нашли бы при обыске, его так, в кармане, я и привезла сюда. Отметки на этом блокноте — спутанны, порою кажутся полубредовыми, но они характерны и доходят вплоть до дня отъезда-бегства, — 24 декабря 1919 года. Они писаны карандашом, очень мелко. Так как они составляют прямое продолжение «Черной Книжки», то я их здесь с точностью переписываю.

Авт.

СЕРЫЙ БЛОКНОТ

Серый блокнот.

(карандашом)

Октябрь... Ноябрь... Декабрь...

Какие-то сны... О большевиках... Что их свалили... Кто? Новые, странные люди. Когда? Сорок седьмого февраля...

Приготовление к могиле: глубина холода; глубина тьмы; глубина тишины.

Все на ниточке! на ниточке!

Целый день капуста. А Нева-то стала, а еще едва ноябрь (нов. стиля). А мороз 10^{0}.

«Дяденька, я боюсь!» пищит мальчишка в Тургеневском сне «Конец света». И вдруг: «Гляньте! земля провалилась!» У нас улица провалилась. Окна закрыты, затыканы чем можно. Да и нету там, за окнами, ничего. Тьма, тишина, холод, пустота.

У Л. К. после всего кошмара дифтеритного, нарывного, стрептококового, — плеврит. На Т. страшно смотреть.

Не было в истории. Все аналогии — пустое. Громадный город — самоубийца. И это на глазах Европы, которая пальцем не шевелит, не то обидиотев, не то осатанев от кровей.

Одно полено стоит 40 рублей, но достать нельзя ни одного... «под угрозой расстрела».

Летом дни катились один за другим, кругло щелкая, словно черепа. Катились, катились, — вдруг съежились, сморщились, черные, точно мороженные яблочки, — и еще скорее защелкали, катясь.

Неужели мне кажется, что уже нет спасения?

Прислали нам, в виде милостыни, немного дров. Надо было самим перетаскать их в квартиру. Сорок раз по лестнице!

13 Ноября (31 Окт.) Л. К. сегодня свезли в больницу. Хотя она сама врач — едва устроили ее. Да все равно там нельзя. В 3-х градусах тепла с плевритом скорее умрешь, чем в 6^0. Сегодня же декрет о призыве в красную армию всех оставшихся студентов, уже без малейшего исключения. Негодных в лагеря. В Петербурге оставляют лежачих. Этот призыв — карательная мера. Студентов считают скрытой оппозицией. Так чтобы пресечь. Экие злые трусы! Студенты, действительно, все сплошь против большевиков, но студенты вполне бессильны: во-первых — их полтора человека, и никакого университета в сущности давно нет. Во-вторых, эти полтора человека, несмотря на службу в советских учреждениях, качаются от голода и совершенно ни на что не способны. (Не говорю о приспособившихся и спекулянтах; эти, конечно, и от призыва открутятся, но это исключения, и не их же трусит наша «власть»!).

Т. вся тихая. Точно святая.

Лишь мы, лишь здесь, можем видеть, понимать, навеки в сердце хранить эту печать *святости* на некоторых лицах. Опять то, чего не бывало, то, чего никто не увидит, не узнает, и что в высочайшей степени — *есть*. Истинное *бытие* посреди пляски призраков, в тени нашей фантасмагории.

В эти долгие-долгие часы тьмы все кажется, что ослеп. Ходишь с вытянутыми вперед руками, ощупывая ледяные стены коридора.

«Ваше время и власть тьмы».

Я поняла, что холод хуже голода, а тьма хуже и того, и другого вместе.

Но и голод, и холод, и тьма — вздор! Пустяки! Ничто — перед одним, еще худшим, непереносимым, кажется в самом деле не — вы — но — симым... Но нельзя, не могу, потом! после!

Трудно постигаемая честность у И. И. А тут еще его вера и оптимизм. Держал пари с Гржебиным, что к 1 ноября (ст. стиля) Петербург будет освобожден. Еще в сентябре держал, — на 10 тысяч. И сегодня отнес Гржебину эти 10 тысяч, где-то их наскреб (пальто ватное и галстуки продал, кажется).

Это изумительно; может быть, кто-нибудь изумится еще более, узнав, что Гржебин такие 10 тысяч *взял?*

Напрасно. Гржебин взял. Гржебин и не то берет.

Дома у И. И. полный развал. Они с женой вдвоем, без прислуги, в громадной ледяной квартире с жестяной лампочкой, и стекло неподходящее, падает. Кашляющая, слабая жена И. И. моет посуду во тьме, в гигантской нетопленной кухне. Но она физически не может ничего делать, как и я. Сам И. И. целый день таскает на плечах в 5 этаж дрова свои (запас еще с лета остался, надо все в комнаты перетаскать, ведь каждое полено — как золото). Барышни Р-ские, над нами, во тьме занимаются тем, что распиливают на дрова свои шкафы и столы. Чем же и заниматься вечерами!

Горький очень доволен всем. Ждет мира со смирившейся Антантой.

Что ж, возможно. Европа склоняется.

В школах температура на 0^0. Начальницу школы Ш. и ее мужа опять арестовали (?) Собственные ее дети ревут от страха, школьные дети ревут от холода.

У В. Ф. (центральное отопление) 1^0 морозу. Она уже не моется, не причесывается, не раздевается.

На всех фронтах «победы». Ждут мира. Только один

фронт: холод. Зима наступила на целый месяц раньше обычного.

Я в полусне. Работа «советских учреждений» тормозится тем, что везде замерзли чернила.

Англия, — опять Принцевы Острова!!?
Что это?

Несчастный народ, бедные мои дикари...

Пользуюсь тем, что тускло загорелось (на сколько минут?) электричество. Что-то пишу. Продолжаются непрерывные морозы. Мило сказал Ллойд-Джордж о России: «пусть они там поразмышляют в течение зимы». Очень недурно сказал. Кажется, этот субъект самый бесстыдный из бесстыднейших. Но логика истории беспощадна. И отомстит ему — рано или поздно. Не мы — так она.

Надо помнить, что у комиссаров есть все: и дрова, и свет, и еда. И всего *много,* так как их самих — *мало.*

Горький говорил по телефону со своим «Ильичем» (как он зовет Ленина). Тот ему первое — с хохотком: — «ну что, вас еще там в Петрограде не взяли?»

Между нами и другими людьми теперь навеки стена и молчание. Рассказать ничего никому нельзя. Да если б и можно — не хочется. Молчание. И странный взгляд на них — сбоку: *ничего не знают!*

Отъединенность навсегда.

22 (9) ноября. — Свет был третьего дня в продолжение сорока минут. Сегодня нет и вовсе. Как и раньше. Катя (наша горничная) слегла. У нее печь разрушилась, Дима перевел ее в свою спальню, сам в холодной столовой. Я все утро убираю комнаты, а вчера ночью до 4-х часов, задыхаясь в холодной саже, должна была мыть все, до стен (уж как могла!), ибо лампа неистово накоптила. Гржебин везет в Москву прошение за подписью сотни «художников и литераторов», — скромное прошение о нескольких фунтах керосина!

Мы большею частью сидим при крошечных ночниках,

ибо керосин последний. Дмитрию зажигается на полчаса лампа — лежит в шубе на своем диванчике, читает о Вавилоне и Египте.

Я пишу это, наклонившись к ночнику, едва вижу свои кривые строчки.

Большевики ликуют. Победы — и вдали мир с покоренной Антантой. — Все думаю, думаю над одним вопросом, но решить его не могу. А вопрос такой: правительство Англии, что́ оно, — бесчестно или безмозгло? Оно непременно или то, или другое, тут сомнений нет.

Коробка спичек — 75 рублей. Дрова — 30 тысяч. Масло — 3 тысячи фунт. Одна свеча 400-500 р. Сахару нет уже ни за какие тысячи (равно и керосина).

На Николаевской улице вчера оказалась редкость: павшая лошадь. Люди, конечно, бросились к ней. Один из публики, наиболее энергичный, устроил очередь. И последним достались уже кишки только.

А знаете, что такое «китайское мясо?» Это вот что такое: трупы расстрелянных, как известно, «Чрезвычайка» отдает зверям Зоологического Сада. И у нас, и в Москве. Расстреливают же китайцы. И у нас, и в Москве. Но при убивании, как и при отправке трупов зверям, китайцы мародерничают. Не все трупы отдают, а какой помоложе — утаивают и продают под видом телятины. У нас — и в Москве. У нас — на Сенном рынке. Доктор N (имя знаю) купил «с косточкой», — узнал человечью. Понес в Ч.К. Ему там очень внушительно посоветовали не протестовать, чтобы самому не попасть на Сенную. (Все это у меня из первоисточников).

В Москве отравилась целая семья.

А на углу Морской и Невского, в реквизированном доме, будет «Дворец Искусств». По примеру Москвы. Устраивают Максим Горький и... Прости им Бог, не хочу имен.

Трамваи иной день еще ползают, но по окраинам.

С тех пор, как перестали освещать дома — улицы совсем исчезли: тихая, черная яма, могильная.

Ходят по квартирам, стаскивают с постелей, гонят куда-то на работы.

Л. К. взяли из больницы домой, с плевритом. (В больницах 2^0). На лестнице она упала от слабости.

Мороз, мороз непрерывный. Осени вовсе не было.

Диму таки взяли в каторжные («общественные») работы. Завтра в 6 утра — таскать бревна.

И вовсе, оказалось, не бревна!.. Несчастный Дима пришел сегодня домой только в 4 ч. дня, мокрый буквально по колено. Он так истощен, слаб, страшен, — что на него почти нельзя смотреть. (Он занимает очень важный пост в Публичной библиотеке, но более занят дежурством на канале (сторожит дрова на барке), чем работой с книгами. Сторожить дрова — входит в службу).

Сегодня его гоняли далеко за город, по Ириновской дороге, с партией других каторжан, — *рыть окопы!!* Погода ужасная, оттепель, грязь, мокрый снег.

Пока я Диму разувала, терла ему ноги щеткой, он мне рассказывал, как их собирали, как гнали...

На месте дали кирку. Потрясающе ненужно и бесплодно. И всякий знал, что это принудительная бесполезность (вспоминаю «Мертвый Дом» Достоевского. Его отметку, что самое тяжелое в каторжных работах — сознание ненужности твоей работы. А тут еще хуже: *отвратительность* этой ненужной работы).

Никто ничего не нарыл, да никто и не смотрел, чтобы рыли, чтоб из этого вышли какие-нибудь окопы. Самое откровенное издевательство.

После долгих часов в воде тающего снега — толстый, откормленный холуй (бабы его тут же, в глаза, осыпали бесплодными ругательствами: «ишь, отъелся, морда лопнуть хочет!») — стал выдавать «арестантам», с долгими церемониями, по 1 ф. хлеба. Дима принес этот черный, с иглами соломы, фунт хлеба — с собой.

Ассирийское рабство. Да нет, и не ассирийское, и не сибирская каторга, а что-то совсем вне примеров. Для тяжкой ненужной работы сгоняют людей полураздетых и шатаю-

щихся от голода, — сгоняют в снег, дождь, холод, тьму... Бывало ли?

Отмечаю *засилие безграмотных*. Вчера явившийся властитель — красноармеец требовал на «работы» — 95 рабов и неистово зашумел, когда ему сказали, что это невозможно, ибо у нас всех жильцов валовых, с грудными детьми — 81.

Не понимал, слушать не хотел, но скандалил даром, ибо против арифметики не пойдешь, из 81 не сделаешь 95-ти. Обещал кары.

Видела Н. И. — из Царского. На минутку в кухне, всю обвязанную, как монашенка. Обещала скоро опять быть, подробно рассказать, как она со своим мальчиком пыталась уйти с отступающими белыми и — вернулась назад.

— Но отчего же они..? спрашиваю.

— Их было всего 1 корпус. Да красные и не дрались. Послали башкир. Ну, этим все равно. А потом нагнали столько «человечины»...

Боже мой, Боже мой! Ведь эта «человечина» — ведь это и есть опять все то же «китайское мясо»...

Д. С. видел у заколоченного Гостиного Двора священника, протягивающего руку за милостыней.

Если будет «мир» с ними... Я поняла, что этого нельзя перенести. И это не простится.

Неужели есть какая-нибудь страна, какое-нибудь правительство (не большевиков), думающее, что *может* быть, *физически* может — мир с ними? Черт с ней, с моралью. Я сейчас говорю о конкретностях. «Они» подпишут всякие бумажки. Примут все условия, все границы. Что им? Они безграничны. Что им условия с «незаконным» (не «советским») правительством? Самый их принцип требует неисполнения таких условий.Но фикция мира в их интересах.Одурманив ею народ, приведя его к разоружению, — они тихими стопами внедрятся в беззащитную страну... ведь это же, прежде всего, партия «подпольных» действий. А в кармане у них уже готовые составы «национальных» большевистских правительств любой страны. Только подточить и посадить. Выждать, сколько нужно. «Мирный» переворот, по воле народа!

Каждое правительство каждой страны, — какой угодно,

хоть самой Америки! — подписывая «мир» с большевиками — подписывает прежде всего смертный приговор себе самому. Это 2x2=4.

Ну, а если после войны Европа стала думать, что 2x2=5?

Англия, в лице Ллойд-Джорджа, вероятно, и не очень честна, и не очень умна, а к тому же крайне невежественна.

В последнем она сама наивно признается.

Почти юродивое идиотство со стороны Европы посылать сюда «комиссии» или отдельных лиц для «ознакомления». Ведь их посылают — к большевикам в руки. Они их и «ознакомливают». Строят декорации, кормят в Астории и открыто сторожат денно и нощно, лишая всякого контакта с внешним миром. Попробовал бы такой «комиссионер» хотя бы на улицу один выйти! У дверей каждого — часовой.

Отсюда и г-н Форст (о нем я своевременно писала, да он, как немец, чувствует органическое «влечение, род недуга» к большевизму... русскому), отсюда и этот махровый дурак мистер Гуд, разъезжающий в поезде Троцкого и, купленный вниманием добрых большевиков к его особе, — весь растекшийся от умиления.

Нет! пришлите, голубчики, кого-нибудь «инкогнито». Пришлите не к ним — а к нам. Пусть поживут, как мы живем. Пусть увидят, что мы все видим. Пусть полюбуются и как существует «смысл» страны — ее интеллигенция. Вот будет дело.

А приезжающие к большевикам... могли бы и не трудиться. Пусть читают, не двигаясь с места, большевистские прокламации. Совершенно так же будут «осведомлены».

Неужели и добровольцев не найдется для «инкогнито»?

Кричу, никогда не кончу кричать об этом!

Н. И. говорит: «...они (белые) не понимают... они думают, что тут еще остались *живые люди...*»

Живых людей *не связанных по рукам и ногам* — здесь нет. А связанных, с кляпом во рту, ждущих только первой помощи — о, этих довольно! Такие «живые» люди почти все, кто еще жив физически.

Опять и опять вызываю добровольцев на «инкогнито»! Но предупреждаю: риск громадный. Весьма возможно, что тех, кто не успеет подохнуть (с непривычки это — в момент)

— того свяжут или законопатят, как нас. Доведут быстро до троглодитства и абсурда.

Мы недвижны и безгласны, мы (вместе с народом нашим) вряд ли уже достойны называться людьми — но мы еще живы, и — мы *знаем, знаем...*

Вот точная формула: если в Европе может, в XX веке, существовать страна с таким феноменальным, в истории небывалым, всеобщим *рабством,* и Европа этого не понимает, или это принимает — Европа должна провалиться. И туда ей и дорога.

Да, рабство. Физическое убиение духа, всякой личности, всего, что отличает человека от животного. Разрушение, обвал всей культуры. Бесчисленные тела белых негров.

Да что мне, что я оборванная, голодная, дрожащая от холода? Что — мне? Это ли страдание? Да я уж и не думаю об этом. Такой вздор, легко переносимый, страшный для слабых, избалованных европейцев. Не для нас. Есть ужас ужаснейший. Тупой ужас потери лица человеческого. И моего лица, — и всех, всех кругом...

Мы лежим и бормочем, как мертвецы у Достоевского, бессмысленный «бобок... бобок...»

Гроб на салазках. Везут родные. Надо же схоронить. Гроб на прокат. Еще есть?

Бабы, роя рвы в грязи: «а зачем тут окопы-то ефти?» Инструктор равнодушно: «да тут белые в 30 верстах».

Индия? Евреи в Египте? Негры в Америке? Сколько веков до Р. Хр.? Кто — мы? Где — мы? Когда — мы?

При свете ночника. Странно, такая слабость, что почти ничего не понимаю. Надо стряхнуть.

Последние дрова. Последний керосин (в ночниках). Есть еще дрова, большие чурки, но некому их распилить и расколоть. Да и пилы нету.

Ш-скую выпустили. Держали в трех тюрьмах, с уголовными и проститутками. Оказалось потом, что за то́, что у нее есть какой-то двоюродный брат (а она с ним не видится), который хотел перейти финляндскую границу. Мужа ее, áресто-

ванного за то же, потеряли в списках.

Они оба — муж и жена, — очень интеллигентные люди, создатели одной из самых популярных в Петербурге гимназий и детского сада. Большевики, полуразрушив заведение, превратив его в «большевистскую школу», оставили чету Ш. заведующими. Кстати еще о большевистских школах. Это, с известной точки зрения, самое отвратительное из большевистских деяний. Разрушение *вперед,* изничтожение будущих поколений. Не говоря уже о детских телах (что уж говорить, и так ясно!) — но происходит систематическое внутреннее разлагательство. Детям внушается беззаконие и принцип «силы, как права». Фактически дети превращены в толпу хулиганов. Разврат в этих школах — такой, что сам Горький плюет и ужасается, я уже писала. Девочки 12-13 лет оказываются беременными или сифилитичками. Ведь бывшие институты и женские гимназии механически, сразу, сливают с мужскими школами и с уличной толпой подростков, всего повидавших — юных хулиганов, — вот общий, первый принцип создания «нормальной» большевистской школы. Никакого «ученья» в этих школах не происходит, да и не может происходить, кроме декоративного, для коммунистов-контролеров, которые налетают и зорко следят: ведется ли школа в коммунистическом духе, поют ли дети «Интернационал» и не висит ли где в углу забытая икона. Насчет ученья — большевики, кажется, и сами понимают, что нельзя учиться 1) без книг, 2) без света, 3) в температуре, в которой замерзают чернила, 4) с распухшими руками и ногами, обернутыми тряпками, 5) с теми жалкими отбросами, которые посылаются раз в день в школу (знаменитое большевистское «питание детей!») и, наконец, с малым количеством обалделых, беспомощных, качающихся от голода учительниц, понимающих одно: что ничего решительно тут нельзя сделать. Просто — служба; проклятая «советская» служба — или немедленная гибель. Учителей нет совершенно естественно: старые умерли, все более молодые мобилизованы.

Американцев бы сюда, так заботящихся о детях, что даже протестовавших против блокады: бедным большевичкам, мол, самим кушать нечего, и то они у себя последний кусок вырывают, чтобы деток попитать; снимите, злые дяди, блокаду — и расцветут бедные «красные» детки бывшей России!.. Кажется и мистер Гуд, разъезжающий в император-

ском поезде Троцкого и кушающий там свежую икру, — лепетал что-то в этом роде.

Ну, да все равно. Бог с ней и с Америкой. Какая там Америка! Далеко Америка! И довольно об этом. Скажу еще только, что случай позволил мне наблюдать внешнюю и внутреннюю жизнь «советских школ» очень близко и что все, что я говорю, я говорю ответственно и с полным знанием дела. Я имею осязательные фактические данные и — полное беспристрастие, ибо *лично* тут никак не заинтересована. Все дети для меня равны. Ибо всякий *человек* должен придти в такой же бездонный ужас, как и я, — если он только действительно увидит, своими глазами, то, что вижу я.

Начинаются «мирные» переговоры с прибалтийскими пуговицами. Пожалуйста, пожалуйста! Знаю, что будет, одного не знаю — сроков, времен. Сроки неподвластны логике. Будет же: большевики с места начнут вертеть перед бедными пуговицами «признанием полной независимости». Против этой конфетки ни одна современная пуговица устоять не может. Слепнет — и берет конфетку, хотя все зрячие видят, что в руках большевиков эта конфетка с мышьяком. Развязанными руками большевики обработают данную «независимую» пуговицу в «советскую», о, тоже самостоятельную и независимую! Мало ли у них таких «самостоятельных», даже помимо несчастной Украины, куда они сотый раз сажают «независимого» Раковского, перерезав очередную часть населения.

Впрочем, если б даже пуговицы и понимали, что лезут сами в петлю, — они ничего бы не могли поделать: за их спинками переговаривается Англия. Она идет по стопам Германии во времена Бреста. Пока еще прячет лицо, действует менее честно, нежели Германия, но дайте срок, откроется.

Германия получила свое возмездие. Возмездие Англии — впереди.

Встряхиваю головой, протираю глаза и соображаю: о нашей жизни нельзя никому рассказать потому — что мы *забыли* сами (от привычки) основные абсурды, на которых все покоится, а говорим лишь о следствиях, о фактах, *вытекающих* из этих абсурдов. Естественно, что это плодит недоразумения.

Говорим? Даже и о следствиях, об этой цепи повседнев-

ных фактов — говорим ли мы? Вот, я, — здесь, на этих тайных страницах разве... Ведь мы *безгласны* в самом прямом смысле слова, все мы со всем русским народом. Я обвиняю Европу, но как ей видеть, как понимать, что слышать? Будем объективны, будем справедливы. Россия гробово молчит; отсюда до Европы доходит лишь то, что угодно сказать большевикам.

А они и говорят, и очень громко, и очень настойчиво, вот что:

у нас — *революция;*

у нас *диктатура пролетариата,* а коренной наш принцип — правительство *рабоче-крестьянское.* Мы постепенно вводим в жизнь, воплощаем все идеи научного *социализма,* мы уничтожили капитал,уничтожаем частную собственность, идем к уничтожению денег. Мы за полное равенство всех. У нас система *Советов* — совершеннейший из всех выборных институтов. Перевыборы строго совершаются каждые полгода, — сам народ управляет страной. Мы за мир всего мира, но так как враги наши не оставляют нас в покое, то для защиты своего социалистического строя народ создал могущественнейшую красную армию и борется за социализм, не жалея крови, терпит голод, нужду, лишения, — только бы не отняли у него «собственного» правительства. С внутренними врагами русский народ — рабочие и крестьяне, — борятся посредством созданных им правительственных учреждений, — Исполкомы, Че-ка и др. Все враги Советской власти, без исключения, желают отдать фабрики — капиталистам, отняв у рабочих, а землю — помещикам, отняв у крестьян.

Революция — это мы.

Социализм, и как совершеннейшая его точка, коммунизм — это мы.

Рабочие и крестьяне — это мы.

Поэтому:

кто против *нас* — тот против революции (контрреволюционер), против социализма (социал-предатель), против рабочих, крестьян (буржуй, — помещик, капиталист).

Вот, в главной черте, то, что говорят большевики в Европе. Говорят упорно и громко. Еще бы не громок был их голос, когда он не заглушается ничьим, когда это *единственный* голос, идущий из России. Эту единственность они взяли силой, но главный их принцип, которого они не

скрывают — *«сила есть право»*.

Признает ли Европа, тайно или бессознательно, этот принцип, против которого явно она вела войну с Германией, или просто не думает, не соображает, не разбирается, — пока оставим. Я веду вот к чему. Я веду к указанию на главные, коренные абсурды — основы нашей действительности. «Через головы европейских правительств», как все время говорят большевики, мне хотелось бы обратиться к рабочим всего мира, социалистам всего мира, с такими утверждениями (ответственными, ибо далее я предлагаю реальную проверку, — жизненную).

Я утверждаю, что ничего из того, о чем говорят большевики в Европе — *нет*.

Революции — *нет*.

Диктатуры пролетариата — *нет*.

Социализма — *нет*.

Советов, и тех — *нет*.

Я могла бы здесь последовательно мотивировать каждое «нет», но это лишнее: разве в листках моего дневника не достаточно доказательств? Да и нужны ли словесные доказательства тем, кто *хочет* верить лжи?

Нет, я предложила бы иное... (Я знаю, знаю, что это мечты, это мои сказки, которые я сама себе рассказываю, сидя в холодной банке с пауками, сидя безгласно и слепо... Но пусть! Эти сказки все же трезвее действительности).

Мне хотелось бы предложить рабочим всех стран следующее. Пусть каждая страна выберет *двух* уполномоченных, двух лиц, честности которых она бы верила (или ни в одной стране не найдется двух абсолютно честных людей?) — И пусть они поедут *инкогнито* (даже полу-инкогнито!) в Россию. Кроме честности нужно, конечно, мужество и бесстрашие, ибо такое дело — подвиг. Но не хочу я верить, что на целый народ в Европе не хватит двух подвижников!

И пусть они, вернувшись (если вернутся) скажут «всем, всем, всем»: есть ли в России революция? Есть ли диктатура *пролетариата?* Есть ли сам пролетариат? Есть ли «рабоче-крестьянское» правительство? Есть ли хоть что-нибудь похожее на проведение в жизнь принципов «социализма»? Есть ли Совет, т.е. существует ли в учреждениях, называемых Советами, хоть тень выборного начала?

В громадном *нет*, которым ответят на все эти вопросы

честные люди, *честные* социалисты, вскроется и коренной, основной абсурд происходящего.

Пока он не вскрыт, пока далекие рабочие массы и социалистические партии верят плакатам, которыми большевики завесили границу России (я говорю о верящих наивно, а не о тех, кто ради собственного интереса, личного властолюбия и т.д. притворяется, что верит) — пока это так — до тех пор бесцельно осведомлять о тех фактах русской жизни, которых большевики скрыть не могут. Они оправданы.

Террор, — но ведь революция!

Поголовный набор, принудительный, — но ведь на «Советскую» власть нападают, принуждают воевать!

Голод и разруха, — но ведь блокада! Ведь буржуазные правительства не признают «социализма»!

Все нищие, — но ведь равенство! (Равенства тоже нет, ибо нигде нет таких богачей, таких миллиардеров, как сейчас в России. Только их десятки — при миллионах нищих).

Уничтожение науки, искусства, техники, всей культуры вместе с их представителями, интеллигенцией, — но ведь диктатура пролетариата! Все это — наука, искусство, техника, — должно быть пролетарским, а интеллигенция, кроме того — контрреволюционеры.

Нет свободы ни слова, ни передвижения, и вообще никаких свобод, все, вплоть до земли, взято «на учет» и в собственность правительства, — но ведь это же «рабоче-крестьянское» правительство, и поддержанное всем народом, который дает своих собственных представителей — в Советы!

Да, надо повалить основные абсурды. Разоблачить сплошную, сумасшедшую, основную *ложь*.

Основа, устой, почва, а также главное, беспрерывно действующее оружие большевистского правления — *ложь*.

И я утверждаю... (следующие две строки не могу разобрать; кажется, о том, что внезапно погас всякий свет и не могу кончить запись сегодняшнего дня).

26 Ноября (10 Декабря). Дни оттепели, грязи, тьмы. По улицам не столько ходят, сколько лежат.

Господи! А как выдержать этот «мир»? Стены тьмы окружили, — стены тьмы!

Говорят, что уже чума появилась. Легочная. Больше ни о чем не говорят. В газетах все то же. Разнузданная, непечатная

ругань — всем правительствам на свете. Особенно Англии. И чем она-то им не угодила? Не говорит? Заговорит еще! Утрется от плевков, — и опять им заулыбается. Ничего, пусть, на свою голову!

О чем еще «говорят»? Ждут новых обысков. Дровяных. Больше ни о чем не говорят.

Русские заграницей — «парии»? Вот как? Пожалуйста! С каким презрением (праведным) смотрела бы я на европейцев, попади я сейчас заграницу. Не боюсь я их. С высоты моей горькой мудрости, моего опыта, смотрела бы я на них.

Ни-че-го не понимают!

9 (22 Декабря) Горький вернулся из Москвы. Уверяет, что ездил «смягчать» политику, но ничего не добился. Обещают твердо стоять на прежней: непременно расстрелы, непременно заложники и «война до победного конца». Всякий «мир», который им удастся выловить, они тоже считают «победным концом». Ибо тогда-то и начнется настоящее внедрение в уловленную страну. Попалась птичка. Если в мирных условиях придется подписать «отказ от пропаганды» — что это меняет? «Исполнение условий по отношению к незаконному правительству (буржуазному, демократическому) — мы не считаем для себя обязательным».

Опять все то же. И вечно будет то же, всегда! И это нас не удивляет. Удивило бы другое.

Горький манил Антантой. Если, мол, ослабить террор — Антанта признает. На что «Ильич» бесстрастно ответил, «что и так признает. Увидите. Очень скоро начнет с нами заговаривать, Англия уже начала. Ее принудят ее массы, над которыми мы работаем, Европа уже вся в руках своих рабочих масс. Держится лишь тонкая буржуазная скорлупа».

Да, большевики не утруждают себя дипломатией. Откровенны до последних пределов относительно своих планов, — убедились, что Европа все равно ничего не поймет. Не стесняются.

«Миры» свои хотят как по нотам разыграть. План этой «мирной» компании тоже объявляют во всеуслышание. Кратко он таков: и невинность сохранить, и капитал приобрести. Я слишком много писала об этих «мирах». Слишком ясно.

Для новорожденных пуговиц, вроде Эстонии, Латвии и

т.д., они держат в одной руке заманчивую конфетку «независимости», другой протягивают петлю и зовут: «Эстоша, пойди в петельку! Латвийка уже протянула шейку!»

Перед далекими великими и глупыми (оглупевшими) державами они будут бряцать красным золотом и помавать мифическими «товарами» (?) Все это объявлено и расписано. Так и будет.

Порою изумляешься: и как это они воюют? Как это они, раздетые, наступают? Ведь *лютая* зима! Вот сегодня 26⁰ мороза по Реомюру!

Но и не воевать, сидеть дома, здесь, не легче. Даже когда топим печку, выше 7⁰ не подымается. Мерзнут руки, все, за что ни возьмешься — ледяное. Спим почти одетые. Окна к утру покрываются ледяной корой.

Я давно поняла, что холод тяжелее голода. И все-таки, опять повторю, голод и холод вместе — ничто перед внутренним, душевным, духовным смертным страданием нашим, — единственным.

Запишу несколько цен данного момента. Это — зима 19-20 г.

Могу с точностью предсказать, насколько подымется цена всякой вещи через полгода. Будет ровно втрое, — если эта вещь еще будет.

Ведь отчего сделалось бессмысленным писать дневник? Потому что уж с давних пор (год, может быть?) ничего *нового* сделаться здесь не может; все сделалось до конца, переверт на изнанку произошел. Никакого *качественного* изменения, пока сидят большевики, — сиди они хоть 10 лет; предстоят лишь *количественные* перемены, а так как есть точная наука — геометрия, и так как мы имели время наблюдать способы ее приложения, то нет уже никакой надобности и сидеть тут в 20, 21-м году, чтобы точно знать в 20-м году положение в России. Высчитать, когда, во сколько раз будет больше смертей, например, — ничего не стоит, зная цифры данного дня.

Ohé, Bergson! Мы вышли из твоей философии! Кончена imprévisibilité!* Остался «учет», — по Ленину.

Итак — вот сегодняшние цены, зима 19-20 г., декабрь

---

* Эй, Бергсон!.. Кончена непредвиденность! (франц.)

(через полгода: втрое, кое-что вчетверо, большая часть — ни за какие деньги).

Фунт хлеба — 400 р., масла — 2300 р., мяса — 610-650 р., соль — 380 р., коробка спичек — 80 р., свеча — 500 р., мука — 600 р. (мука и хлеб — черные, и почти суррогат). Остальное соответственно.

А в «Доме Искусств» — открытие. Был чай, пирожные (всего по сто рублей!), кончилось танцами: Оцуп провальсировал с m-me Ходасевич.

О спекулянтах нашего дома: жирный Алябьев, попавшийся на спирту (8 миллионов) был на краю смерти: спасся выдачей всех на месте расстрела. Теперь собирается «поднимать» к себе икону Скорбящей, молебен служить.

Другой, Яремич, пока расцветает: сидит уже в барской квартире, по нашей лестнице, обставил себя нашим пианино, часами И. И., чьим-то граммофоном, который непрерывно заводит, — и покровительственно «принимает» Диму.

Третий, primo-speculanto, ступенькой повыше, — Гржебин, — обставил себя награбленным у писателей. Тоже принимает «покровительственно», но старается изо всех сил, хотя и безуспешно, сохранить «оттенок благородства».

Люди ли это?

Я уже предпочитаю Г. из Смольного, из Военной Секции. Он очень интересен. Когда-нибудь напишу о нем подробно. Важная шишка. Русский. Выслужился из курьеров. Очень молод. Знает Достоевского наизусть. Любит Дмитрия. Почти обиделся, когда я спросила, знает ли он меня... *Все понял,* подписывая нам командировку, хотя «слово» между нами не было сказано...

Не коммунист, т.е. не записан в партию, потому что — «я верующий. Христианин». При записи в ком. партию нужно, оказывается, какое-то отречение...

О Г. я напишу впоследствии подробнее, и напишу с удовольствием... А теперь коснусь, кстати, того, чего я намеренно здесь еще не касалась.

Церкви.

Очень много можно тут сказать. Но я ограничусь самыми краткими словами и фактами. И эти-то факты упоминать тяжело.

Следует, говоря о данном моменте, разделить так:

1) Православие, Церковь, — иерархия.

2) Народ.

3) Тактика большевиков.

Летнее письмо патриарха, унизительное и заискивающее, к «Советской Власти», «всегда бережно относившейся» и т.д. Большевики с упоением напечатали его во всех газетах, но не преминули снабдить своими победно-ликующими комментариями. На униженную просьбу «не расстреливать священников» ответили просто ляганьем. С другой стороны — здешний митрополит, при той же, лишь более скрытой политике, ходит пешком, одемократился, и благосклонен к интеллигентному кружку некоторых священников вроде А. В. и Е., пустившихся в новшества и делающихся все популярнее. Св. А. В. (мы его знали еще студентом) склоняется к кликушеству (говорю резко) — им поработилась даже Анна Вырубова, знаменитая «дочь Гришки Распутина» когда-то. Измученная интеллигенция влечется туда же.

Священники простецкие, не мудрствующие, — самые героичные. Их-то и расстреливают. Это и будут настоящие православные мученики.

Народ? Церкви полны молящихся. Народ дошел до предела отчаяния, отчаяние это слепое и слепо гонит его в церковь. Народ русский никогда не был православным. Никогда не был религиозным сознательно. Он имел данную форму христианства, но о христианстве никогда *не думал*. Этим объясняется та легкость, с которой каждый, если ему как бы предлагается выход из отчаянного положения — записаться в коммунисты, — тотчас сбрасывает всякую «религиозность». Отрекается, не почесавшись.(Даже Г. удивлялся). Невинность ребенка или идиота. Женщины в особенности. Внешние традиции у многих под шумок хранятся. Так — любят венчаться в церкви. Не жалеют на это денег и очень хитрят. Ну, а кому все равно нет выбора, все равно отчаяние и некуда идти — идут в церковь. Кланяются, крестятся, — молятся, в самом деле молятся, ибо Кому-то, Кого не знают, несут душу, полную темного отчаяния.

Большевики сначала грубо наперли на Церковь (истории с мощами), но теперь, кажется, изменяют тактику. Будут только презирать, чтобы ко времени, если понадобится, и Церковь использовать. Некоторые, поумнее, говорят, что потребность «церковности» будет и должна удовлетворяться «их церковью» — коммунизмом. Это даже по чертовски глубоко!

Написала — и как-то мне стало противно. Почти невыносимо говорить об этом! Страшно.

23 (10) Декабря. Вот что надо не забыть. Вот чего не знают те, которые не сидят с нами, гуляют на свободе. Русские ли они? Я склонна думать, что они перестали быть русскими. Русские только мы, только в России.

Надо не забывать этих глаз, полных горечи и негодования, этих тихих слов, которыми мы обменивались здесь слишком часто:

— Опять!

— Опять?

— Да. Все то же. Опять объявили (белые, те или другие, очередная надежда на освобождение России, словом,) — то же самое. Не признают «независимости» (чьей-нибудь). Опять большевики ликуют. Что ж, они правы. Победили. — Да может неправда? Да не могут же «они» держаться за старое безумие? Ведь это же приговор собственному делу?

— Вот подите! Сумасшедшие. Слепые. Не только Россию глубже в землю зарывают — и себя хоронят. Что делать?

Но мы знали, что нам нечего делать. Даже сказать мы ничего не могли. А если б и могли?

Сказать — не поверят.
Кричать — не поймут.
И близится черед.
Свершается суд...

С неумолимой, роковой однообразностью каждая русская сила, собиравшаяся на большевиков, начинала с того, что кого-нибудь «не признавала»: даже Финляндию (фатальная архи-глупость!) уж не говоря о Латвиях, Эстониях и т.п.

Мы содрогались, мы хохотали истерическим хохотом отчаяния — а они, со всей преступной тупостью (честной, может быть) объявляли, что не позволят «расчленять Россию»... Россию, которой сейчас *нет!*

Это, во-первых, косвенное признание большевиков и России большевистской. Ведь они одни хотят своей «неделимой» России, они одни ею сейчас владеют и действенно эту неделимость поддерживают. Все *ими* провозглашенные «независимости» ихния, «советские», вроде Украины с Раковским,

— конечно вздор, куры смеются. Они «упустили» как Финляндию, так и все прибалтийские кусочки. И не взяв силой, подходят с «мирами»: им «хоть мытьем, хоть катаньем» — все равно. Увернувшиеся маленькие государства, влюбленные в «независимость», идут на «мир» — что же им делать? Хитрое «мирное» завоевание, когда-то еще будет, — они глаза закрывают. Может и не сейчас, а пока — «независимость». Если же, не дай Бог, белые свергнут большевиков, — каюк: ведь заранее объявляют, что никакой «независимости».

Все соседи, большие и маленькие, при таком положении, *не могут* содействовать белым, *должны,* естественно, стоять за большевиков, сегодня.

Это практический результат. Но сам внутренний корень таких «непризнаний» стар, глуп, гнил. Не говоря даже о Польше и Финляндии (еще бы!) — но вот эти все Литвы, Латвии и т.д., «прибалтийские пуговицы», как я их называю без всякого презренья, — да почему им, в конце концов, не быть самостоятельными? Если они хотят и *могут,* — какое «патриотическое» русское чувство должно, смеет против этого протестовать? *Царское* чувство — пожалуй, чувство людей с седой и лысой душой, все равно близкой к гробу.

Вот эти седые и лысые души губят Россию, как и себя. Не раз, не два — все время!

А мы, отсюда, мы, *знающие,* и уж конечно, не менее русские, чем все это, по своему честное, старье — мы не только не боимся никакого «расчленения» царской России: мы хотим этого расчленения, мы верим, что будущая Россия, если станет «собираться», то на иных принципах, и в тех пределах, в каких позволит новый принцип.

Это будущее. А сейчас, кроме того, как не радоваться каждому клочку земли, увернувшемуся из-под власти большевиков? Да если б Смоленская губерния объявила себя независимой, свергла комиссаров и пожелала самоопределиться — да пусть, с Богом самоопределяется, управляется, как может, — только бы не большевиками! Почему «не патриотично» признавать ее? Требовать, чтобы не смела освобождаться от большевиков? Этот дикий «патриотизм» в сущности ставит знак равенства между Большевизией и Россией (в их понятии). «Не признаем частей, отделившихся от России!» — читай: от большевиков. Безумие. Бесчеловечность.

Не могу больше писать. Не знаю, когда буду писать,
Не знаю, что еще... Потом?

А сегодня опять с «человечиной». Это ядение человечины случается все чаще. Китайцы не дремлют. Притом выскакивают наружу, да еще в наше поле зрения, только отдельные случаи. Сколько их скрытых...

Я стараюсь скрепить душу железными полосами. Собрать в один комок. Не пишу больше ни о чем близком, маленьком, страшном. Оттого только об общем. Молчание. Молчание...

Это последняя запись «Серого Блокнота». На другой день, в среду, 24 Декабря 1919 года, совершился наш отъезд из Петербурга с командировками на Г., а затем, в Январе 1920 г. — переход польской границы.

Мучительные усилия и хлопоты, благодаря которым мог осуществиться наш отъезд из Петербурга, затем побег — не отражены в записи последних дней по причине весьма понятной. Хотя маленький блокнот не выходил из кармана моей меховой шубки, а шубку я носила, почти не снимая, — писать даже и то, что я писала, было безумием, при вечных повальных обысках. У меня физически не подымалась рука упомянуть о нашей последней надежде — надежде на освобождение.

Дневник в Совдепии, — не мемуары, не воспоминания «после», а именно «дневник», — вещь исключительная; не думаю, чтобы их много нашлось в России, после освобождения. Разве комиссарские. Знаю человека, который, для писания дневника, прибегал к неслыханным ухищрениям, их невозможно рассказать; и не уверена все-таки, сохраняется ли он до сих пор.

Впрочем, — нужно ли жалеть? Не сделалась ли жизнь такою, что «дневник», всякий, — дневник мертвеца, лежащего в могиле?

Я знаю: и теперь, за эти месяцы, в могиле Петербурга ничто не изменилось. Только процесс разложения идет дальше, своим определенным, естественным, известным всем, путем.

Первая перемена произойдет лишь вслед за единствен-

ным событием, которого ждет вся Россия, — свержением большевиков.

Когда?

Не знаю времен и сроков. Боюсь слов. Боюсь предсказаний, но душа моя, все-таки, на этот страшный вопрос «когда»? — отвечает: скоро.

3 Октября, 1920 г.
Варшава.

СИНЯЯ КНИГА

О СИНЕЙ КНИГЕ

Эта книга — первая половина моего Дневника, «Современной Записи», которая велась в Петербурге в годы войны и революции. Часть, здесь напечатанная (Авг. 14 г. — Ноябрь 17), уже в начале 18 г. не находилась в СПБ-ге, и затем в течение 8-9 лет считалась погибшей. Так, как и погибла вторая половина, — годы 18 и 19, — другим лицом и в другом направлении тоже увезенная из Петербурга.

Самый конец «Записи», последние месяцы 19 года, — (отрывочные заметки на блокноте) — оставался при мне и отправился со мною, в моем кармане, заграницу, когда мы туда бежали. Эти заметки вошли в книгу «Царство Антихриста», изданную по-русски, по-немецки и по-французски в 21 г.

В предисловии к заметкам я упоминаю о гибели двух первых частей Дневника. Шли годы; сомневаться в этой гибели не приходилось. Можно себе представить, как нас поразило неожиданное возвращение одной из частей «Записи» — первой. Но, надо сказать, еще более поразило меня содержание рукописи. Читать собственный отчет о событиях (и каких!) собственный, но *десять лет не виденный* — это не часто доводится. И хорошо, пожалуй, что не часто. «Если ничего не забывать, так и жить было бы нельзя», сказал мне друг, в виде утешения, застав меня за первым перечитываньем этого длинного, скучного и... *страшного* отчета. Да, забвенье нам послано как милосердие. Но все ли мы, всегда ли, имеем право стремиться к нему и пользоваться им? А что, если за-

черкивая, изменяя, посредством забвенья, прошлое, отвертываясь от него и *от себя в нем* — мы лишаемся и своего будущего?

Вопрос о печатании этой потерянной и возвращенной рукописи долго оставался для меня вопросом. Не рано ли? Давность только десятилетняя... Но это, как раз, говорило в пользу напечатания Дневника. Ведь он — только запись одного из тысячи наблюдателей прошлого. Пусть запись добросовестная, пусть наблюдательный пункт выгоден, — неточности, неверности, фактические ошибки неизбежны. Через 50 лет их некому было бы поправить, тогда как теперь, когда живы еще многие свидетели тех же событий, — даже участники, — они всегда могут, указанием на то или другое искажение действительности, содействовать восстановлению ее подлинного образа.

Однако, именно «живые люди» и усложняли вопрос. Печатать Дневник имело смысл лишь в том виде, в каком он был написан, без малейших современных поправок (даже стиля), устранив только все чисто-личное (его было немного) и вычеркнув некоторые имена. Но вычеркнуть другие все (тогда уж и мое) — значило бы зачеркнуть Дневник. Между тем я знаю: большинство людей не любит, боится лишнего взгляда на прошлое, особенно на *себя* в нем. А вдруг увидишь там что-нибудь по новому, вдруг *придется* осознать свою ошибку? Нет, лучше — под «крыло забвенья...» Это очень человеческое чувство, почти никто от него не свободен, — ни я, конечно. Мне тоже тяжело наше прошлое, когда оно слишком живо вспомнится, слишком близко подступит. В данном, частном, случае — и для меня Дневник мой не всегда приятное зеркало: приходится, ведь, отвечать не за одну главную внутреннюю линию (за нее я без труда отвечаю), но также и за ребяческие наивности, скорые суды, «самодельные» политические рассуждения и т.д. Да еще сознавать, что если не было каких-нибудь ошибок серьезных, фатальных, то лишь потому, может быть, что и «действий» не было...

Но, побеждая свою боязнь прошлого, не считаясь с ней в себе, *имею ли я право* считаться с ней в других? Как я смею решать, что другие, даже в этом маленьком случае, не найдут в себе силы бросить взгляд на свое прошлое, сказать ему новое «да» или новое «нет»?

Я и не решаю этого. То есть, решаю, печатая Дневник,

заботиться о людях, там упоминаемых, не больше, чем о себе. Я не обманываю себя: те, кто страха — даже перед самой малой частицей *правды,* — преодолеть не могут, — станут моими врагами. Это всегда так бывает. А частица правды в Дневнике моем есть; о ней только я и думаю, и верю: кому-нибудь она нужна.

* * *

Жизнь, как уже сказано, поставила нас (меня и Д. С. Мережковского) в положение, близкое к событиям и некоторым людям, принимавшим в них участие. Среда петербургской интеллигенции была нам хорошо известна. Кое-кто из вернувшихся после февраля эмигрантов — тоже. И географически положение наше было благоприятно: ведь именно в Петербурге зарождались и развивались события. Но даже в самом Петербурге наша географическая точка была выгодна: мы жили около Думы у решетки Таврического Сада.

Все остальное выяснится из самой книги. Скажу еще только вот что: пусть не ждут, что это «Книга для легкого чтения». Совсем не для легкого. Дневник — не стройный «рассказ о жизни», когда описывающий сегодняшний день уже *знает* завтрашний, знает, чем все кончится. Дневник — само *течение жизни.* В этом отличие «Современной Записи» от всяких «Воспоминаний», и в этом ее особые преимущества: она воскрешает атмосферу, воскрешая исчезнувшие из памяти мелочи.

«Воспоминания» могут дать образ времени. Но только Дневник дает время в его длительности.

З. Н. Гиппиус.

1 Августа.
С.-Петербург.
1914. (Стиль старый).

Что писать? Можно ли? Ничего нет, кроме одного — *война!*

Не японская, не турецкая, а мировая. Страшно писать о ней мне, здесь. Она принадлежит всем, истории. Нужна ли обывательская запись?

Да и я, как всякий современник — не могу ни в чем разобраться, ничего не понимаю, ошеломление.

Осталось одно, если писать — простота.

Кажется, что все разыгралось в несколько дней. Но, конечно, нет. Мы не верили потому, что не хотели верить. Но если бы не закрывали глаз...

Меня, в предпоследние дни, поражали петербургские беспорядки. Я не была в городе, но к нам на дачу приезжали самые разнообразные люди и рассказывали, очень подробно, сочувственно... Однако, я ровно ничего не понимала, и чувствовалось, что рассказывающий тоже ничего не понимает. И даже было ясно, что сами волнующиеся рабочие ничего не понимают, хотя разбивают вагоны трамвая, останавливают движение, идет стрельба, скачут казаки.

Выступление без повода, без предлогов, без лозунгов, без смысла... Что за чепуха? Против французских гостей они, что ли? Ничуть. Ни один не мог объяснить, в чем дело. И чего он хочет. Точно они по чьему-то формальному приказу били эти вагоны. Интеллигенция только рот раскрывала — на нее это, как июльский снег на голову. Да и для всех подпольных революционных организаций, очевидно.

М. приезжал взволнованный, говорил, что это «органическое» начало революции, а что нет лозунгов — виновата интеллигенция, их не дающая.

А я не знала, что думать. И не нравилось мне все это, — сама не знаю, почему.

Вероятно, решилась, бессознательно понялась близость неотвратимого несчастья с выстрела Принципа.

Мы стояли в саду, у калитки. Говорили с мужиком. Он растерянно лепетал, своими словами, о приказе приводить лошадей, о мобилизации... Это было задолго до 19 июля. Соня слушала молча. Вдруг махнула рукой и двинулась:

— Ну, — словом, — беда!

В этот момент я почувствовала, что кончено. Что действительно — беда. Кончено.

А потом опять робкая надежда — ведь нельзя. Невозможно! Невообразимо!

За несколько дней почти все наши уехали в город. Должны были вернуться вместе в субботу к нам. Нам предстояли очень важные разговоры, может быть — решения...

Но утром в субботу явилась Т. — одна. «Я за вами. Поедете в город сегодня». «Зачем?» «Громадные события, война. Надо быть всем вместе». «Тем более, отчего же вы не приехали все?» «Нет, надо быть со всеми, народ ходит с флагами, подъем патриотизма...»

В эту минуту — уже помимо моей воли — решилась моя позиция, мое отношение к событиям. То есть коренное. Быть с несчастной, непонимающей происходящего, толпой, заражаться ее «патриотическими» хождениями по улицам, где еще не убраны трамваи, которые она громила в другом, столь же неосмысленном «подъеме»? Быть щепкой в потоке событий? Я и не имею права сама одуматься, для себя осмыслить, что происходит? Зачем же столько лет мы искали сознания и открытых глаз на жизнь?

Нет, нет! Лучше, в эти первые секунды, — молчание, покров на голову, тишина.

Но все уже сошли с ума. Двинулась Сонина семья с детьми и старой теткой Олей. Неистовствовал Вася-депутат.

И мы поехали сюда, в Петербург. На автомобиле.

Неслыханная тяжесть. И внутреннее оглушение. Разрыв между внутренним и внешним. Надо разбираться параллельно. И тихо.

Присоединение Англии обрадовало невольно. «Она» будет короче...

Сейчас Европа в пламенном кольце. Россия, Франция, Бельгия и Англия — против Германии и Австрии...

И это только пока. Нет, «она» не будет короткой. Напрасно надеются...

Смотрю на эти строки, написанные моей рукой, — и точно я с ума сошла. Мировая война!

Сейчас главный бой на западе. Наша мобилизация еще не закончена. Но уже миллионы двинуты к границам. Всякие сообщения с миром прерваны.

Никто не понимает, что такое война, — во-первых. И для нас, для России, — во-вторых. И я еще не понимаю. Но я чую здесь ужас беспримерный.

2 Августа.

Одно, что имеет смысл записывать — мелочи. Крупное запишут без нас.

А мелочи — тихие, притайные, все непонятные. Потому что в корне-то лежит Громадное Безумие.

Все растерялись, все «мы», интеллигентные словесники. Помолчать бы, — но половина физиологически заразилась бессмысленным воинственным патриотизмом, как будто мы «тоже» Европа, как будто мы *смеем* (по совести) быть патриотами просто... Любить Россию, если действительно, — то нельзя, как Англию любит англичанин. Тяжкий молот наша любовь... настоящая.

Что такое отечество? Народ или государство? Все вместе. Но, если я ненавижу *государство* российское? Если оно — против моего народа на моей земле?

Нет, рано об этом. Молчание.

В летнем Петербурге почти никого не было. Но быстро начали съезжаться, стекаться.

То там, то здесь собираемся. Большинство политиков и политиканствующих интеллигентов (у нас ведь, все политики) так сбились с панталыку, что городят мальчишеский вздор. Ясно, всего ожидали — только не войны. Как-то вечером собрались у Славинского. Народу было порядочно. Карташев, со своими славянофильскими склонностями, очень в тоне хозяина.

Впрочем, не обошлось и без нашего «русского» вопроса: желать ли победы... самодержавию? Ведь мы вечно от этой печки танцуем (да и нельзя иначе, мы должны!) Военная победа — укрепит самодержавие... Приводились примеры... верные. Только... не беспримерно ли то, что сейчас происходит?

Говорили все. Когда очередь дошла до меня, я сказала очень осторожно, что войну по существу, как таковую, отрицаю, что всякая война, кончающаяся полной победой одного государства над другим, над другой страной, носит в себе зародыш новой войны, ибо рождает национально-

государственное озлобление, а каждая война отдаляет нас от того, к чему мы идем, от «вселенскости». Но что, конечно, учитывая реальность войны, я желаю сейчас победы союзников.

Керенский, который стоял направо, рядом со мною и говорил тотчас после меня, подхватил эту «вселенскость» (упорно говоря «вселенность») и, с обычной нервностью своей, сказал приблизительно то же и так же кончил «за союзников». Но видно, что и он еще в полноте своей позиции не нашел. Военная зараза к нему пристать не может, просто потому, что у него не та физиология, он слишком революционер. А я начинаю прощупывать, что тут какое-то «или-или»... Впрочем, рано, потом.

Но, конечно, Керенский не угнетен той многосложнейшей задачей разрешить свое отношение к войне, какая стоит перед иными из нас. Революция и война — это все еще только одна из полярностей...

Очень важная, однако. Керенский не очень умен, но чем-то он мне всегда был особенно понятен и приятен, со всем своим мальчишески-смелым задором.

Да, а для нас еще пора молчания... И как жаль, что Карташев уже без оглядки внесся в войну, в проклятия немцам, в карту австрийских славян...

Мой неизменный Архип Белоусов (мужик-рабочий) мне пишет: «душа моя осталась верна себе, я только невольно покорюсь войне, что действительно нада». (Он полу-толстовец, интересный, начитанный фантазер).

Швейцар наш говорит жене: «что ж поделаешь, дело общее, на всех враг пошел, всех защитить надо».

Володя-студент перешагнул через горе матери: «да, это эгоизм, но я все равно пойду, не могу не идти», — и уехал вчера с преображенцами.

Писатели все взбесились. К. пишет у Суворина о Германии: «...надо доканать эту гидру». Всякие «гидры» теперь исчезли, и «революции», и «жидовства», одна осталась: Германия. Щеголев сдѐлался патриотом, ничего кроме «ура» и «жажды победы» не признает. Е., который, по его словам, все войны отрицает, эту настолько признает, что все пороги обил, лишь бы «увидеть на себе прапорщичий мундир». (Не берут, за толщину, верно!).

Тысячи возвращающихся с курортов через Швецию соз-

дали в газетах особую рубрику: «Германские зверства». Возвращения тяжкие, непередаваемые, но... кто осуждает? Тысячными толпами текут евреи. Один, из Торнео, руку показывал: нет пальца. Ему оторвали его не немцы, а русские — на погроме. Это — что? Или евреи не были безоружны? А если и мы звери... кому перед кем кичиться?

Впрочем, теперь и Пуришкевич признает евреев и руку жмет Милюкову.

Волки и овцы строятся в один ряд, нашли третьего, кого есть.

Это война... Почему вообще война, всякая, — зло, а только эта одна — благо?

Никто не знает. Я верю, что многие так чувствуют. Я, нет. Да и мне все равно, что я чувствую. То есть я не имею права ни слова ей, войне, сказать пока *только* чувствую. Я не верю чувствам: они не заслуживают слов, пока не оправданы чем-то высшим. И не закреплены правдой.

Впрочем, не надо об этом. Проще. Идет организованное самоистребление, человекоубийство. «Или всегда можно убить, или никогда нельзя». Да, если нет истории, нет движения, нет свободы, нет Бога. А если все это есть — так сказать нельзя. Должно каждому данному часу истории говорить «да» или «нет». И сегодняшнему часу я говорю, со дна моей человеческой души и человеческого разума — «нет». Или могу молчать. Даже лучше вернее — молчать.

А если слово — оно только «*нет*». Эта война — война. И войне я скажу: никогда нельзя, но уже никогда и не надо.

29 Сентября.

Война.

Разрушенная Бельгия (вчера взяли последнее — Антверпен), бомбы над родным Парижем, Notre Dame, наше неясное положение со взятой Галицией и взятыми давно немцами польскими городами, а завтра, быть может, Варшавой... Генеральное сражение во Франции — длится более месяца. Ум человеческий отказывается воспринимать происходящее.

«Снижение» немцев, в смысле их всесокрушающей ярости, не подлежит сомнению. Реймс, Лувень... да что это перед *красной* водой рек, перед кровью, буквально стекающей со ступеней того же Реймского собора?

Как дымовая завеса висит ложь всем-всем-всем и натуральное какое-то озверение.

У нас в России... странно. Трезвая Россия — по манию царя. По манию царя Петербург великого Петра — провалился, разрушен. Худой знак! Воздвигнуть некий Николоград — по казенному «Петроград». Толстый царедворец Витнер подсунул царю подписать: патриотично, мол, а то что за «бург», по-немецки (!?!).

Худо, худо в России. Наши счастливые союзники не знают боли раздирающей, в эти всем тяжкие дни, самую душу России. Не знают и, беспечные, узнать не хотят, понять не хотят. Не могут. Там на Западе, ни народу, ни правительству не стыдно сближаться в этом, уже *необходимом,* общем безумии. А мы! А нам!

Тут мы покинуты нашими союзниками.

Господи! Спаси народ из глубины двойного несчастия его, тайного и явного!

Я почти не выхожу на улицу, мне жалки эти, уже подстроенные, «патриотические» демонстрации с хоругвями, флагами и «патретами».

30 Сентября

Главное ощущение, главная атмосфера, что бы кто ни говорил, — это непоправимая тяжесть несчастия. Люди так невмерно, так невместимо жалки. Не заслоняет этого историческая грандиозность событий. И все люди правы, хотя все в равной мере виноваты.

Сегодня известия плохи, а умолчания еще хуже. Вечером слухи, что германцы в 15 верстах от Варшавы. Жителям предложено выехать, телеграфное сообщение прервано. Говорят — наш фронт тонок. Варшаву сдадут. Польша несчастная, как Бельгия, но тоже не одним, а двумя несчастиями. У Бельгии цела душа, а Польша распята на двух крестах.

Мало верят у нас главнокомандующему — Ник. Ник. Романову. Знаменитую его прокламацию о «возрождении Польши» писали ему Струве и Львов (редактировали).

Царь ездил в действующую армию, но не проронил ни словечка. О, это наш молчальник известный, наш «charmeur», со всеми «согласный» — и никогда ни с кем!

Убили сына К. Р. — Олега.

Я подло боюсь матерей, тех, что ждут все время вести о «павшем». Кажется они чувствуют каждый проходящий миг: цепь мгновений сквозь дущу продергивается, шершаво шелестя, цепляясь, медленно и заметно.

Едкая мгла все лето нынче стояла над Россией, до Сибири — от непрерывных лесных и торфяных пожаров. К осени она порозовела, стала еще более едкой и страшной. Едкость и розовость ее тут, день и ночь.

Москва в повальном патриотизме, с погромными нотками. Петербургская интеллигенция в растерянности, работе и вражде. Общее несчастие не соединяет, а ожесточает. Мы все понимаем, что надо смотреть проще, но сложную душу не усмиришь и не урежешь насильно.

14 Декабря.

Люблю этот день, этот горький праздник «первенцев свободы». В этот день пишу мои редкие стихи. Сегодня написался «Петербург». Уж очень мне оскорбителен «Петроград», создание «растерянной челяди, что, властвуя, сама боится нас...». Да, но «близок ли день», когда «восстанет он» —

«...Все тот же, в ризе девственных ночей,
Во влажном визге ветренных раздолий
И в белоперистости вешних пург,
Созданье революционной воли —
Прекрасно-страшный Петербург?..»

Но это грех теперь — писать стихи. Вообще, хочется молчать. Я выхожу из молчания, лишь выведенная из него другими. Так, в прошлом месяце было собрание Рел.-Фил. Общества, на котором был мой доклад о войне. Я говорила вообще о «Великом Пути» (с точки зрения всехристианства, конечно), об исторических моментах, как ступенях — и о данном моменте, конечно. Да, что война — «снижение»,* это для меня теперь ясно. Я ее отрицаю не только метафизически, но исторически... т.е. моя метафизика истории ее, как таковую,

---

* Слово, которое теперь так любят большевики, беря его в «товарном» смысле, было употреблено мною впервые в этом докладе, и обозначало внутреннее, духовное падение, понижение уровня человеческой морали.
Примечание 1927 г.

отрицает... и лишь *практически* я ее признаю. Это, впрочем, очень важно. От этого я с правом сбрасываю с себя глупую кличку «пораженки». На войну нужно идти, нужно ее «принять»... но принять — корень ее отрицая, не затемняясь, не опьяняясь; не обманывая ни себя ни других — не «снижаясь» внутренно.

Нельзя не «снижаясь?» Вздор. Если *мы* потеряем сознание, — все и так полусознательные — озвереют.

Да, это отправная точка. Только! Но непременная.

Были горячие прения. Их перенесли на следующее заседание. И там то же. Упрекали меня, конечно, в отвлеченности. Карташев моими же «воздушными ступенями» корил, по которым я не советовала как раз ходить. Это пусть! Но он сказал ужасную фразу: «...если не принять войны *религиозно*...»

Меня поддерживал, как всегда, М. и, мой большой единомышленник по войне и анти-национализму (зоологическому) — Дмитрий*.

Сложный вопрос России, конечно, вставал очень остро...

Эти два заседания опять показали, как бессмысленно, в конце концов, «болтать» о войне. Что знаешь, что думаешь — держи про себя. Особенно теперь, когда так остро, так больно... Такая вражда. Боже, но с каким безответственным легкомыслием кричат за войну, как безумно ее оправдывают! Какую тьму сгущают в грядущем! Нет, теперь нужно

— «Лишь целомудрие молчания —
И, может быть, тихие молитвы...»

1 Апреля, 1915.

Не было сил писать. Да и теперь нет. Война длится. Варшаву немцы не взяли, отрезали пол-Польши. А мы у австрийцев понабрали городов и крепостей. И наводим там самодержавные порядки. Дарданеллы бомбардируются союзниками.

Нигде ничего нет, у немцев хлеба, а у нас — овса и угля (кажется, припрятано).

Эта зима — вся в глухом, беспорядочном... даже не волнении, а возбуждении, каком-то. Сплетаются, расплетаются

* Д. С. Мережковский.

интеллигентские кружки, борьба и споры, разделяются друзья, сходятся враги... Цензура свирепствует. У нас частые сборища разных «групп», и кончается это все-таки расколом между «приемлющими» войну «до победы» (с лозунгом «все для войны», даже до Пурешкевича и далее) — и «неприемлющими», которые, однако, очень разнообразны и часто лишь в этом одном пункте только и сходятся, так что действовать вместе абсолютно неспособны.

Да и как действовать? «Приемлющие» рвутся действовать, помогать «хоть самому черту, не только правительству», и... рвутся тщетно, ибо правительство решительно никого никуда не пускает и «честью просит» в его дела носа не совать; никакая, мол, мне общественная помощь не нужна. А если вы так преданы — сидите смирно и немо покоряйтесь, вот ваша помощь.

Отвечено ясно, а патриоты интеллигентные не унимаются. Даром, что все «седые и лысые».

От седых и лысых я, по воскресеньям, перехожу к самой зеленой молодежи: являются всякие студенты поэты, студенты просто, гимназисты и гимназистки, всякие мальчики и девочки.

Поэзию я слушаю, но не поощряю, а хочу понять, как они к *жизни* относятся, и навожу их на споры о войне и политике, — ничуть их не поучая, впрочем. Мне интересно, что они сами думают, какие они есть, а педагогика всякая мне скучна до последней степени. Смотрю — пока мне любопытно, люблю умных и настоящих, и равнодушно забываю ненужных.

Отношение к войне у многих очень хорошее, трезвое, свежее, сознательное.

О, война! Тяжесть и утомление мира неописуемы. *Такого* в истории мы еще не видали.

Немцы ничего не взяли, кроме Бельгии. И куска Польши. Невозможен мир... но и война тоже?

28 Апреля.

Глупо здесь писать о войне, о том, что пишут газеты.

А газеты, притом, врут отчаянно. Положение такое, что ни у кого, кажется, нет кусочка души нераненой.

Как будто живешь, как будто «пьеса» да «пресса», а в сущности Фата-Моргана.

Но я заставлю себя коснуться и Фата-Морганы, чтобы отдохнуть от газетно-протокольного.

Вот хотя бы история моей пьесы «Зеленое Кольцо» в Александринке. Ведь все было готово для ее постановки, директор одобрил, Мейерхольд начал работу, как вдруг... профессора из Москвы признали ее безнравственной! Чтобы пройти официальный этап — Литератруный Комитет — и пройти с деликатностью (в здешнем сидит Дмитрий), я послала ее в Московский Комитет. И там, всячески расхвалив пьесу с художественной стороны — решили, что она — неморальна, ибо «автор отдает предпочтение молодым перед пожилыми». Честное слово! Также то «не морально», что молодежь читает Гегеля и занимается историей!

Ну, тут пошел скандал. Директор вытребовал этот комический протокол. Начали думать, как покелейнее старичков оборвать. В это время началась война, все спуталось; я и сама думать забыла о всяких пьесах. Но перед Рождеством случилась неожиданность. Савина прочитала мою пьесу (ей случайно послал Мейерхольд) и — возжелала ее играть! Играть Савиной там немного чего было, полу-молодая роль матери, всего в одном действии, хотя роль трудная... Чего захотела царица Александринки — то закон! И пьеса пошла. Савина сама очень интересна. Когда я бывала у нее, с Мейерхольдом, или она ко мне приезжала (еще вот в эту пятницу опять была, очень любопытно рассказывала о Тургеневе и Полонском), — я старалась, чтобы она не столько о моей пьесе говорила, сколько вообще, о себе, чтобы проявлялась, такое она талантливо-художественное явление. Жалею, что мало записывала из ее бесед.

Однако, дотянули премьеру до 18 Февраля. Ей предшествовал гам в газетах (как же: Мейерхольд, Савина, Гиппиус — вот так соединение! Муравейнику, при цензуре неслыханной, как на это не кинуться). Сама премьера прошла очень обыкновенно, то есть одни в восторге, другие в ненависти, газеты в неистовстве. Савина играла, конечно, не мою героиню, а свою, и, конечно, очень талантливо. Декорация второго акта (заседание «юных») очень хороша: звезды в длинных, черных, зимних окнах. Но актеры нервничали, и были лучше на генеральной репетиции. (Из первых — я была всего на одной, на вечерней, с Блоком. Так что «кухни» почти не видала).

А на генеральную мы любопытно ехали.

Утром, — поэтому я, конечно, опаздываю, Дмитрий уехал раньше, автомобиль тоже опаздывает, и мы выходим на улицу часу в первом. Садимся в автомобиль — вдруг идет Керенский, довольно грустный и кислый (он болен последнюю зиму) — от решетки Таврического сада, от Думы.

— Куда это вы?

Д. В. объясняет. А у меня мысль:

— Да поедемте с нами!

Я признаться, вовсе не для пьесы повлекла Керенского: он как-то у нас находится не в том плане жизни, где пьеса, книги, литература. Совсем в другом (хотя очень важном). Но с нами ехала К. (она, наконец, легально была в России, отвоеванная Д. В. у Белецкого перед войной). Как же Керенского не познакомить с К., если пока нельзя с Ел.!

Они, кажется, отлично познакомились.

Приехали в театр ко второму действию. Там пришлось бегать за кулисы, туда-сюда, в антракте даже не помню, видела ли Керенского.

Домой вернулись усталые, поздно. Звонят рецензенты насчет билетов и всяких пустяков. Потом вдруг приносят букет красных цветов и записку. Читаем все, с К., — и никак не можем ни записки прочесть (такие каракули), ни даже понять, от кого она. Наконец, по теории исключения всех других возможных, убеждаемся, что она от Керенского. Скажите пожалуйста! Да еще какая восторженная! Впрочем, в нем есть что-то гимназическое, мальчишеское, в нем самом, что, должно быть, и мило в нем. И это и приблизило к нему моих героев «Зеленого Кольца». А подлинное его революционство заставило, быть может, почувствовать цензурно-скрытую остроту этой пьесы. — Ну, а записку целиком, мы так и не могли прочесть. Написал! «Еще раз целую Ваши руки — я волновался как мальчик это (...) Вы (...) молодых и взволновали (...) сколько (?) больного (...)» Остальные слова — неисследимы.

Отмечаю отношение Керенского потому, что оно было неожиданно; а неистовая злость «старых» и всяческий восторг «юных» — как по мерке.

Да, да, все это Фата-Моргана, пустое, несуществующее. Разве писать проще, фактическое содержание дней, только? Не удержишься в этих рамках. Ведь, кроме главного центра — вокруг закишели всякие «вопросы», точно издевающиеся: польский, еврейский, государственный вообще и в частности.

экономический вообще и в частности... (При этом замечательно, что нет «русского» вопроса. Честное слово нет, в его надлежащей постановке).

В воскресенье днем — наплыв молодежи. И «Зел. Кольцо», и масса «поэтов». Много полу-футуристических (вполне футуристических я еще не пускаю; они грязны, топотливы и грубы. Еще стащат что-нибудь). Потом приехал Немирович-Данченко. Опять театр!

Вчера — совсем другой «план», куча всяких «интеллигентов» («седые и лысые» в большинстве). Между прочим, Горький.

Хотят новое Англу-Русское О-во создать, *не* консервативное. Я люблю англичан, но я так ярко понимаю, что они нас не понимают (и не очень хотят), — что как-то немею при всяком сближении и замыкаюсь. Что-то вроде покорной гордости.

Конечно, из этой затеи О-ва ничего не выйдет. Ах, сколько начатых «дел» у нашей отстраненной от всяких дел интеллигенции!

Богучарский смертельно болен. Я ему сейчас не завидую, но когда он умрет, и привыкнет «там» — о, как я ему буду завидовать!

Богучарский удивительно хороший человек. Он — «приемлющий» войну, он один из тех, кто рвался «делать», помогать России, сжав зубы, *несмотря* на правительство, и... деланию этому все время правительство мешало. Ведь даже стариннейшее Вольно-Экономическое О-во закрыли!

Москвичи осатанели от православного патриотизма. Вяч. Иванов, Эрн, Флоренский, Булгаков, Трубецкой и т.д. и т.д. О, Москва, непонятный и часто неожиданный город, где то восстание — то погром, то декаденство то ура-патриотизм, — и все это даже вместе, все дико и близко связано общими корнями, как Герцен, Бакунин и — Аксаковская славянофильщина.

У нас цензура сейчас — хуже николаевской раз в пять. Не «военная», — общая. Напечатанное месяц тому назад — перепечатать уже нельзя. Рассказы из детской жизни цензурует генерал Дракке... Очень этичен и строг.

Скрябин умер. Многие, впрочем, умерли. Сыновья З. Ратьковой живы, на войне.

Не успеешь с кем-нибудь поспорить — он уж на войне.

Белая ночь глядит мне в глаза. Небо розовое над деревьями Таврического сада, тихими, острыми. Вот-вот солнце взойдет. Есть на что солнцу глядеть. Есть нам что ему показать. А еше говорят — «солнцу кровь не велено показывать...»

Все время видит оно — кровь.

15 Мая.

Все более и более ясные формы принимает наш *внутренний* ужас, хотя он под покрывалом, и я лишь слепо ощупываю его. Но все-таки я нащупываю, а другие и притронуться не хотят. Едва я открываю рот — как «реальные» политики накидываются на меня с целой тьмой возражений, в которых я, однако, вижу роковую тупость.

Да, и до войны я не любила нашу «парламентскую оппозицию», наших ка-детов. И до войны я считала их умными, честными... простофилями, «благородными иностранцами» в России. Чтобы вести себя «по-европейски», — и чтобы это было кстати, — надо позаботиться устроить Европу.. Но что я думала до войны — это неважно, да неважны и мои личные симпатии. Я говорю о теперешнем моменте и думаю о кадетах, о нашей влиятельной думской партии, с точки зрения *политической целесообразности*. Я сужу их линию поведения, насколько могу объективно и — увы — начинаю видеть ошибки фатальные.

Лозунг «все для войны!» может, при известной совокупности обстоятельств, звучать прежде всего как лозунг: «ничего для победы!» Да, да, это кажется дико, это то, чего никогда не поймут союзники, ибо это *русский язык,* но... как русские не понимают?

Боюсь, что и я этого... не хочу до конца понять. Ибо — какой же вывод? Где выход? Ведь революция во время войны — помимо того, что она невозможна, — как осмелиться желать ее? Мне закрывают этим рот. И значит, говорят далее, — думать только о войне, вести войну, не глядя, с кем ради нее соединяешься, не думая, что ты помогаешь правительству, а считая, что правительство тебе помогает.. Оно плохо? Когда пожар — хватай хоть дырявую пожарную кишку, всетаки помощь...

Какие слова-слова-слова! Страшно, что они такие искренние — и такие фатально-ребяческие! Мы двинуться

не можем, мы друг к другу руки не можем протянуть, чтобы по пальцам не ударили, и тут «считать», что «мы» ведем войну («народ!») и только берем снисходительно помощь от царя. Кого обманывают? Себя, себя!

Народ ни малейшей войны не ведет, он абсолютно ничего не понимает. А мы абсолютно ничего ему не можем сказать. Физически не можем. Да если б вдруг, сейчас, и смогли... пожалуй, не сумели бы. Столетия разделили нас не плоше Вавилонской башни.

Но что гадать — вот данное. Мы, — весь тонкий, сознательный слой России, — безгласны и бездвижны, сколько бы мы ни трепыхались. Быть может, мы уже атрофированы. Темная толща идет на войну по приказанию свыше, по инерции слепой покорности. Но эта покорность — страшна. Она может повернуть на такую же слепую непокорность, если между исполняющими приказы и приказывающими будет вечно эта глухая пустота, — никого и ничего. Или еще, быть может, хуже. Но я «восхищаю недарованное», оформливаю еще бесформенное. Подождем.

Скажу только, что народ *не хочет* войны. Это у него верный инстинкт — кто же хочет войны. Первично-примитивно, если душу открыть. Это вечно-верно, *не хочу* войны. Вернее так: никому *не хочется* войны. Для того, чтобы сказать себе: да, не хочется, и праведно не хочется, но вот потому-то и поэтому-то — *надо,* неизбежно, и я моей разумной волей, на этот час, побеждаю это «не хочется», *хочу* делать то, что «не хочется», для такой примитивной работы внутренней нужен проблеск сознания.

А сознания у народа ни проблеска нет. То, что говорят ему, к сознанию не ведет. Царь приказывает — они идут, не слыша сопроводительных, казенно-патриотических, слов. Общество, интеллигенция говорят в унисон, те же и такие же патриотически-казенные слова; т.е. «приявшие войну», а не «приявшие» физически молчат, с начала до конца, и считаются «пораженцами»... да, кажется, растерялись бы, испугались бы, дай им *вдруг* возможность говорить громко. «Вдруг» нужных слов не найдешь, особенно если привык к молчанию.

Разве между собою мы, сознательные, находим нужные слова? Вот, недавно, у нас было еще собрание. Интеллигенция, не пристающая ни к ка-детам, ни к революционерам

(беру за одну скобку левые партии). Это — так называемые «радикалы». Они большею частью у нас из поправевших эс-деков.

(К ним, в сущности, принадлежал и Богучарский. Он умер, умер Богучарский).

Но довольно странно, что тут же очутился и Горький. И даже в таких близких настроениях, что как будто вместе они все строят новую «радикально-демократическую» партию. Это и был главный вопрос собрания. Странно насчет Горького потому, что он давнишний эс-дек (насколько он в политике сознателен... Мало!) Были кое-кто из нетвердых кадетов... были все наши «седые и лысые». Была Кускова. Единственная «умная» женщина, одна и на Петербург, и на Москву (она живет в Москве). Умная! необыкновенно непроницательная, близорукая, в той же политике.

Я забыла сказать, что зимой, когда сдвинулись особенно все «вопросы» (польский, еврейский и т.д.) и когда я сказала, что признаю первым и главным — вопрос русский, это дало кому-то мысль образовать еще одну группу — «русскую». Сказано-сделано, готово! Есть русская группа. О мысли такой группы мы не очень подробно сговорились. Некоторые, как М., Керенский и, отчасти, Дмитрий поняли «группу» в моем смысле, т.е. как наш русский вопрос, — наш *внутренний,* и наше к нему отношение в данный момент, *при войне.* Коренной неизбитый вопрос, от разрешения которого зависят автоматически все другие. Поэтому важен так был Керенский, позиция которого мне все больше и больше нравится.

На первом же собрании выяснилось, что многие совсем не понимают, в чем суть. А иные, как, например, Карташев, со своей национальной тягой, склонны были сделать из этой «группы», — членами которой мнили только *по крови* русских, — зерно какой-то педагогической академии, где бы интеллигенция петербургская поучалась националистическим чувствам. Помню, как твердокаменный Ник. Дим. Соколов завел длинную шарманку о... федерализме, Дмитрий о самодержавии (не в практических тонах), Карташев свое, Керенский, конечно, свое, и верное, но сбивчиво, и только бегал из угла в угол, закуривал и бросал пипироску, загорался и гас. М. поручено было составить записку по существу вопроса, я взялась помогать, но как-то уж видно было, что толку даль-

нейшего не будет. И не было. Записку мы, однако, написали. В очень осторожных тонах, не помню ее точно, помню лишь, что там говорилось о некоторых допустимых и при войне действиях на правительство, но не революционного порядка, в виду того, что положение ухудшается; что *если* даже во время войны и не будет никаких неорганизованных, стихийных внутренних вспышек, — а они возможны, — то после войны пожар неизбежен; а чтобы он не был стихийным, — об этом организационном деле надо думать *теперь же*. Уже с этого момента.

Почему-то записка никуда не попала (не помню почему), и лишь на этом последнем, «радикально-демократическом» собрании, у нас, М. ее прочел.

Изумительно, что ни Горький, ни Кускова, ни один «седой и лысый» даже не поняли, о чем речь! Даже никакого «вопроса» не усмотрели! Кускова объявила, что это все «старое», а т.к. война, будто бы, все изменила, то и все углы зрения должны быть другими. Впрочем, Кускова и раньше, когда была у нас одна, на мой окольный вопрос: «как бы у нас да не было революции?» сказала твердо:

— Никакой революции ни под каким видом не будет.

— А что же будет?

— Enrichissez vous, вот что будет.

Пожала плечами. Принялась рассказывать о ростовских спекуляциях.

Я — воистину не знаю, что будет (вот «радикально-демократической» партии, да еще с Горьким, — наверное не будет!). Но я щурю глаза, и вижу — темно в красном тумане войны. Все в нем возможности. Зачем себя обманывать? Еще страшнее, если неожиданно вдруг будет что-нибудь...

Я боюсь сказать несправедливое о наших «либералах», но очень, очень я их боюсь. Уж очень они слепы... а говорят, что видят.

Керенского не было среди «радикалов».

Я знаю, что ка-деты в Думе *уже* покрыли П-во...

28 Мая.

Не хочется писать, приневоливаю себя, записываю частные вещи.

Как противна наша присяжная литература. Завопила, как зарезанная, о войне, с первого момента. И так бездарно, один стыд сплошной. Об А. я и не говорю. Но Брюсов! Но Блок! и все, по нисходящей линии. Не хватило их на молчание. И наказаны печатью бездарности.

А вот был у нас Шохор-Троцкий. Просил кое-кого собрать — привез материал, «Толстовцы и война». Толстовцы, ведь, теперь сплошь в тюрьмах сидят за свое отношение к войне. Скоро и сам Шохор садится.

Собрались. Читали. Иное любопытно. Сережа Попов со своими письмами («брат мой околоточный!») с ангельским терпением побоев в тюрьмах — святое дитя. И много их, святых. Но... что-то тут не то. Дети, дети! Не победить так войну!

Потом пришел сам Чертков.

Сидел (вдвоем с Шохором) целый вечер. Поразительно «не нравится» этот человек. Смиренно-иронический. Сдержанная усмешка, недобрая, кривит губы. В нем точно его «изюминка» задеревенела, большая и ненужная. В небросающейся в глаза косоворотке. Ирония у него решительно во всем. Даже когда он смиренно пьет горячую воду с леденцами (вместо чаю с сахаром) — и это он делает как-то иронически. Так же и спорит, и когда ирония зазвучит нотками пренебрежительными — спохватывается и прикрывает их — смиренными.

Не глуп, конечно, — и зол.

Он оставил нам рукопись — «Толстой и его уход из Ясной Поляны», — ненапечатанную, да и невозможную к печати. Думаю, даже и в Англии. Это как будто объективный подбор фактов, скрепленный строками дневника самого Толстого, — даже в самый момент ухода. Рукопись потрясающая и... какая-то «немыслимая». В самом факте ее существования есть что-то невозможное. Оскорбительное.. для кого? Для Софьи Андреевны? В самом подборе фактов видна злобная к ней ненависть Черткова... Для Толстого, может быть? Не знаю. Кажется, — для любви Толстого к этой женщине.

На рукописи прегадкая надпись — просьба Черткова «ничего отсюда не переписывать».

Мне бы и в голову не пришло сделать такую вещь, но, при надписи, я чуть-чуть нарочно не сделала, и если кое-чего не переписала — то исключительно из лени, из отвращения ко всякой «переписке».

Перо Черткова умело подчеркивает «убийственные» деяния Софьи Андр. До мелких черточек. Вечные тайные поиски завещания, которое она хотела уничтожить. Вплоть до шаренья по карманам. И тяжелые сцены. А когда, будто бы, кто-то сказал ей: «да вы убиваете Льва Николаевича!», она ответила: «ну, так что ж! Я поеду заграницу! Кстати, я там никогда не была!»

Любопытно, что это вероятно, *правда,* т.е. так, вероятно, она и ответила, только... под пером Черткова это звучит зверски, и никто иначе, как зверскими, этих слов не услышит; а я, вот, иными могу их представить; вот близкими к тем словам, которые она мне сказала на балконе Ясной Поляны, в холодный майский вечер, в 1904 году. Мы стояли втроем, я, Дмитрий и она, смотрели в сумеречный сад. Я, кажется, сказала, что мы — на дороге заграницу, едем туда прямо из Москвы. Софья Андреевна, с живой быстротой полусерьезной шутки, возразила: «нет, нет, вы лучше оставайтесь здесь, у Льва Николаевича, а я поеду с Дмитрием Сергеевичем заграницу; *ведь я там никогда не была!»*

И если представить себе, что в ответе на упрек «кого-то», очевидно, ненавистного, С. А. *назло* кинула привычную фразу — то несомненное ее «зверство» несколько затмится... Но, конечно, я С. А. не оправдываю. (Раз уж меня тянут к суду над ней чертковскими «фактами»). В ночь ухода Толстой (по словам его собственного дневника) уже лежал в постели, но не спал, когда увидел свет из-за чуть притворенной двери в кабинете. Он понял, что это С. А. опять со свечей роется в его бумагах, ищет опять завещание. Ему стало так тяжело, что он долго не окликал ее. Наконец, все-таки окликнул, и тогда она вышла, как будто только что встала «посмотреть, спокойно ли он спит», ибо «тревожилась о его здоровье». Эта ложь (все по записи Толстого) была последней каплей всех домашних лжей, которая и переполнила его чашу терпения. Тут замечательный, страшный штрих в дневниках. Подлинных слов не помню, но знаю, что он пишет, как сел на кровати еще в темноте, один (С. А., простившись, ушла) *и стал считать свой пульс.* Он был силен и ровен.

После этого Толстой встал и начал одеваться тихо-тихо, боясь, что «она» услышит, вернется.

Остальное известно, через полтора часа его уже не было в Ясной Поляне. Ушел от лжи — навстречу смерти.

Как, все-таки, хорошо, что он уже умер! Что он не видит этого страшного часа — этой небывалой войны. А если и видит... то он ему не страшен, ибо он *понимает...* а мы, здесь, ничего!

23 Июля.

Мы скачем на автомобиле с одной дачи на другую. Там, по Балтийской дороге, нельзя было оставаться. Далеко, глухо, а время такое тревожное. Пока мы в Спб-ге, а потом поедем недалеко, в старое имение екатерининских времен — Коерово, по царскосельскому шоссе.

Более мутного момента еще не было за год войны. Вероятно, не было и за всю жизнь нашу, и за жизнь наших отцов.

Мы отдали назад всю Галицию (это ничего), эвакуирована Варшава. Взята Либава, Виндава, кажется, Митава, очищена Рига. Сильнейшее наступление на нас, а у нас... *нет снарядов!*

Это знала думская оппозиция уже в январе! И тогда было условлено — молчать! Вот когда в первый раз ка-деты сознательно прикрыли правительство.

Впрочем, об этом лучше меня будет рассказано в истории.

19-го собралась Дума — правительство сдалось тут, отчего же? Но действует все время надвое, тишком. Посменяло министров, одних ворон на других и... больше ничего не хочет или не может.

На двух уже бывших заседаниях — без счету патриотических слов. Левые были бесплодно резки. Так воспитаны, что умеют только жаловаться, притом всегда несколько отвлеченно. «Государственный муж» Милюков произносил прекрасные слова, но... ответственного министерства *не* требовал. Воздержание, при всех обстоятельствах, его главное свойство.

Сказать по правде — положение так сложно, что я разобраться хоть первичным образом, хоть для себя — еще не мо-

гу. А нужно сделать это добросовестно и беспристрастно, в соответствии с разумом.

Пока я знаю лишь вот что:

Я знаю, что Россия с данным правительством прилично одолеть немцев — не может. Это уже подтверждено событиями. Это — несомненно и бесповоротно. А *как* одолеть правительство — я не знаю. То есть не вижу еще конкретных путей для конкретных людей, которых тоже не вижу. Кто? какие?

Не понимаю (честно говорю это себе) и боюсь, что все запутались, все ничего не понимают. Какое время!

Мыза Коерово.

Запись в белой тетрадке.

Общественный Дневник

(Август-Сентябрь 15 г.)

(Одна из современных позиций)

На том, что стало ясно для всех, не будем останавливаться. Но далеко еще не все ясно. Нет меры ясности, которой требует сегодняшний день. Жизнь учит нас заботливо, но мы не привыкли разгадывать ее темный язык.

Благодаря нашему воспитанию (или нашей невоспитанности) мы — *консервативны.* Это наше главное свойство. Консервативны, малоподвижны, туги к восприятию момента, ненаходчивы, несообразительны, как-то оседлы — все, с верху до низу, с права до лева. Жизнь бежит, кипя, мы — будто за ней, но не поспеваем, отстаем, ибо каждый заботится прежде всего, как бы не потерять своего *места.* Соотношение сил этим сохраняется, пребывает. Но какие силы в пустоте? Марево: жизнь ушла вперед.

Одинаково консервативны в этом смысле: и Дурново, и Милюков, и Чхеидзе. Я беру три имени *не лично,* а общеопределительно, как три ясных линии политических.

Что ни происходит, как ни толкает, ни вертит, ни учит жизнь —

Дурново все так же требует «держать и не пущать»,

Милюков все так же умеренничает и воздерживается,

Чхеидзе все так же предается своим прекрасным утопиям.

В обычное время деятельность Дурново весьма вредна, деятельность Милюкова весьма полезна, а Чхеидзе — почтенна. Так было. Но так уже *не* есть, ибо сейчас есть то, чего не было — есть война. И все изменилось. В новом, багровом, луче изменились цвета.

Установим исходную точку. Исходная точка — необходимость защиты и сохранения России, самостоятельной жизни русского народа. То есть — успешное продолжение и *окончание* борьбы с Германией.

Рассматривая под этим знаком тройственную линию нашего политического консерватизма, мы должны *иначе* оценивать деятельность каждой из трех групп.

Деятельность «Дурново» так вредила России, и уже так навредила ее сегодняшней задаче, что едва ли стоит сейчас останавливаться на пояснениях. Сейчас яд этот открыт, губительность его, кажется, ясна для всех. Не слишком ли поздно? Другой вопрос. Но мы кое-как восприняли в этой стороне наглядный урок жизни. Однако, вред продолжается...

Деятельность «Милюкова» — полезна ли она в данный час России и ее первой задаче — успешной обороне?

Нет, не полезна, и вот почему: она попустительна ко вреду. Есть моменты истории, когда позиция «умеренности» преступна, как позиция предательства. Жизнь разжевала и в рот положила «умеренным» горький плод их «январского молчания», но и поныне костенеют они в том же своем принципе «понемножку». Они, как будто, увидели весь яд «Дурново» и видят его продолжающее действие, но все думают, как бы воспрепятствовать ему «повежливее»... Нет, и думание, и делание «умеренной оппозиции» сейчас, прежде всего, *не действенно*. Оно равняется нулю и останется нулевым практически. А так как, волею времени и совокупных причин, как раз от умеренных требуется сию минуту главное делание (они — в центре политики), то эта пустота — уже не нуль, а делание *отрицательное* — вред.

А что же деятельность «Чхеидзе», столь «почтенная» в мирное время, то есть — крайних наших?

Поскольку она успешна — она *опасна,* и счастье, что она не успешна. Оторванная от центрально-важных сейчас, левогосударственных, политических кругов, недвижно-

консервативная в себе, деятельность неорганизованных «левых» с подкладкой не политики, а социализма (то есть внеисторической утопичности) — такая деятельность только и может быть или неуспешна или — вредна.

Правые — и не понимают, и не идут, и никого никуда не пускают.

Средние — понимают, но никуда не идут, стоят, ждут (чего?).

Левые — ничего не понимают, но идут неизвестно куда и на что, как слепые.

Со всеми же вместе, что будет? С Россией? Или она уже обречена — за старый и вечный свой грех долготерпения?

Самодержавие... Пока эта точка горит — всего можно ожидать, ни на что нельзя надеяться. (Не долго ли горит, не перегорела ли Россия?)

Непонимающие низы, одни, с этой точкой не справятся. (Если б справились по своему — то не к добру. Ведь ее и «погасить в уме» надо!)

Умеренные и вежливые верхи — (в своей умеренности) — тоже не справятся. Они со странной нерешительностью все «обхаживают» самодержавие (будто его можно обойти!) Но с них больше спросится, — ой, как спросится! — потому что спасти Россию сейчас можно — *не снизу*. Ее могли бы спасти эти политические верхи. Но только в известном контакте, в каком-то сговоре, с крайними левыми, т.е. поступившись известной долей своей умеренности... я не сомневаюсь, что при этом контакте и крайние поступились бы известной долей своей крайности.

Мыза Коерово.

Продолжение Общественного Дневника.

3 Сентября — 15 г.

События развертываются с невиданной быстротой. Написанное здесь, выше, две недели тому назад — уже старо. Но совершенно верно. События только оправдали мою точку зрения. Неумолимы события.

Теперь для большинства видна горящая точка русского самодержавия. Жизнь кричит во все горло: без революционной воли, без акта хотя бы *внутренно* революционного, эта точка даже не потускнеет, не то что не погаснет. Разве вместе с Россией.

Вчера, 2-го сентября, разогнали Думу. Это сделал царь с Горемыкиным. Причина — главная — знаменитый «думский блок». Он был так бледен, программа так умеренна, что иного результата и нельзя было ожидать. Царь смело разогнал либералов. Опять: «бессмысленные мечтания!» *Мечтаний* он не боится. Пожалуй, за ними проглядит и другое: голое, дикое и страшное не для него одного, страшное своей полной обнаженностью не только от мечтаний, но и от разума.

Это опасность не пустая. Это — РЕАЛИЗМ.

Картина происшедшего за эти дни, — история «блока», вот:

Умеренно-левые, те, кого сейчас вынесло на гребень политической войны, стали перед выбором: олибералить правых — или умерить левых.

Казалось бы, органическое влечение к.-д. вправо не должно играть роли в такой момент. Следовало выбирать по разуму путь наиболее практический, действенный.

Однако, думские политики к.-д. сделали первый выбор: еще умерив себя самих — они подтянулись к *правой* середине, и правых к ней же подтянули, для блока.

Левые остались, как были, предоставленные себе. Только расстояние между ними и умеренными еще увеличилось.

А блок прекрасных «мечтаний», так естественно названных «бессмысленными», оказался просто бесплодным, и для данной минуты *вредным:* послужил роспуску Думы, а она была нужна, как зацепка, надежда гласности, сдержка левой стихийности.

Умеренные, еще умерившись под блоком, всему покори-

лись. Выслушали указ о роспуске и разошлись.

Все это очень хорошо. Все это, само по себе взятое, прекрасно и может быть полезно... в свои времена. А когда немец у дверей (надо же помнить), все это неразумно, потому что *не действительно.*

Царь последовательнее всех. Он и возложил всю надежду на чудо.

Пожалуй, других надежд сейчас и нету.

Впрочем, это неитересно повторять унылое «надо было...» Важнее знать, что сейчас *надо,* и хотя это очень трудная задача — попробуем анализировать положение далее.

Вспомним исходную точку: ОТСТОЯТЬ РОССИЮ ОТ НЕМЦЕВ. Уже выяснившееся, непременное условие для этого: немедленная и коренная перемена политического строя.

Умеренно-левые наши политики — только они! — имеют организационные способности. И если бы они понесли эти способности, и свое значение, и готовность к жертвам не вправо, а *влево,* — получилось бы движение *к* перелому. Ибо возможность перелома находится: влево от умеренных и вправо от левых, как раз *между ними.*

Правый блок свел возможность осуществления перелома к минимуму.

Наоборот, БЛОК ЛЕВЫЙ, т.е. соединение УМЕРЕННЫХ с ЛЕВЫМИ, и только он один, мог бы найти и действительные средства к осуществлению перелома.

В данном же состоянии, действенных, действительных, путей и средств нет ни у кого.

Левые знают свои средства: забастовки, личный террор... Они *совершенно* не годятся. Каждый час забастовки ослабляет армию; при данном положении этот час может растянуться неопределенно и превратиться в уличные бунты со всеми последствиями (самое страшное).

Между тем, если бы умеренные, приняв искренно и уже безоглядно лозунг «перелома», сблокировались бы с левыми в Думе, — они могли бы приложить к их кругам свои организационные способности и политические навыки.

Получилась бы внутренняя *революционная сила,* но сама себя сдерживающая от всех *не своевременных* выступлений.

Нам сейчас нужен, необходим, — только один рубль. Не надеясь на рубль — умеренные мечтают о сорока пяти копей-

ках. Но смиренно попросить «хоть сорок пять копеечек» — верное средство получить в ответ оплеуху или «дурака».

Потребуйте рубль двадцать. Но требуйте, — не просите. Тотчас полезут за кошельком и выложут заветный рубль. Надо, чтобы была опаска: не дашь рубля — весь кошелек возьмут.

От просьб опаска не родится, а от недоброго — добром ничего получить нельзя. Ничего.

Продолжение «Современной Записи» в СПБ-ге.

4 Сентября.

Мы еще не вернулись совсем в город, приехали всего на несколько дней. Беру свою книгу для записывания хроники. Поразительно все идет «по писанному».

Но сначала общее.

Варшава давно сдана. И Либава, и Ковно. Немцы наступают по всему фронту, все крепости сданы, очищена Вильна, из Минска бегут. Вопрос об эвакуации Петрограда открыт. Тысячная толпа беженцев тянется к центру России.

Внутреннее положение не менее угрожающе. Главнокомандующий сменен, сам царь поехал на фронт.

Думский блок (ведь он от к.-д. до националистов включительно) получил только свое. На первый же пункт программы (к.-д. пожертвовали «ответственным» министерством, лишь попросили, скромно и неопределенно, «министерство, пользующееся доверием страны») — отказ, а затем Горемыкин привез от царя... роспуск Думы. Приказ еще не был опубликован, когда мы говорили с Керенским о серьезном положении по телефону. Керенский и сказал, что в принципе дело решено. Уверяет, что волнения уже начались. Что получены, вечером, сведения о начавшихся забастовках на всех заводах. Что правительственный акт только и можно назвать безумием. (Не надо думать, что это мы столь свободно говорим по телефону в Петербурге. Нет, мы умеем не только писать, но и разговаривать эзоповским языком).

— Что же теперь будет? — спрашиваю я под конец.

— А будет... то, что начинается с а...

Керенский прав и я его понимаю: будет анархия. Во вся-

ком случае, нельзя не учитывать яркой возможности *неорганизованной* революции, вызываемой безумными действиями. Правительства в ответе за ошибки политиков. «Умеренные» просьбы должны давать правит. реакцию. Лишь известная политическая неумеренность может добиться необходимого минимума.

А *только он* спасет Россию. Его нет — и каждый день стены сдвигаются: стена немцев и стена хаотического бунта внутреннего. Они сдвинутся и сольются. Какие возможности!

Я не стану повторять все то же, все то же: ответственность всецело лежит на ка-детах, которые, не понимая момента, выбрали блок с правыми вместо блока с левыми. Борьба с Пр-вом посредством олибераленья правых кругов — обречена на крах. Ведь надо же знать, когда и где живешь, с кем имеешь дело. И это — «политика»? Да зачем, почему, для чего снизошло бы Пр-во к покорнейшим просьбам Милюкова с Шульгиным и с Борисом Сувориным? (он тоже за блок и «доверие»). Пр-во не боится никаких разумно-вежливых слов. Анархия не боится, ибо ничего не видит и не понимает. В предупреждение «злоумышленных эксцессов» (видали, мол, виды!) этот рамоли-Горемыкин созвал к себя на днях... всех градоначальников. У цензуры пока заметны признаки острого помешательства, но вскоре она просто все закроет, и когда на улицах будут расстрелы — газеты запишут усиленно о театре.

Правительство, в конце концов, не боится и немцев.

Но неужели наши главные «политики», наши думцы, кадеты, неужели они о сю пору еще не убедились бесповоротно, что:

БЕЗ ПЕРЕМЕНЫ П-ВА НЕВОЗМОЖНО ОСТАНОВИТЬ НАШЕСТВИЕ НЕМЦЕВ, КАК НЕВОЗМОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕССМЫСЛЕННОЕ ВОССТАНИЕ?

Я хочу знать; это нужно знать; ибо если они в этом еще *не* твердо убеждены и действуют, как действуют — то они только легкомысленные, ошибающиеся люди; а если убеждены, и все-таки по своему, бесплодному (вредному) действуют, — они преступники.

Так или иначе — ответственность лежит на них, ибо, по времени, *им* должно действовать.

В Петербурге нет дров, мало припасов. Дороги загромождены. Самые страшные и грубые слухи волнуют массы. Ат-

мосфера зараженная, нервная и.. беспомощная. Кажется, вопли беженцев висят в воздухе... Всякий день пахнет катастрофой.

— Что же будет? Ведь невыноси-тель-но! — говорит старый извозчик.

А матрос Ваня Пугачев пожимает плечами:

— Уж где этот малодушный человек (царь), там обязательно несчастье.

«Только вся Рассея — от Алексея до Алексея».

Это, оказывается, Гришка Распутин убедил Николая взять самому командование.

Да, тяжелы, видно, грехи России, ибо горька чаша ее. И далеко не выпита.

Третьего дня было жарко, ярко, летне. Петербург, весь напряженно и бессильно взволнованный, сверкал на солнце. Черные от людей, облепленные людьми, трамваи порывисто визжали, едва брали мосты. Паперть Невского костела, как мухами, усыпана беженцами: сидят на паперти. Женщины, дети...

Указ о роспуске Думы «приял силу», несмотря на сильное давление союзников. Конечно, они не хотят. Но с достаточной ли ясностью видят они путь гибели наш?

Неужели — поздно?

...И вот Господь неумолимо
Мою Россию отстранит...»

12 Сентября.

Уж и Дурново умер и, мертвый, торжествует больше, чем когда-либо. Вводится предварительная цензура. «Не уявися, что будем!» восклицает... Б. Суворин.

Родзянко отказано в аудиенции. Депутация московских съездов, думаю, не будет принята. А если и будет...

Умеренные возглашают: «спокойствие, спокойствие, спокойствие!» как, бывало, Куропаткин в Японской войне: «терпение, терпение и терпение».

Что же, можно молчать.

Зато громко говорят немецкие орудия.

23 Ноября.

Почти три месяца прошло. Трагизм превзошел ожидания: вылился в трагическую, каменную успокоенность, полную победу полной реакции.

Когда распустили Думу (за блок и московский съезд), она громко покричала «ура» и тихо разошлась. Лозунг депутатов был: «сохраняйте спокойствие». И сами сохранили его, и помогли, при содействии Правительства, другим в этом занятии. Пока что — хлыщ и провокатор Хвостов (новый министр) задействовал, черносотенцы съехались с уволенными (в Г. Совете сидящими) министрами, «объединенное дворянство» со своей стороны «припало к самодержцу».

На съезде митрополит объявил: не только царь — помазанник, но «соизволением Божиим поставленные министры тоже имеют на себе от Духа Свята» (Хвостов, например, ну и прочие). Таково, мол, «учение Церкви». Своего рода декларация.

В указе о разгоне Думы было определено, что ее вновь соберут «не позже ноября». Однако, вот, не желают, Хвостов смеется: это «каприз»! Отложим лучше.

Блокисты не знают, куда девать глаза. Хранят свое спокойствие, хотя на сердце-то скребет...

...Без утра пробил час вечерний
И гаснет серая заря...
Вы отданы на посмех черни
Коварной волею Царя...

Воистину на посмех. И то ли еще будет!

Войне конца-краю не видать. Германия уже съела, при помощи «коварной» Болгарии, — новой союзницы, — Сербию; совсем. Ездят прямо из Берлина в Константинополь. Вот, нео-славянофилы, ваш Царь-Град, получайте. Закидали шапками?

У нас, и у союзников, на всех фронтах — окостенение. Во всяком случае мы ничего не знаем. Газет почти нельзя читать. Пустота и вялое вранье.

Царь катается по фронту со своим мальчиком и принимает знаки верноподданства. Туда, сюда — и опять в Царское, к престарелому своему Горемыкину.

Смутно помню этого Горемыкина в давние времена у ба-

ронессы Икскуль. Он там неизбежно и безлично присутствовал, на всех вечерах, и назывался «серым другом». Теперь уж он «белый», а нс серый.

Впрочем, Николай вовсе не к этому белому дяде рвется в Царское. Там, ведь, Гришенька, кой, в свободные от блуды и пьянства часы, управляет Россией, сменяет министров и указует линию. В прочее время, Россия ждет... пребывая в покое.

Сто раз мы имели случай лицезреть этого прохвоста; быть может, это упущение с исторической, с литературной, с какой еще угодно точки зрения, однако, доводы разума были слабее моей брезгливости. А любопытство... тоже действовало вяло, так как этого сорта «старцев» не мало мы перевидали. Этот — что называется «в случае», попал во дворец, а Щетинин, например, только тем от Гришки и отличается, что «неудачник», к царям не попал. Остальное — детально того же стиля, разве, вот, Щетинин «с теориями» поверх практики (ахинею несет и безграмотно ее записывает, а Гришка ни бе, ни ме окончательно). Гришка начался в те же времена, как и Щетинин, но последний пошел «по демократии» и не успел, до провала, зацепиться, (хоть и закидывал удочки в высшие слои); Гришка же, смышленная шельма, никого вокруг не собирал, в одиночку «там и сям» нюхал. То — пропадал, то — опять всплывал. Наконец, наступив на одного лаврского архимандрита (настоящего монаха, имевшего некое, малое, царское благоволение) как на ступеньку, ступеньку продавил, а к «царям» подтянулся. После летнего, перед войной, покушения на него безносой бабы, особенно утвердился.

Да, вот годы, как безграмотный буквально, пьяный и болезненно-развратный мужик, по своему произволу распоряжается делами государства Российского. И теперь, в это особенное время — *особенно*. Хвостов ненавидит его, а потому думаю, что Хвостов недолговечен. Ненавидит же просто из зависти. Но тот его перетянет. Остальные министры все побывали у Гришки на поклоне, и клялись, целуя край его хламиды. (Это не «художественный образ», а факт: иногда Гришка выходит к посетителю в белом балахоне, значит — надо к балахону прикладываться).

Экая, прости Господи, сумасшедшая страна. И бедный Милюков тут думает «действовать» — в своих европейских манжетах.

Что это, идеализм, слепота, упрямство?

О, наши «реальные» политики!

24 Ноября.

Вот именной указ опять отложил Думу. И срок созыва уже не указан, а «пока не будет готов в комиссиях бюджет».

Все передовицы сегодня белы, как снег. В «Речи», впрочем, остались кусочки, то там, то сям, отрывочные, что если, дескать, так, то мы (милюковцы и блокисты), готовы, за нами дело не станет, мы поторопимся с бюджетом, вот и все.

Теперь уже очевидно: любые шаги общества, интеллигенции, депутатов, умеренных партий и т.д. по избранному ими пути «спокойной оппозиции» — должны покрывать их гораздо большим позором, чем отсутствие всяких шагов. Смирение, так смирение.

Сложить руки и не мешать событиям. А события будут. Неумолимо будут, если Россия не пересидела свое время, не перегноилась, не перепрела в крепостничестве. Возможно, ведь, и это.

Только вот: если поле все-таки будет вспахано, и хорошо, — нашим «политикам» нельзя будет сказать: «и мы пахали». Если же такая борозда пройдет, что все поле вверх тормашками перевернется, тогда... тогда, увы, не сможет сказать наша «парламентарская умеренность»: «а мы не виноваты». Потому что виноваты. Отнюдь не в плохом делании, а в *никаком*. Ведь только они *сейчас* могут что-то делать. И делают — «Ничего».

Разве не вина?

Плеханов и другие заграничники вредны становятся (мало, ибо значения не имеют). Но они вполне невинны: оттуда не видать. Ничего. Ровно ничего.

Кажется, там разделение по линии войны. Борису я перестала отвечать, бесполезно сквозь такую цензуру. Повидимому, он увлечен войной (еще бы, во Франции!), хотя в «Призыве» не участвует. «Призыв» — это тамошний журнал стоящих за войну русских социалистов. Я его не знаю, но верю тут Керенскому, который им возмущен. Керенский приблизительно на моей позиции стоит не только по отношению к войне, но, главное, по отношению к данному внутреннему положению *военной* России. Он не умнее тамошних эмигрантов, но он *здесь,* а потому он видит, что здесь такое. А эмигранты слепы. Я даже боюсь, что все эмигранты слепы, всех толков, и «призывисты» и не призывисты. По разному, но в равной степени. Ибо и противо-призывисты, отрицающие войну, тоже

путного ничего не говорят, отрицают просто и глупо, вне времени и пространства. А такого узкого и близкого положения, что ПРИ ЭТОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЯ ПРИЛИЧНО С ВОЙНОЙ НЕ РАЗВЯЖЕТСЯ, — не понимают вовсе, и, конечно, ничего дальнейшего, что из этой аксиомы вытекает.

Депутат — грузин Чхенкели, уж на что немудрящий, а и тот великолепно понимает, и на этом именно стоит. Интересно, что он, грузин, утверждает это положение, как самый горячий русский патриот (подлинный); стоит, прежде всего, на любви к России. «Если б, говорит, я мог верить, что Россия не погибнет в войне, оставаясь при Царе, теперь... Но я не верю; ведь я вижу. Ведь все равно...»

Да, вот тут важно: а вдруг — все равно будет... что?

Керенский уверяет, что болен. Он часто к нам забегает.

Мои юные поэты, студенты и другие — постепенно преображаются, являясь в защитках. Кого взяли в солдаты, кого в юнкера, кто приспособился к лазарету. Все там будем. Живы еще гимназисты и барышни.

Много есть чего сказать о более «штатском» (об Андрее Белом, Боре Бугаеве, например, погибающем в Швейцарии у Штейнера), но как-то не говорится. И я все пишу почти газетно, что не будет интересно.

Газетное. Как бы не так. Газеты... пишут о театре. Даже Б. Суворину запретили писать без предварительной цензуры и оштрафовали за вчерашнюю замстку на 3 тысячи.

Большею частью газеты белы, как полотно.

Молчание. Мороз крепкий (15^0 с ветром). «Чертоград» замерз. Ледяной покой... и даже без «капризов».

Хвостов, стиснув зубы, «охраняет» Гришку. Впрочем, черт их разберет, кто кого охраняет. У Гришки охрана, у Хвостова своя, хвостовские наблюдатели наблюдают за гришкиными, гришкины — за хвостовскими.

26 Января.

Только сегодня объявил Н., что Думу дозволяет на 9 февраля. Белый дядя Горемыкин с почетом ушел на днях, взяли Штюрмера Бориса. Знаем эту цацу по Ярославлю, где он был губернатором в 1902 году. В тот год мы с Дм. ездили за Волгу, к староверам и сектантам, «во град Китеж», на Светлое Озеро. Были и в Ярославле, где Штюрмер нас «по-

европейски» принимал. На обратном пути у него же видели приехавшего Иоанна Кронштадтского, очень было примечательно. К несчастию, моя статья обо всем этом путешествии написана была в жесточайших цензурных условиях (двойной цензуры), а записную книжку я потеряла.

...Впрочем, не об этом речь, а о Штюрмере, о котором... почти нечего сказать. Внутренне-охранитель не без жестокости, но без творчества и яркости; внешне-щеголяющий (или щеголявший) своей «культурностью» перед писателями церемониймейстер. Впрочем, выставлял и свое «русофильство» (он из немцев) и церковную религиозность. Всегда имел тайную склонность к темным личностям.

Его премьерство не произвело впечатления на фундаментально «успокоенное» общество. Да и в самом деле! Не все ли равно? И Хвостов, и Штюрмер, — да мало ли их, премьеров и не-премьеров, — было и будет? Не знают, что и с разрешенной Думой теперь делать. После ужина — горчица.

Война — в статике. У нас (Рига — Двинск), и на западе. Балканы Германцы уже прикончили. Греция замерла. Англичане ушли из Дарданелл.

Хлеба в Германии жидко и она пошла бы на мир при данном ее блестящем положении. Но мир сейчас был бы столь же бессмыслен, как и продолжение войны. Замечательно: никому нет никуда выхода. И не предвидится.

При этом плохо везде. Истощение и неустройство.

У нас особенно худо. Нынешняя зима впятеро тяжелее и дороже прошлогодней. Рядом — постыдная роскошь наживателей.

...Интеллигенция как-то осела, завяла, не столь тормошится. Думское «успокоение» подействовало и на нее. Керенский все время болен, белый, как бумага, уверяет, что у него «туберкулез». Однако, не успокаивается, где-то скачет. К сожалению, я сейчас не знаю, что делается в подпольных партийных кругах. Но по некоторым признакам видно, что ничего замечательного. Если там ведется какая-нибудь пропаганда, то она, по стиснутости, особого влияния не может иметь. В данный момент, по крайней мере. И с другой стороны, благодаря стиснутости и подпольности, она ведется неразумно, несознательно, безответственно безответственными...

Уже выдвинул Штюрмер сразу двух своих мерзавцев:

Гурлянда и Манасевича. Стыдно сказать, что знаешь их. А я знаю обоих. С Гурляндом сразу резко столкнулась в споре за губернаторским столом в Ярославле. А Манасевича видела тоже, за обедом у одной парижской дамы. Но об охранническо-провокаторской деятельности последнего мы были предупреждены, я уже не вступала с ним в споры, а любопытно наблюдала его и слушала... с какой-то «Бурцевской» точки зрения...

В то время мы жили в Париже. И были уже близки с нашими друзьями эмигрантами, Савинковым и др.

Теперь охраннику доверен важный пост...

Несчастная страна, вот что...

3 Февряля.

На днях уехала К. опять заграницу. Вечером, перед ее отъездом (она у нас ночевала) приехал Керенский.

С того весеннего знакомства, когда мы взяли Керенского в автомобиль и похитили на «Зеленое Кольцо», — Керенский с К. уже много видались, и в Москве, где она жила, и здесь.

Керенский приехал поздно, с какого-то собрания, почти без голоса (и вообще-то он больной). Мы сидели вчетвером (Дмитрий уже лег спать). Я отпаивала Керенского бутылкой какого-то завалящего вина.

Сразу образовались две партии, а бедная К. сделалась объектом, за который они боролись.

К. едет «туда» ... что она скажет «призывистам» о здешнем. (Писем, ведь, везти нельзя).

Я, конечно, соединилась с Керенским, на другой стороне был вечный противник — Д. В., один из «приемлющих» войну, один из желающих помогать войне все равно с кем. Я уважаю его страдание, но я боюсь его покорной слепоты...

Мы спорили, наперерыв стараясь, чтобы К. поняла и передала обе точки зрения, — но в конце концов, мы же ее окончательно запутали.

Господи, да и как передать сознательное *ощущение* волоска, на котором все висит? Сознательное, но недоказуемое. Видишь, — а другой не видит. А издали, как ни расписывай, и самый зрячий не увидит. Ничего. О нашем, русском, внутреннем *военном* положении...

...Споры только сбивают с толку. Замечательная русская

черта: непонимание точности, слепота ко всякой мере. Если я не «жажду победы» — значит, я «жажду поражения». Малейшая общая критика «побединцев», просто разбор положения — повергает в ярость и все кончается одним: если ты не националист — значит, ты за Германию. Или открыто будь «пораженцем» и садись в тюрьму, как чертова там Роза Люксембург села, — или закрой глаза и кричи «ура», без рассуждений.

То «или-или», — какого в жизни не бывает.

Да я сейчас даже именно войной занята, и не решением принципиальных вопросов, нет: близким, узким, — сейчасной Россией (при войне). Какая-то ЧРЕВАТОСТЬ в воздухе; ведь нельзя же только — ЖДАТЬ!

27 Февраля.

Кажется, скоро я свою запись прекращу. Не ко времени. Нельзя дома держать. Сыщики не отходят от нашего подъезда.

И скоро я — который раз!
Сберу бумажные завалы
И отвезу — который раз!
Чтоб спрятали их генералы.

Право, придется все сбирать, и мои многочисленные стихи, и эту запись (о, первым делом!), и всякую, самую частную литературу. У родственных Д. В. генералов вернее сбережется.

Следят, конечно, не за нами... Хотя теперь следят за всеми. А если найдут о Грише непочтительное...

Хотела бы я знать, как может понять нормальный англичанин вот это чувство *слежения* за твоими мыслями, когда у него этого опыта не было, и у отца, и у деда его не было?

Не поймет. А я вот чувствую глаза за спиной, и даже сейчас (хотя знаю, что сейчас реально глаз нет, а завтра это будет запечатано до лучших времен и увезено из дома) — я *все-таки* не свободна, и *не* пишу все, что думаю.

Нет, не испытав —

(На случайном листке).

Июль, 16 г.

Вернулись из Кисловодска, жаркое лето, едем через несколько дней на дачу.

Сейчас, в светлый вечер, стояли с Димой на балконе. Долго-долго. Справа, из-за угла огибая решетку Таврического сада, выходили стройные серые четырехугольники солдат, стройно и мерно, двигались, в равном расстоянии друг от друга, — по прямой, как стрела, Сергиевской — в пылающее закатным огнем небо.

Они шли гулко и пели. Все одну и ту же, одну и ту же песню. Дальние, влево, уже почти не видны были, тонули в алости, а справа все лились, лились новые, выплывали стройными колоннами из-за сада.

Прощайте, родные,
Прощайте, друзья,
Прощай, дорогая
Невеста моя...

Так и не было конца этому прощанью, не было конца этому серому потоку. Сколько их! До сих пор идут. До сих пор поют.

1 Октября. (Синяя книга).

Вчера у нас был свящ. Агеев, — «Земпоп», как он себя называет. Один из уполномоченных Земск. Союза (единственный поп). Перекочевал в Киев, оттуда действует.

Большой жизненный инстинкт. Рассказывал голосом надежды вещи странные и безнадежные. Впрочем, — надежда всегда есть, если есть мужество глядеть данному в глаза.

Душа человеческая разрушается от войны — тут нет ничего неожиданного. Для видящих. А другие — что делать! пусть примут это, неожиданное, хоть с болью — но как факт. Пора.

Лев Толстой в «Одумайтесь» (по поводу японской войны) потрясающе ярок в отрицательной части и детски-беспомощен во второй, положительной. Именно детски. Требование чуда (внешнего) от человечества не менее «безнрав-

ственно» (терминология Вейнингера) нежели требование чуда от Бога. Пожалуй, еще безнравственнее и а-логичнее, ибо это — развращение воли.

Кто спорит, что ЧУДО могло бы прекратить войну. Момент неделанья, который требует Толстой от людей сразу, сейчас, в то время, когда уже делается война — чудо. Взывать к чуду — развращать волю.

Все взяты на войну. Или почти все. Все ранены. Или почти все. Кто не телом — душой.

Роет тихая лопата,
Роет яму не спеша.
Нет возврата, нет возврата,
Если ранена душа...

И душа в порочном круге, всякий день. Вот мать у которой убили сына. Глаз на нее поднять нельзя. Все рассуждения, все мысли перед ней замолкают. Только бы ей утешение.

Да, впрочем, я здесь кончаю мои рассуждения о войне, «как таковой». Давно пора. Все сказано. И остается. Вот уже когда «le vin est tiré...» и когда теперь все дело в том *как* мы его допьем.

Мало мы понимаем. Может быть, живем только по легкомыслию. Легкомыслие проходит (его отпущенный запас) — и мы умираем.

Не пишется о фактах, о слухах, о делах нашего «тыла». Мы верного ничего не знаем. А что знаем — тому не верим; да и таким все кажется ничтожным. Неподобным и нелепым.

Керенский после своей операции (туберкулез у него оказался в почке и одну почку ему вырезали) — более или менее оправился. Но не вполне еще, кажется.

Мы стараемся никого не видеть. Видеть — это видеть не людей, а голое страдание.

Интеллигенция загнана в подполье. Копошатся там, как белые, вялые мухи.

Если моя непосредственная жажда, чтобы война кончилась, жажда *чуда* — да простит мне Бог. Не мне — *нам,* ибо нас, обуянных этой жаждой, так много, и все больше... Молчу. Молчу.

3 Октября.

Мое странное состояние (не пишется о фактах и слухах, и все ничтожно) не мое только состояние: общее. Атмосферное.

В атмосфере глубокий и зловещий ШТИЛЬ. Низкие-низкие тучи — и тишина.

Никто не сомневается, что будет революция. Никто не знает, какая и когда она будет, и — не ужасно ли? — никто не думает об этом. Оцепенели.

Заботит, что нечего есть, негде жить, но тоже заботит полутупо, оцепенело.

Против самых невероятных, даже не дерзких, а именно *не* вероятных, шагов правительства нет возмущения, даже нет удивления. Спокойствие... отчаянья. Право, не знаю.

Очень «притайно». Дышет ли тайной?

Может быть, да, может быть, нет. Мы в полосе штиля. Низкие, аспидные тучи.

Единственно, что написано о войне — это потрясающие литании Шарля Пеги, французского поэта, убитого на Марне. Вот что я принимаю, ни на линию не сдвигаясь с моего бесповоротного и цельного отрицания идеи войны.

Эти литании были написаны за два года *до* войны. Таков гений.

Не заставить ли себя нарисовать жанровую картинку из современной (вориной) жизни? Уж очень банально, ибо воры — все. Все тащут, кто сколько захватит, от миллиона до рубля. Ниже брезгают, да есть ли ниже? Наш рубль стоит копейку.

Два дня идет мокрый снег. Вокруг — полнейшая пришибленность. Даже столп серединных упований, твердокаменный Милюков, — «сдал»: уже не хочет и созыва Думы теперь — поздно, мол.

Да новый наш министр-шалунишка Протопопов и не будет созывать. К Протопопову я вернусь (стоит!), а пока скажу лишь, что он, на министерском кресле, — этот символ и знак: все поздно, все невменяемы.

Дела на войне — никто их не может изъяснить. Никто их не понимает.

Аспидные тучи стали еще аспиднее — если можно.

16 Октября.

Все попрежнему. На войне германцы взялись за Румынию — плотно. У нас, конечно, нехватка патронов. В тылу — нехватка решительно всего. Карточный сахар.

Говорят о московских беспорядках. Но все как-то... неважно для всех.

Дм. С. ставит свою пьесу на Александринке. Тоже не важно.

Но не будем вдаваться в «настроения». Фактики любопытнее.

Протопопов захлебнулся от счастия быть министром (и это бывший лидер знаменитого думского блока!). Не вылезает из жандармского мундира (который со времен Плеве, тоже любителя, висел на гвоздике), — и вообще абсолютно неприличен.

Штюрмер выпустил Сухомлинова (история, оцени!). Царь не любил «белого дядю» Горемыкина; кажется, — он надоедал ему с докладами. Да, впрочем — кого он любит? Родзянку «органически не выносит»; от одной его походки у «charmeur'a» «голова начинает болеть» и он «ни на что не согласен».

С «дядей» приходилось мучиться, — кем заменить? Гришка, свалив Хвостова, — которого после идиотской охраннически-сплетнической истории, будто Хвостов убить его собирался, иначе не называл, как «убивцем», — верный Гришка опять помог:

«...Чем не премьер Владимирыч Бориска..?»

И вправду — чем? Гришкина замена Хвостова Протопоповым очень понравилась в Царском: необходимо сказать, что Протопопов неустанно и хламиду Гришкину целует, и сам «с голосами» до такой степени, что даже в нем что-то «гришенькино», «чудесное» мелькает... в Царском.

Штюрмер же тоже ревнитель церковно-божественного. За него и Питирим-митрополит станет. (Впрочем, для Питиримки Гришиного кивка за глаза довольно).

Ну и стал Штюрмер «хозяином». И выпустил Сухомлинова.

О М. Р. и говорить не стоит. Его с поклонами выпустят. Его дело миллионное.

Война всем, кажется, надоела выше горла. Однако, ни смерти, ни живота не видно... никому.

О нас и говорить нечего, но, думаю, что ни для кого из этой каши добра не выйдет.

22 Октября.

Вчера была премьера «Романтиков» в Александринке. Мы сидели в оркестре. Вызывать стали после II действия, вызывали яро и много, причем не кричали «автора», но все время «Мережковского». Зал переполнен.

Пьеса далеко не совершенная, но в ней много недурного. Успех определенный.

Но как все это суетливо. И опять — «ничтожно».

Третьего дня на генеральной — столько интеллигентско-писательской старой гвардии... Чьи-то седые бороды — и защитки рядом.

Был у нас Вол. Ратьков. (Он с первого дня на войне). Грудь в крестах. А сам, по моему, сумасшедший. Все они полусумасшедшие «оттуда». Все до слез доводящие одним видом своим.

По местам бунты. Семнадцатого бастовали заводы: солдаты не захотели быть усмирителями. Пришлось вызвать казаков. Не знаю, чем это кончилось. Вообще мы мало (все) знаем. Мертвый штиль, безлюбопытный, не способствует осведомлению.

Понемногу мы все в корне делаемся «цензурными». Привычка. Китайский башмачок. Сними его поздно — нога не вырастет.

В самом деле, темные слухи никого не волнуют, хотя всем им вяло верят. Занимает дороговизна и голод. А фронты... Насколько можно разобраться — кажется, все в падении.

...и дикий мир
В безумии своем застыл.

Люди гибнут, как трава, облетают, как одуванчики. Молодые, старые, дети... все сравнялись. Даже глупые и умные. Все — глупые. Даже честные и воры. Все — воры.

Или сумасшедшие.

29 Октября.

Умер в Москве старообрядческий еписк. Михаил (т.н. Канадский).

Его везла из Симбирска в Петербург сестра. Нервно-расстроенного. (Мы его лет 5-6 не видали, уже тогда он был не совсем нормального вида).

На ст. Сортировочной, под Москвой, он вышел и бесследно исчез. Лишь через несколько дней его подняли на улице, как «неизвестного», избитого, с переломанными ребрами, в горячечном бреду от начавшегося заражения крови. В больнице, в светлую минуту он назвал себя. Тогда приехал свящ. с Рогожского — его «исправить». В стар. больнице скончался.

Это был примечательный человек.

Русский еврей. Православный архимандрит. Казанский духовный профессор. Старообрядческий епископ. Прогрессивный журналист, судимый и гонимый. Интеллигент, ссылаемый и скрывающийся за границей. Аскет в Белоострове, отдающий всякому всякую копейку. Религиозный проповедник, пророк «нового» христианства среди рабочих, бурный, жертвенный, как дитя беспомощный, хилый; маленький, нервно-возбужденный, беспорядочно-быстрый в движениях, рассеянный, заросший черной круглой бородой, совершенно лысый. Он был вовсе не стар: года 42. Говорил он скоро-скоро, руки у него дрожали и все что-то перебирали...

В 1902 году церковное начальство вызвало его из Казани в Спб., как опытного полемиста с интеллигентными «еретиками» тогдашних рел-фил. Собраний. И он с ними боролся... Но потом все изменилось.

В 1908-9 году он бывал у нас уже иным, уже в кафтане стар. епископа, уже после смелых и горячих обвинений православной Церкви. Его «Я обвиняю...» многим памятно.

Отсюда ведут начало его поразительные попытки создать новую церковь «Голгофского Христианства». С внешней стороны это была демократизация идеи Церкви, причем весьма важно отрицание *сектанства* (именно в «сектанство» выливаются все подобные попытки).

Многие знают происходившее лучше меня: в эти годы путанность и детская порывистость Михаила удерживала нас от близости к нему.

Но великого уважения достойна память мятежного и бедного пророка. Его жертвенность была той ценностью, которой так мало в мире (а в христианских церквях?).

И как завершенно он кончил жизнь! Воистину «пострадал», скитаясь, полубезумный, когда «народ», его же «демократия» — ломовые извозчики — избили его, переломили 4 ребра и бросили на улице; в переполненной больнице для бедных, в коридоре, лежал и умирал этот «неизвестный». Не только «демократия» постаралась над ним: его даже не осмотрели, в 40-градусном жару веревками прикрутили руки к койке, — точно распяли действительно. Даже когда он назвался, когда старообрядцы пошли к старшему врачу, тот им отвечал: «ну, до завтра, теперь вечер, я спать хочу». Сломанные ребра были открыты лишь перед смертью, после 4-5 дневного «распятия» в «голгофской больнице».

Вот о Михаиле.

И теперь, сразу, о Протопопове. О нашем «возлюбленном» министре. Надо отметить, что он сделался тов. председателя Гос. Думы лишь выйдя из сумасшедшего дома, где провел несколько лет. Ярко выраженное религиозное умопомешательство. (Еп. Михаил никогда не был сумасшедшим. Его религия не исходила из болезни. Его нервность, быть может, была результатом всей его жизни, внешней и внутренней, целиком). Но я напрасно и вспомнила опять Михаила. Я хочу забыть о нем на Протопопове, а не «сравнивать» их.

Итак — карьера Пр-ва величественна. Из тов. председателя он скакнул в думский блок и заиграл роль его *лидера*. Затеял миллионную банковскую газету (рьяно туда закупались сотрудники).

Поехал с Милюковым официально в Англию. (По дороге что-то проврался, темная история, замазали). И вот, наконец, «полюбил государя и государь его полюбил» (понимай: Гришенька тоже). Тут он и сделался нашим министром вн. дел.

Созвал как-то на «дружеское» совещание прогрессивных думцев (Милюкова, конечно). Совещание застенографировано. Оно весело и неправдоподобно, как фарс. Точно в Кривом Зеркале играют произведение Тэффи. Да нет, тут скорее Джером-Джером... только он приличнее. Стоило бы сохранить стенограмму для назидания потомства.

Россия — очень большой сумасшедший дом. Если сразу войти в залу желтого дома, на какой-нибудь вечер безумцев,

— вы, не зная, не поймете этого. Как будто и ничего. А они все безумцы.

Есть трагически-помешанные, несчастные. Есть и тихие идиоты, со счастливым смехом на отвисших устах собирающие щепочки и, не торопясь, хохоча, поджигающие их серниками. Протопопов из этих «тихих». Поджигательству его никто не мешает, ведь его власть. И дарована ему «свыше».

Таково данное.

4 Ноября.

Первого открылась Дума. Милюков произнес длинную речь, чрезвычайно для него резкую. Говорил об «измене» в придворных и правит. кругах, о роли царицы Ал., о Распутине (да, и о Грише!), Штюрмере, Манасевиче, Питириме — о всей клике дураков, шпионов, взяточников и просто подлецов. Приводил факты и выдержки из немецких газет. Но центром речи его я считаю следующие, по существу ответственные, слова: «Теперь мы видим и знаем, что с этим пр-вом мы также не можем законодательствовать, как не можем вести Россию к победе».

Цитирую по стенограмме. Нового тут ничего нет, дело известное. Милюкову можно бы сказать с горечью: «теперь видите?» и прибавить: «не поздно ли?»

Но не в том дело. Для него пусть лучше поздно, чем никогда. А вот почему эти ответственные слова фактически — безответственны? Увидели, что «ничего не можем с ними» ... и продолжаем с ними? Как же так?

Речь произвела в Думе впечатление. Чхеидзе и Керенскому просто закрыли рот. Всем остальным не просто, а по печатному. Не только речь Милюкова, но и речи правых, и даже все попытки «своими средствами» передать что-либо о думском заседании — было истреблено. Даже заголовки не позволили.

Вечером из цензуры сказали: «вы поменьше присылайте, нам приказ поступать *по-зверски».*

На другой день вместо газет вышла небывало-белая бумага. Тоже и на третий день, и далее.

Министры не присутствовали на этом первом заседании Думы, но им тотчас все было доложено. Собравшись вечером экстренно, они решили привлечь Милюкова к суду по 103 ст.

(оскорбление величества). Не верится, ибо слишком это даже для них глупо.

Следующие заседания протекли столь же возбужденно (Аджемов, Шульгин) и столь же было в газетах.

«Блокисты» решительно стали в глазах Пр-ва — «крамольниками». Увы, только в глазах Пр-ва. Если бы с горчичное зерно попало в них «крамольства» действительно! Именно крошечное зернышко *в них* — целый капитал. Но капитала они не приобрели, а невинность потеряли очень определенно.

Сегодня даже было в газетах заявление Родзянко, что «отчеты не появляются в газетах по независящим обстоятельствам». Сегодня же и пр-венное сообщение: «не верить темным слухам о сепаратном мире, ибо Россия будет твердо и неуклонно...» и т.д.

Царь только вчера получил речь Милюкова и дал телеграмму, чтобы Шуваев и Григорович поскорее бросились в Думу и покормили ее шеколадом уверения, заверения и уважения. Эти так сегодня и сделали.

Штюрмеру, видно, не сдобровать. Уж очень прискандален. Хотят, нечего делать, его «уйти». Назначить Григоровича исп. долж. премьера, а выдвинуть снова Кривошеина. Отчего это у нас все или «поздно» — или «рано»? Никогда еще не было — «пора».

Милюков увидел правду — «поздно» (и сам не отрицает), но дальше увидения — идти «рано». Два-три года тому назад, когда лезли с Кривошеиным, было ему «рано». Теперь никто, ни он сам, не сомневаются, что давным-давно — «поздно».

Вот в этом вся суть: у нас, русских, нет внутреннего понятия о времени, о часе, о «пора». Мы и слова этого почти не знаем. Ощущение это чуждо.

Рано для революции (ну, конечно) и поздно для реформ (без сомнения!).

Рано было бороться с пр-вом даже так, как сейчас борются Милюков и Шульгин... и уже поздно — теперь.

Нет выхода. Но и не может быть его у народа, который не понимает слова «пора» и не умеет произнести в пору это слово.

Что нам пишут о фронте — мы почти не читаем. Мы с ним давно разъединены: умолчаниями, утомлениями, беспорядочно-страшным тыловым хаосом. Грозным.

Да, грозным. Если мы ничего не сделаем — сделается *«что-то»* само. И лик его темен.

14 Ноября.

Я уезжаю в Кисловодск. Не стоит брать с собой эту книгу. Записывать, не около решетки Таврического Дворца, можно лишь «психологию» (логические выводы все уже сделаны), а психология скучна. Вне Петербурга у нас ничего не *случается,* это я давно заметила, ничего, имеющего значения. Все только приходит из Петербурга, зачавшись в нем. И знать, и видеть, и понимать (и писать) я могу только здесь.

Пока что: Штюрмер ушел, назначен Трепов (тоже фрукт!). Блокисты, по своему обыкновению, растеряны (заседаний не будет до 19-го). Будто бы уходит и Протопопов (не верю). Министра иностранных дел не имеем (это теперь-то!).

Румын мы посадили в кашу: немцы уже перешли Дунай.

Было у нас заседание Совета Религ.-Фил. Об-ва (насчет собрания в память еп. Михаила).

Не знаю, как нынешнюю зиму сложатся собрания нашего Общества. Думаю, мало что выйдет. Первая «военная» зима, 14-15, прошла очень остро, в борьбе между «нами», религиозными осудителями войны, как таковой, и «ними», старыми «националистами», вечными. Вторая зима (15-16) началась, после долгих споров, вопросом «конкретным», докладом Дм. Вл. Философова о церкви и государстве, по поводу «записки» думских священников, весьма слабой и реакционной. Были, с одной стороны, эти священники, беспомощно что-то лепетавшие, с другой стороны видные думцы. Между прочим говорил тогда и Керенский.

Должна признаться, что я не слышала ни одного слова из его речи. И вот почему: Керенский стоял не на кафедре, а вплотную за моим стулом, за длинным зеленым столом. Кафедра была за нашими спинами, а за кафедрой, на стене, висел громадный, во весь рост портрет Николая II. В мое ручное зеркало попало лицо Керенского и, совсем рядом, — лицо Николая. Портрет очень недурной, видно похожий (не Серовский ли?). Эти два лица *рядом,* казавшиеся даже на одной плоскости, т.к. я смотрела в один глаз, — до такой степени

заинтересовали меня своим гармоничным контрастом, своим интересным «аккордом», что я уже и не слышала речи Керенского. В самом деле, смотреть на эти два лица рядом — очень поучительно. Являются самые неожиданные мысли, — именно благодаря «аккорду», в котором, однако, все — вопящий диссонанс. Не умею этого объяснить, когда-нибудь просто вернусь к детальному описанию обоих лиц — вместе.

На заседание нынешнего Совета явились к нам два старообрядческих епископа: Инокентий и Геронтий. И два с ними начетчика. Один сухенький, другой плотный, розовый, бородатый, но со слезой, — меховщик Голубин.

Я тщательно проветрила комнаты и убрала даже пепельницы, не только папиросы.

Сидели владыки в шапочках, кои принесли с собой в саквояжике. Синие пелеринки (манатейки) с красным кантиком. Молодые, истовые. Пили воду (вместо чая). Решительно и положительно, даже как-то мило, ничего не понимают. Еще бы. Консервация — их суть, весь их смысл.

Заседание о Михаиле будет, вероятно, уже после нашего отъезда.

Прошлое, первое нынче осенью, не было очень интересно. Книга Бердяева интересна лишь в смысле ее приближения к полуизуверческой секте «Чемряков»-Щетининцев. Эту секту, после провала старца — Щетинина, подобрал прохвост Бонч-Бруевич (Щетинин — неудачливый Распутин) и начал обрабатывать оставшихся последователей на «божественную» социал-демократию большевистского пошиба. Очень любопытно.

И чего только нет в России! Мы сами даже не знаем. Страна великих и пугающих нелепостей.

ОТРЫВКИ ИЗ ЛЕТУЧИХ ЛИСТКОВ В КИСЛОВОДСКЕ

Декабрь 1916. — Начало янв. 1917.

...здесь трудно и тяжело жить, здесь слепо жить. Светит солнце, горит снег, кажется, что ничего не происходит. А, ведь, происходит! Глухие раскаты громов. Я могу здесь только приводить в порядок мысли. Или беспорядочно отме-

чать новые. Но о событиях, по газетам, да еще провинциальным, в углу — я писать не могу.

К вопросам «по существу» я уже не буду возвращаться. Только — о данном часе истории и о данном положении России и хочется говорить. Еще о том, как бессильно мы, русские сознательные люди, враждуем друг с другом... не умея даже сознательно определить свою позицию и найти для нее соответственное имя.

Целая куча разномыслящих окрещена именем «пораженцев», причем это слово давно изменило свой смысл первоначальный. Теперь пораженка я, Чхенкели и — Вильсон. А ведь слово Вильсона — первое честное, разумное, по земному святое слово о войне (мир без победителей и без побежденных, как единое разумное и желанное окончание войны).

А в России зовут «пораженцем» того, кто во время войны смеет говорить о чем-либо, кроме «полной победы». И такой «пораженец» равен — «изменнику» родины. Да каким голосом, какой рупор нужен, чтобы кричать: война ВСЕ РАВНО так в России не кончится! Все равно — будет крах! Будет! Революция или безумный бунт: тем безумнее и страшнее, чем упрямее отвертываются от бессомненного те, что ОДНИ могли бы, приняв на руки вот это идущее, сделать из него «революцию». Сделать, чтоб это была ОНА, а не всесметающее Оно.

И ведь видят как будто. Не Милюкова ли слова: «с этим пр-вом мы не можем вести войну..!» Конечно, не можем. Конечно, нельзя. А если нельзя — то ведь ясно же: *будет крах*. Наши политические разумные верхи ведут свою, чисто оппозиционную и абсолютно безуспешную политику (правый блок), единственный результат которой — их полное отъединение от низов. Поэтому то, что будет, — будет голо — снизу.

Будет, значит, крах; анархия... почем я знаю! Я боюсь, ибо во время войны революция *только снизу* — особенно страшна. Кто ей поставит пределы? *Кто* будет кончать ненавистную войну? Именно кончать?

«Другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь...» несчастный народ, несчастная Россия... Нет, не хочу. Хочу, чтобы это была именно Революция, чтобы она взяла, честная, войну в свои руки и докончила ее. Если она кончит — то уж прикончит. Убьет.

Вот чего хотим мы, сегодняшние так называемые «пораженцы». Пораженцы?

Нас убеждают еще наши противники, что надо теперь лишь в тиши «подготовлять» революцию, а чтобы была она — *после* войны. После того, как «Россия с этим пр-вом», с которым она «не может вести войну», доведет ее до конца? О, реальные политики! Такого выбора: революция теперь или революция после войны — совсем *нет.* А есть совсем другой. Вот мы, «пораженцы», и выбираем революцию, выбираем нашей горячей надеждой, что будет Она, а не страшное, м. б. длительное, м. б. даже бесплодное. *Оно.* Ведь и «по Милюкову» других выборов нет...

Или я во всем ошибаюсь? А если Россия может в позоре рабства до конца войны дотащиться? Может? Не может?

Допускаю, что может. Но допускаю формально вопреки разуму. А уже веры нет ни капли. Я этого не представляю себе, и ничего об этом не могу говорить.

А чуть гляжу в другое — я живая мука, и страх, что будет «Оно», гибло-ужасное, и надежда, что нет, что мы успеем...

(Продолжение, там же)

Даже не помнится об этом жалком дворцовом убийстве пьяного Гришки. Было — не было, это важно для Пуришкевича. Это не то.

А что России так не «дотащиться» до конца войны — это важно. Не дотащиться. Через год, через два (?), но *будет что-то,* после чего: или мы победим войну, или война победит нас.

Ответственность громадная лежит на наших государственных слоях интеллигенции, которые сейчас *одни* могут действовать. Дело решится в зависимости от того, в какой мере они окажутся внутри Неизбежного, причастны к нему, т.е. и властны над ним.

Увы, пока они думают не о победе над войной, а только над Германией. Ничему не учатся.

Хотя бы узкий переворот подготавливали. Хотя бы тут подумали о «политике», а не о своей доктринерской «честной прямоте» парламентских деятелей (причем у нас «нет парламента»).

Я говорю — год, два... Но это абсурд. Скрытая ненависть к войне так растет, что войну надо, и для окончания, *оканчивания,* как-то иначе повернуть. Надо, чтоб война стала войной для *конца* себя. Или ненависть к войне, распучившись, разорвет ее на куски. И это будет не конец: змеиные куски живут и отдельно.

Отсюда не видишь мелкого, но зато чувствуешь яркое общее. Вернувшись под аспидное небо, к моей синей книжке, к слепой твердости «приявших войну» — не ослепну ли я? Нет, просто буду молчать — и ждать бессильно. При каждом случае гадая в страхе и сомнении: еще не то. Или то? Нет, еше не сегодня. Завтра? Или послезавтра?

Я ничего не могу изменить, только знаю, что *будет.* А кто мог бы, ни линийку, — те не знают, что *будет.* Слова?

«...Слова — как пена,
Невозвратимы — и ничтожны...
Слова измена,
Когда деянья невозможны...»

* * *

Я не фаталистка. Я думаю, что люди (воля) что-то весят в истории. Оттого так нужно, чтобы видели жизнь те, кто может действовать.

Быть может, и теперь уже поздно. А когда придет Она или Оно — поздно наверное. Уже какое будет. Ихнее, — нижнее — только нижнее. А ведь война. Ведь война!

* * *

Если начнется ударами, периодическими бунтами, то авось, кому надо, успеют понять, принять, помочь... Впрочем, я не знаю, как будет. Будет. Надоело все об одном. Выбора нет.

1917.

С.-Петербург. Опять СИНЯЯ КНИГА.

2 Февраля. Четверг.

Мы дома. Глубокие снега, жестокий мороз. Но по утрам в Таврическом саду небо светит розово. И розовит мертвый, круглый купол Думы.

Было бы бесполезно выписывать здесь упущенную хронику. В общем — «все на своих местах». Ничего неожиданного для такой Кассандры, как я.

К удивленью, здесь речь Вильсона не получила заслуженного внимания. А ведь это же — «новое о войне», и притом в самой доступной, обязательной, — реальной плоскости. Речь эта, и вообще весь Вильсон с его делами и словами, примечательнейшее событие современности. Это — вскрытие сути нашего времени, мера исторической эпохи. Она дает формулу, соответствующую высоте культурного уровня человечества в данный момент всемирной истории.

И еще не «снижение» — война? Для упрощенной ясности, для тех, кто не хочет понимать простой линии, на которой я фактически с первого момента войны, и кто доселе шамкает о «пораженчестве», — я просто сую Вильсона и не разговариваю дальше.

Убийство Гришки и здесь продолжает мне казаться жалкой вещью. Заговорщиков и убийц, «завистливых родственников», разослали по вотчинам, а Гришку в Царском Селе вся высочайшая семья хоронила.

Теперь ждем чудес на могиле. Без этого не обойдется. Ведь мученик. Охота была этой мрази венец создавать. А пока болото — черти найдутся, всех не перебьешь.

Ради нового премьера Думу отложили на месяц. Пусть к делам приобыкнет, а то ничего не знает.

Да чуть не все новые, незнающие. Т.е., все самые старые. Протопопов набрал. А он крепок, особенно теперь, когда Гришенькино место пусто. Протопопов же сам с «божественной слезой» и на прорицания, хотя еще робко, но уже посягает.

Со стороны взглянуть — комедия. Ну, пусть чужие

смеются, Я не могу. У меня смех в горле останавливается.

Ведь это — мы. Ведь это Россия в таком стыде.

И что еще будет!

11 Февраля. Суббота.

Во вторник откроется Дума. Петербург полон самыми злыми (?) слухами. Да уж и не слухами только. Очень неопределенно говорят, что к 14-му, к открытию Думы будет приурочено выступление рабочих. Что они пойдут к Думе изъявлять поддержку ее требованиям... очевидно, оппозиционным, но каким? Требованиям ответственного министерства, что ли, или Милюковского — «доверия»? Слухи не определяют.

Мне это кажется не реальным. Ничего этого, думаю, не будет. Причин много, почему не будет, а главная причина (даже упраздняющая перечисление других) это — что рабочие думский блок *поддерживать не будут.*

Если это глупо, то в политической глупости этой повинны не рабочие. Повинны «реальные» политики, сам думский блок. Наши «парламентарии» не только не хотят никакой «поддержки» от рабочих, они ее боятся, как огня; самый слух об этом считают порочащим их «добрые имена». Кто-то где-то обмолвился, что в рабочих кругах опираются на какие-то слова или чуть ли не на письмо Милюкова. Боже, как он тщательно отбояривался, как внушительно заявлял протесты. Это было похоже не на одно отгораживание, а почти на «гонение» левых и низов.

На днях у нас был Керенский и возмущенно рассказывал недавнюю историю ареста рабочих из военно-промышленного комитета и поведение, всю позицию Милюкова при этом случае. Керенский кипятился, из себя выходил — а я только пожимала плечами. Ничего нового. Милюков и его блок верны себе. Были слепы и пребывают в слепоте (хотя *говорят,* что видят, значит «грех остается на них»).

Керенский непоседлив и нетерпелив, как всегда. Но он прав сейчас глубоко, даже в нетерпении и возмущении своем. Провожая его, в передней, я спросила (после операции мы еще не видались):

— Ну, как же вы теперь себя чувствуете?

— Я? Что ж, физически — да, лучше чем прежде, а так.. лучше не говорить.

Махнул рукой с таким отчаянием, что я вдруг вспомнила один из его давнишних телефонов: «а теперь будет то, что начинается с а...»

А рабочие все же не пойдут 14-го поддерживать Думу.

Следовало бы подвести счеты сегодняшнего дня, самые грубые, — но разве кратко. Ведь все то же повторять, все то же.

Партия государственная, либерально-парламентарная, вся ее работа и «правый» думский блок — остались бесплодными *абсолютно*. Напротив, если правит. курс изменился — то в сторону горшей реакции. Формула Чхенкели, за которую два года тому назад, даже у нас, в 4-х стенах, несчастные «либералы» клеймили этого левого депутата (лично ничем не замечательного) — «пораженцем», а «либерало-христиане» — дураком и монофизитом, — эта формула давно принята словесно тем же Милюковым: «С ЭТИМ ПР-ВОМ РОССИЯ НЕ МОЖЕТ ДАЛЬШЕ ВЕСТИ ВОЙНУ, НЕ МОЖЕТ ДАТЬ ЕЙ ХОРОШЕЕ ОКОНЧАНИЕ». Принята, признана — и больше ничего. От выводов отворачиваются. Дошло до того, что наша союзница Англия позволяет себе теперь говорить то же: «с этим правительством Россия...» и т.д.

Англия глубоко равнодушна к нам, еще бы! Но о войне-то она ведь очень заботится. Кое-что понимает.

Во вторник откроется Дума. Положение ее унизительно и безвыходно. При любом поведении (в рамках либерального блока) ее достоинство опять ущербится. Minimum не достигнут; а ради него было пожертвовано решительно всем. Даже не приблизились к minimum'у, а для него не побоялись вырыть пропасть между умеренными государственными политиками и революционной интеллигенцией, вместе со смутными русскими революционными низами (всех последних я, для краткости, и беру под один знак «левых элементов»).

Эти левые, от которых блок не уставал публично отрекаться, готовят свои выпады, своими средствами (что же им делать, одним? ничего не делать?). А эти средства сегодня, для сегодняшнего часа не полезны, а *вредны*.

Да в свое время отметится, — что̀ бы не свершилось далее — это «безумство мудрых», это упорство отталкивания, это «гонение» — как большая политическая ошибка.

Впрочем, ошибки и грехи не моя забота, и обвинять мне никого не дано. Записываю факты, каковыми они рисуются с точки зрения здравого смысла и практической логики. Кладу запись «в бутылку». Ни для чьих сегодняшних ушей она не нужна.

Слова и смысл их — все утратило значение. Люди закрутились в петлю. А если..?

Нет. Хорошо бы ослепнуть и оглохнуть. Даже без «бутылки», даже не интересоваться. Писать стихи «о вечности и красоте» (ах, если б я могла!), перестать быть «человеком».

Хорошие стихи — чем не позиция? Во всяком случае, моя теперешняя политическая позиция «здравого ума и твердой памяти» столь же фактически бездейственна (ведь она только моя и «в бутылке»), как и загадочная позиция «хороших стихов».

Если же писать — поменьше мнений. Поголее факты.

Меня жизнь оправдает.

22 Февраля. Среда.

Слухи о готовящихся выступлениях так разрослись перед 14-м, что думцы-блокисты стали пускать контр-слухи, будто выступления предполагаются провокаторские.

Тогда я позвонила к одному из «нереальных» политиков, т.е. к одному из левых интеллигентов. Правда, лично он, звезд не хватает и в политике его, всяческой, я весьма сомневаюсь, — даже в правильной информации сомневаюсь, — однако насчет «провокации» может знать.

Он ее отверг и был очень утвердителен насчет скорых возможностей: «движение в прекрасных руках».

Между тем 14-го, как я предрекала, ровно ничего не случилось.

Вернее — случилось большое «Ничего». Протопопов делал вид, что беспокоится, наставил за воротами пулеметов (особенно около Думы, на путях к ней; мы, например, кругом в пулеметах), собрал преображенцев...

Но и в Думе было — Ничего. Министров ни малейших. Охота им туда ездить, только время тратить! Блокистам дан был, для точения зубов, один продовольственный Риттих, но он мудро завел шарманку на два часа, а потом блокисты скисли. «Он сорвал настроение Думы», писали газеты.

Милюков попытался, но не смог. Повторение всем надоело. Кончил: «хоть с этим Правительством Россия не может победить, но мы должны вести ее к полной победе, и она победит» (?).

С тех пор, вот неделя, так и ползет: ни шатко, ни валко. Голицын в Думу вовсе носа не показал, и ни малейшей «декларацией» никого не удостоил.

Протопопов предпочитает ездить в Царское, говорить о божественном.

Белые места в газетах запрещены (нововведение) и речи думцев поэтому столь высоко обессмысленны, что даже Пуришкевич застонал: «не печатайте меня вовсе!»

Говорил дельное Керенский, но такое дельное, что Пр-во затребовало его стенограмму. Дума прикрыла, не дала.

С хлебом, да и со всем остальным, у нас плохо.

А в общем — опять *штиль*. Даже слухи, после четырнадцатого, как-то внезапно и странно сгасли. Я слышала, однако, вскользь (не желая настаивать), будто все осталось, а 14-го, будто, ничего не было, ибо «не желали связывать с Думой». Ага! Это похоже на правду. Если даже все остальное вздор, то вот это психологически верно.

Но констатирую полный внешний штиль всей недели. Опять притайно. Дышет ли тайной?

Может быть — да, может быть — нет. Мы так привыкли к вечному «нет», что не верим даже тому, что наверно знаем.

И раз делать ничего не можем — то боимся одинаково и «да» и «нет»...

Я, ведь, знаю, что... будет. — Но нет смелости желать, ибо... Впрочем, об этом слишком много сказано. Молчание.

Театры полны. На лекциях биток. У нас в Рел.-Фил. Об-ве Андрей Белый читал дважды. Публичная лекция была ничего, а закрытое заседание довольно позорное: почти не могу видеть эту праздную толпу, жаждующую «антропософии». И лица с особенным выражением — я замечала его на лекциях-проповедях Штейнера: выражение удовлетворяемой похоти.

Особенно же противен был, в программе неожиданно прочтенный патриото-русопятский «псалом» Клюева. Клюев — поэт в армяке (не без таланта), давно путавшийся с Блоком, потом валандавшийся даже в кабаре «Бродячей Собаки» (там он ходил в пиджачной паре), но с войны особенно ввер-зившийся в «пейзанизм». Жирная, лоснящаяся физиономия.

Рот круглый, трубкой. Хлыст. За ним ходит «архангел» в валенках.

Бедная Россия. Да опомнись же!

23 Февраля. Четверг.

Сегодня беспорядки. Никто, конечно, в точности ничего не знает. Общая версия, что началось на Выборгской, из-за хлеба. Кое-где остановили трамваи (и разбили). Будто бы убили пристава. Будто бы пошли на Шпалерную, высадили ворота (сняли с петель) и остановили завод. А потом пошли покорно, куда надо, под конвоем городовых, — все «будто бы».

Опять кадетская версия о провокации, — что все вызвано «провокационно», что нарочно, мол, спрятали хлеб (ведь остановили железнодорожное движение?), чтобы «голодные бунты» оправдали желанный правительству сепаратный мир.

Вот глупые и слепые выверты. Надо же такое придумать!

Боюсь, что дело гораздо проще. Так как (до сих пор) никакой картины организованного выступления *не* наблюдается, то очень похоже, что это обыкновенный голодный бунтик, какие случаются и в Германии. Правда, параллелей нельзя проводить, ибо здесь надо учитывать громадный факт саморазложения Правительства. И вполне учесть его нельзя, с полной ясностью.

Как в воде, да еще мутной, мы глядим и не видим, в каком расстоянии мы от *краха*.

Он неизбежен. Не только избежать, но даже изменить его как-нибудь — мы уже не в состоянии (это-то теперь ясно). Воля спряталась в узкую область просто желаний. И я не хочу высказывать желания. Не нужно. Там борятся инстинкты и малодушие, страх и надежда, там тоже нет ничего ясного.

Если завтра все успокоится и опять мы затерпим — по-русски тупо, бездумно и молча, — это ровно ничего не изменит в будущем. Без достоинства бунтовали — без достоинства покоримся.

Ну, а если без достоинства — не покоримся? Это лучше? Это хуже?

Какая мука. Молчу. Молчу.

Думаю о войне. Гляжу в ее сторону. Вижу: коллективная

усталость от бессмыслия и ужаса овладевает человечеством. Война верно выедает внутренности человека. Она почти гальванизированная плоть, тело, мясо — дерущееся.

Царь уехал на фронт. Лафа теперь в Царском Г-ке «пресекать». Хотя они «пресекать» будут так же бессильно, как мы бессильно будем бунтовать. Какое из двух бессилий победит?

Бедная земля моя. Очнись!

24 Февраля. Пятница.

Беспорядки продолжаются. Но довольно, пока, невинные (?). По Невскому разъезжают молоденькие казаки, (новые, без казачьих традиций) гонят толпу на тротуары, случайно подмяли бабу, военную сборщицу, и сами смутились.

Толпа — мальчишки и барышни.

Впрочем, на самом Невском рабочие останавливают трамваи, отнимая ключи.

Трамваи почти нигде не ходят, особенно на окраинах, откуда попасть к нам совсем нельзя. Разве пешком. А морозно и ветрено. Днем было солнце, и это придавало веселость (зловещую) невским демонстрациям.

Министры целый день сидят и совещаются. Пусть совещаются. Царь уже обратно скачет, но не из-за демонстраций, а потому, что у Алексея сделалась корь.

Анекдотично. Французы ничего не понимают. Да и кто поймет? Только мы одни. Отец и помазанник. Благодать выше законов. На что они при благодати!

Но не смеюсь. Пусть чужие...

Был mr. Petit, рассказывал о конференции. Он «получил телеграмму от Albert Thomas — Soyez interprèt auprès de Vr. Doumergue. Понял смысл. Doumergue с ним не расставался и, сразу по приезде, сказал, что хочет видеть крупных политический деятелей. В тот день, в вестибюле Европ. Гостиницы, Палеолог отозвал Petit в сторону и сообщил, что ввиду желания Doumergu'a видеть Гучкова, Милюкова etc., он их всех приглашает в посольство завтракать. Завтрак состоялся. Был и Поливанов. Беседа была откровенная.

(Я вставляю: совсем как «во всех Европах». И послы и «крупные политические деятели...» Ну, послам и Бог велел не понимать, что они не в Европах, а эти-то! Наши-то!

Доморощенные-то слепцы! Туда же не понимают ничего!)

Продолжаю рассказ Petit:

«Во время поездки в Москву, Petit сопровождал Doumergu'a. Из официальных interpret'ов были два офицера генерал. штаба, Муханов и Солдатенков. Doumergue их стеснялся и уверял, что шпионы. В Москве Doumergue беседовал у себя, отдельно, с кн. Львовым и Челноковым. Львов произвел на него сильное впечатление. Любопытно, что во время беседы в номер вошел, не постучавшись, Муханов. Извинился и вышел. Потом и во время беседы Челнокова с Мильераном то же произошло, тоже вошел — не Муханов, а Солдатенков».

Интересен инцидент в Купеческой управе. Было много гостей, между прочим, Шебеко. Булочкин сказал официальную речь. Doumergue (ничего не понял) отвечал. Этим должно было кончиться. Но через толпу пробрался Рябушинский, вынул из кармана записку и хорошо прочел резкую французскую речь. Нация во вражде с правительством, пр-во мешает нации работать и т.д. И что заем не имеет успеха.

Doumergue "avait un petit air absent", а Шебеко страшно злился. Тотчас по всем редакциям телефон, чтоб не только не печатать речи Рябушинского, но даже не упоминать его фамилии. Doumergue не знал, кто Рябушинский, и очень удивился, что это «membre du Conseil de l'Empire» et archimillionaire. Уехала делегация через Колу.

После этой длинной записи о старых уже делах (но как характерно!) возвращаюсь к сегодняшнему дню.

Утром говорили, что путиловцы стали на работу, но затем выяснилось, что нет. Еду по Сергиевской, солнечно, морозно. Вдали крики небольших кучек манифестантов. То там, то здесь.

Спрашиваю извозчика:

— А что они кричат?

— Кто их знает. Кто что попало, то и кричит.

— А ты слышал?

— Мне что. Кричат и кричат. Все разное. И не поймешь их.

Бедная Россия. Открешь ли глаза?

25 Февраля. Суббота.

Однако, дела не утихают, а как будто разгораются. Медленно, но упорно. (Никакого систематического плана не видно, до сих пор; если есть что-нибудь — то небольшое, и очень внутри).

Трамваи остановились по всему городу. На Знаменской площади митинг (мальчишки сидели, как воробьи, на памятнике Ал. III). У здания Гор. Думы была первая стрельба — стреляли драгуны.

Пр-во, по настоянию Родзянко, согласилось передать продовольственное дело городскому управлению. Как всегда — это поздно. Риттих клялся Думе, что в хлебе недостатка нет. Возможно, что и правда. Но даже если... то, конечно, и это «поздно». Хлеб незаметно забывается, забылся, как случайность.

Газеты завтра не выйдут, разве «Новое Время», которое долгом почтет наплевать на «мятежников». Хорошо бы, чтобы они пришли и «сняли» рабочих.

Все-таки я еще не знаю, чем и как может это (хорошо) окончиться. Ведь 1905-1906 год пережили, когда сомнения не было, что не только хорошо кончится, но уже кончилось. И вот...

Но не забуду: теперь *все* другое. Теперь безмернее все, ибо война безмерная.

Карташов упорно стоит на том, что это «балет», — и студенты, и красные флаги, и военные грузовики, медленно двигающиеся по Невскому за толпой (нет проезда), в странном положении конвоирующих эти красные флаги. Если балет... какой горький, зловещий балет! Или...

Завтра предрекают решительный день (воскресный). Не начали бы стрелять во всю. А тогда... это тебе не Германия, и уже выйдет не «бабий» бунт. Но я боюсь говорить. Помолчим.

Интересно, что правительство не проявляет явных признаков жизни. Где оно и кто, собственно, распоряжается — не понять. Это ново. Нет никакого прежнего Трепова — «патронов на толпу не жалеть». Премьер (я даже не сразу вспоминаю, кто у нас) точно умер у себя на квартире. Протопопов тоже адски пришипился. Кто-то, где-то что-то будто приказывает. Хабалов? И не Хабалов. Душит чей-то гигантский труп. И только. Странное ощущение.

Дума — «заняла революционную позицию...» как вагон трамвая ее занимает, когда поставлен поперек рельс. Не более. У интеллигентов либерального толка вообще сейчас ни малейшей связи с движением. Не знаю, есть ли реальная и у других (сомневаюсь), но у либерало-оппозиционистов нет связи даже созерцательно-сочувственной. Они шипят: какие безумцы! Нужно с армией! Надо подождать! Теперь все для войны! Пораженцы!

Никто их не слышит. Бесплодно охрипли в Думе. И с каждым нарастающим мгновением они как будто все меньше делаются нужны. («Как будто!» А ведь они нужны!).

Если совершится... пусть не в этот, в двадцатый раз, — опоздавшим либералам солоно будет это сознание. Неужели так никогда и не поймут они свою *ответственность* за настоящие и... будущие минуты?

В наших краях спокойно. Наискосок казармы, сзади казармы, напротив инвалиды. Поперек улицы шагает часовой.

Вместо Беляева назначен ген. Маниковский.

26 Февраля. Воскресенье.

День чрезвычайно резкий. Газеты совсем не вышли. Даже «Новое Время» (сняли наборщиков). Только «Земщина» и «Христианское Чтение» (трогательная солидарность!).

Вчера было заседание Гор. Думы. Длилось до 3-х час. ночи. Председательствовал Базунов. Превратилось в широкое политическое заседание при участии рабочих (от кооперативов), попечительств и депутатов. Говорил и Керенский. Постановлено было много всяких хороших вещей.

Сегодня с утра вывешено объявление Хабалова, что «беспорядки будут подавляться вооруженной силой». На объявление никто не смотрит. Взглянут — и мимо. У лавок стоят молчаливые хвосты. Морозно и светло. На ближайших улицах как будто даже тихо. Но Невский оцеплен. Появились «старые» казаки и стали с нагайками скакать вдоль тротуаров, хлеща женщин и студентов. (Это я видела также и здесь, на Сергиевской, своими глазами).

На Знаменской площади казаки вчерашние, — «новые» — защищали народ от полиции. Убили пристава, городовых оттеснили на Лиговку, а когда вернулись — их встретили криками: «ура, товарищи-казаки!»

Не то сегодня. Часа в 3 была на Невском серьезная стрельба, раненых и убитых несли тут же в приемный покой под каланчу. Сидящие в Евр. Гост. заперты безвыходно и говорят нам оттуда, что стрельба длится часами. Настроение войск неопределенное. Есть, очевидно, стреляющие (драгуны), но есть и оцепленные, т.е. отказавшиеся. Вчера отказался Московский полк. Сегодня, к вечеру, имеем определенные сведения, что — не отказался, а возмутился — Павловский. Казармы оцеплены и все Марсово Поле кругом, убили командира и нескольких офицеров.

Сейчас в Думе идет сеньорен-конвент, на завтра назначено экстренное общее заседание.

Связь между революционным движением и Думой весьма неопределенна, не видна. «Интеллигенция» продолжает быть за бортом. Нет даже осведомления у них настоящего.

Идет где-то «совет рабочих депутатов» (1905 год?), вырабатываются будто бы лозунги... (Для новых не поздно ли схватились? Успеют ли? А старые 12-ти-летние, сгодятся ли?).

До сих пор не видно, как, чем это может кончиться. На красных флагах было пока старое «долой самодержавие» (это годится). Было, кажется, и «долой войну», но, к счастью, большого успеха не имело. Да, предоставленная себе, не организованная стихия ширится, и о войне, о том, что, ведь, ВОЙНА, — и здесь, и страшная, — забыли.

Это естественно. Это понятно, слишком понятно, после действий правительства и после лозунга думских и не думских интеллигентов-либералов: все для войны! Понятен этот перегиб, но, ведь, он — страшен!

Впрочем, теперь поздно думать. И все равно, если это лишь вспышка и будет подавлена (если!) — ничему не научатся либералы: им опять будет «рано» думать о революции.

Но я сознаюсь, что говорю о думском блоке недостаточно объективно. Я готова признать, что для «пропаганды» он имел свое значение. Только *дела* он никакого, даже своего прямого, не сделал. А в иные времена *все дело в деле,* — исключительно.

Я готова признать, что даже теперь, даже в этот миг (если это миг предреволюционный) для «умеренных» наших деятелей — ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО. Но данный миг последний. Последнее милосердие. Они еще могут... нет, не верю, что мо-

гут, скажу *могли бы,* — кое-что спасти и кое-как спастись. Еще сегодня могли бы, завтра — поздно. Но ведь нужно рискнуть тотчас же, именно сегодня, признать этот миг предреволюционным наверняка. Ибо лишь с этим признанием они примут завтрашнюю революцию, пройдут сквозь нее, внесут в нее свой строгий дух.

Они не смогут, ибо в последний миг это еще труднее, чем раньше, когда они уже не смогли. Но я обязана констатировать, что еще не поздно. Без обвинений, с ужасом, вижу я, что не смогут. Да и слишком трудно. А между тем оно не простится — кем-то, чем-то. Если б простилось! Но нет. Безголовая революция, — отрубленная, мертвая голова.

Кто будет строить? Кто-нибудь. Какие-нибудь третьи. Но не сегодняшние Милюковы, и не сегодняшние под-Чхеидзе.

Бедная Россия. Незачем скрывать — есть в ней какой-то подлый слой. Вот те, страшные, наполняющие сегодня театры битком. Да, битком сидят на «Маскараде» в Имп. театре, пришли, ведь, отовсюду пешком (иных сообщений нет), любуются Юрьевым и постановкой Мейерхольда, — «один просцениум стоил 18 тысяч». А вдоль Невского стрекочут пулеметы. В это же самое время (знаю от очевидца) шальная пуля застигла студента, покупавшего билет у барышника. Историческая картина!

Все школы, гимназии, курсы — закрыты. Сияют одни театры и.. костры расположившихся на улицах бивуаком войск. Закрыты и сады, где мирно гуляли дети: Летний и наш, Таврический. Из окон на Невском стреляют, а «публика» спешит в театр. Студент живот свой положил ради «искусства»...

Но не надо никого судить. Не судительное время — грозное. И что бы ни было дальше — *радостное.* Ни полкапли этой странной, внеразумной, живой радости не давала ни секунды война. Нет оправдания войне — для современного человеческого существа. Все в войне кричит для нас: «назад!»

Все в революционном движении: «вперед!». Даже при внешних сближениях — вдруг, точно искра, *качественное* различие. Качественное.

27 Февраля. Понедельник.

12 ч. дня. Вчера вечером в заседании фракций говорили, что у пр-ва существует колебание между диктатурой Протопопова и министерством якобы «доверия» с ген. Алексеевым во главе. Но поздно ночью пришел указ о роспуске Думы до 1 апреля. Дума *будто бы* решила не расходиться. И, в самом деле, она, кажется, там сидит. Все прилегающие к нам улицы запружены солдатами, очевидно, присоединившимися к движению. Приходивший утром Н. Д. Соколов рассказывает, что вчера на Невском стреляла учебная команда Павловцев, которых в это время заперли. Это ускорило восстание полка. Литовцы и Волынцы решили присоединиться к Павловцам.

1½ ч. дня. Идут по Сергиевской мимо наших окон вооруженные рабочие, солдаты, народ. Все автомобили останавливаются, солдаты высаживают едущих, стреляют в воздух, садятся и уезжают. Много автомобилей с красными фалагами, заворачивающих к Думе.

2 ч. дня. Делегация от 25 тыс. восставших войск подошла к Думе, сняла охрану и заняла ее место.

Экстренное заседание Думы продолжается?

Мимо окон идет странная толпа: солдаты без винтовок, рабочие с шашками, подростки и даже дети от 7-8 лет, со штыками, с кортиками. Сомнительны лишь артиллеристы и часть семеновцев. Но вся улицв, каждая сияющая баба убеждена, что они пойдут «за народ».

4 ч. дня. Известия о телеграммах Родзянки к царю; первая — с мольбой о смене правительства, вторая — почти паническая — «последний час настал, династия в опасности»; и две его же телеграммы Брусилову и Рузскому с просьбой поддержать ходатайство у царя. Оба ответили, — первый: «исполнил свой долг перед царем и родиной», второй: «телеграмму получил поручение исполнил».

4 часа. Стреляют, — большей частью в воздух. Известия: раскрыты тюрьмы, заключенные освобождены. Кем? Толпы чаще всего — смешанные. Кое-где солдаты «снимали» рабочих (Орудийный зав.) — рабочие высыпали на улицу. Из Предварилки между прочим выпущен и Манасевич, его чуть ли не до дому проводили.

Взята Петропавловская крепость. Революционные войска сделали ее своей базой. Когда оттуда выпустили

Хрусталева-Носаря (председатель сов. рабочих депутатов в 1905 г.), рабочие и солдаты встретили его восторженно. По рассказу Вани Пугачева на кухне (Ваня — старинный знакомый, молодой матрос):

«Он столько лет страдал за народ, так вот, недаром». (Мое примечание: Носарь эти десять лет провел в Париже, где вел себя сомнительно, вернулся только с полгода; по всем сведениям — сумасшедший...) «Сейчас это его взяли и повезли в Думу. А он по дороге: постойте, говорит, товарищи, сначала идите в Окружный Суд, сожгите их гадкие дела, там и мое есть. Они пошли, подожгли, и сейчас горит. Ну, привезли в Думу — к депутатам. Те сейчас согласились, пусть он какую хочет должность берет и министров выбирает. Стал он, значит, глава совета рабочих депутатов. (Мое примечание: Ваня совсем не «серый» матрос; но какая каша, даже любопытно: «глава» сов. раб. депутатов — «выбирает» министров и садится на любую «должность»)... «Потом говорит: поедемте на Финляндский вокзал вызванные войска встречать, чтобы они сразу стали за народ. Ну, и уехали».

Окружный Суд, действительно, горит. Разгромлено также Охранное Отделение и дела сожжены.

4½ часа. Стрельба продолжается, но вместе с тем о прав. войсках ничего не слышно. Ганфман поехал в Думу на моторе, но «инсургенты» его высадили. В Думе идут жаркие прения. Умеренные хотят временное министерство с популярным генералом «для избежания анархии», левые хотят временного правительства из видных думцев и общественных деятелей.

Узнала, что Дума, получив приказ о роспуске, вовсе не решила «не расходиться», весьма заколебалась и даже начала, было, собираться восвояси; но ее почти механически задержали события, — первые подошедшие войска из восставших, за которыми полились без перерыва и другие. Передают, что Родзянко ходит, растерянно ударяя себя руками: «сделали меня революционером! Сделали!»

Беляев предложил ему сформировать кабинет, но Родзянко ответил: «поздно».

5 часов. В Думе образовался Комитет «для водворения порядка и для сношения с учреждениями и лицами». Двенадцать: Родзянко, Некрасов, Коновалов, Дмитрюков, Керен-

ский, Чхеидзе, Шульгин, Шидловский, Милюков, Караулов, Львов и Ржевский.

Комитет заседает перманентно. Тут же во дворце Таврическом (в какой зале — не знаю) заседает и Сов. Раб. депутатов. В какой они связи с Комитетом — не выясняется определенно. Но там и представители кооперативов.

5½ часов. Арестовали Щегловитого. Под революционной охраной привезли в Думу. Родзянко протестовал, но Керенский, под свою ответственность, посадил его в Министерский павильон и запер.

(Голицын известил Родзянку, что уходит, равно, будто бы, и другие министры, кроме Протопопова).

Все ворота и подъезды велено держать открытыми. У нас на дворе солдаты искали двух городовых, живущих в доме. Но те переоделись и скрылись. Солдаты, кажется, были выпивши, один стрельнул в окно. Угрожали старшему, ранили его, когда он молил о пощаде.

На улицах пулеметы и даже пушки, — все забранные революционерами, ибо, повторяю, о правит. войсках не слышно, а полиция скрылась.

Насчет других районов — слухи противоречивы: кто говорит, что довольно порядливо, другие — что были разгромы лавок, — ружейной на Невском и Гв. О-ва.

6 часов. В восставших полках, в некоторых, убиты офицеры, командиры и генералы. Слух (непроверенный), что убит японский посланник, принятый за офицера. Насчет артиллеристов и семеновцев все также неопределенно. На улицах ни одной лошади, ни в каком виде; только гудящие автомобили, похожие на дикобразов: торчат кругом щетиной блестящие иглы штыков.

7 часов. На Литейной 46 хотят выпустить «Известия» от комитета журналистов, — там Земгор, союзы и т.д. «Известия» думцев, которые они уже начали, было, печатать в типографии «Нов. Вр.», не вышли: явились вооруженные рабочие и заставили напечатать несколько революционных прокламаций «неприятного» тона, — по словам Волковысского (сотр. моск. газеты «Утро России»). Он же говорит, что «движение принимает стихийный характер». Родзянко и думцы теряют всякое влияние. Мало, мол, они нас предавали. Терпи, да терпи, да сами разговоры разговаривали...

(Это похоже на правду. И эта возможность, конечно, самая ужасная. Да, неизъяснимо все страшно. Небывало страшно. То «необойдимое», что, зналось, *все равно будет.* И лик его закрыт. Что же? «Она» — или «Оно»?

9 часов. Есть тайные слухи, что министры засели в градоначальстве, и совещаются под председательством Протопопова. Вызваны, кажется, войска из Петергофа. Будто бы начало сражения на Измайловском, но еще не проверено.

Воззвание от Совета Раб. депутатов. Очень куцое и смутное. «Связывайтесь между собой... Выбирайте депутатов... Занимайте здания...» О связи своей с Думским Комитетом — ни слова.

Все думают, что и с правительством еще предстоит бойня... Но странно, что оно так стерлось, точно провалилось. Если соберет какие-нибудь силы — не задумается начать расстрел Гос. Думы.

Вдоль Сергиевской уже смотрит пушка, но эта — революционная. (Ядра-то у всякой — те же).

О назначении, будто бы, Алексеева — слух смолк. Говорят о приезде то Ник. Ник-ча, то Мих. Ал-ча, то еще кого-то.

(Опять где-то стрельба).

11 час. веч. Вышли какие-то «Известия». Общее подтверждается. Это Комит. петерб. журналистов. Есть еще воззвание рабоч. депутатов: «Граждане, кормите восставших солдат...»

О связи (?), об отношениях между Комитетом Думским и С. Р. Д. — ни тут, ни там — ни слова.

12 час. У нас телефоны продолжаются, но верного ничего. От выводов и впечатлений хочется воздержаться. Одно только: сейчас Дума не во власти ли войск, — солдат и рабочих? *Уже* не во власти ли?

28 Февраля. Вторник.

Вчера не кончила и сегодня, очевидно, всего не напишу.

Грозная страшная сказка.

Н. Слонимский пришел (студент, в муз. команде преображенцев), принес листки. Рассказывал много интересного. Сам в экстазе, забыл весь свой индивидуализм.

«Известия» Сов. Раб. Депутатов: он заявляет, что заседает в Таврич. Дворце, выбрал «районных комиссаров», призывает бороться «за полное устранение стар. пр-ва и за созыв Учр. Собрания на основе всеобщего, тайного...» и т.д.

Все это хорошо и решительно, а вот далее идут «воззвания», от которых так и ударило затхлостью, двенадцатилетнею давностью, точно эти бумажки с 1905 года пролежали в сыром подвале (так, ведь, оно и есть, а новеньких и не успели написать, да не хватит их, писак этих, одних, на новенькие).

Вот из «манифеста» СДРП, ЦК-та: «...войти в сношения с пролетариатом воюющих стран против своих угнетателей и поработителей, царских правительств и капиталистических клик для немедленного прекращения человеческой бойни, которая навязана порабощенным народам».

Да ведь это по тону, и почти дословно — живая «Новая Жизнь» «социалдемократа-большевика» Ленина пятых годов, где еще Минский, напрасно стараясь сделать свои «надстройки», получил арест и гибель эмиграции. И та же приподнятая тупость, и невежество, и непонимание момента, времени, истории.

Но... даже тут, — не говоря о других воззваниях и заявлениях Сов. Раб. Деп., с которыми уже по существу нельзя не соглашаться, — есть действенность, есть властность; и она — противопоставлена нежному безвластию Думцев. Они сами не знают, чего желают, даже не знают, каких желаний пожелать. И как им быть, — с Царем? Без Царя? Они только обходят осторожно все вопросы, все ответы. Стоит взглянуть на Комитетские «Известия», на «Извещение», подписанное Родзянкой. Все это производит жалкое впечатление робости, растерянности, нерешительности.

Из-за каждой строчки несется знаменитый вопль Родзянки: «сделали меня революционером! Сделали!»

Между тем ясно: если не их будет сейчас власть — будет очень худо России. *Очень худо.* Но это какое-то проклятие, что они даже в совершившейся, помимо них, революции (и не оттого ли, что «помимо»?) не могут стать на мудрую, но революционную точку... состояния (точки «зрения» теперь мало).

Они — чужаки, а те, левые, — хозяева. Сейчас они погубители своего добра (не виноватые, ибо давно одни) — и все же хозяева.

Будет еще борьба. Господи! Спаси Россию. Спаси, спаси,

спаси. Внутренно спаси, по Твоему веди.

В 4 ч. известие: по Вознесенскому едет присоединившаяся артиллерия. На немецкой кирке пулемет, стреляют в толпу.

Пришел Карташев, тоже в волнении и уже в экстазе (теперь не «балет»!).

— Сам видел, собственными глазами, Питиримку повезли! Питиримку взяли и в Думу солдаты везут!

Это наш достойный митрополит, друг покойного Гриши.

Войска — по мере присоединения, а присоединяются они неудержимо, — лавиной текут к Думе. К ним выходят, говорят. Знаю, что говорили речи Милюков, Родзянко и Керенский.

Контакт между Комит. и Советом РД неуловим. Какой-то, очевидно, есть, хотя они действуют параллельно; например, и те и другие — «организовывают милицию». Но ведь вот: Керенский и Чхеидзе в одно и то же время и в Комитете, и в Совете. Может ли Комитет объявить себя Правительством? Если может, то может и Совет. Дело в том, что Комитет ни за что и никогда этого не сделает, на это не способен. А Совет весьма и весьма способен.

Страшно.

Приходят люди, люди... Записать всего нельзя. Они приходят с разных концов города и рассказывают все разное, и получается одна грандиозная картина.

Мы сидели все в столовой, когда вдруг совсем близко застрекотали пулеметы. Это началось в 5. Оказывается, пулемет и на нашей крыше, и на доме напротив, да и все ближайшие к нам (к Думе) дома в пулеметах. Их еще с 14 Протопопов наставил на всех высотах, даже на церквах (на соборе Спаса Преображения тоже). Алекс.-Невский участок за пулемет с утра подожгли.

Но кто стреляет? Хотя бы с нашего дома? Очевидно, переодетые — «верные», — городовые.

Мы перешли на другую половину квартиры, — что на улицу. Но не тут-то было. Началось с противоположного дома, прямо в окна. Улица опустела. Затем прошла вооруженная толпа. Часть ее поднялась наверх, по лестнице, искать пулемет на чердаке. Весь двор в солдатах. По ним жарят. Мы меняли половины в зависимости, с какой стороны меньше трескотня.

Тут же явился Боря Бугаев* из Царского, огорошенный всей этой картиной уже на вокзале (в Царском ничего, слухи, но стоят себе городовые).

С вокзала к нам Боря полз 5 часов. Пулеметы со всех крыш. Раза три он прятался, ложился в снег, за какие-то заборы (даже на Кирочной), путаясь в шубе.

Боря вчера был у Масловского (Мстиславского) в Ник. Академии. Тот в самых кислых, пессимистических тонах. И недоволен, и «нет дисциплины», и того, и сего... Между тем он — максималист. Я долго приглядывалась к нему и даже защищала, но года два тому назад стало выясняться, что эта личность весьма «мерцающая». Керенский даже ездил исследовать его «дело» на юг. Почему-то не довел до конца... Внешнее что-то помешало. Но из организации м. д.** его исключили, ибо достаточно было и добытого.

А бедный Боря, это гениальное, лысое, неосмысленное дитя — с ним дружит. С ним — и с Ив. Разумником, этим, точно ядовитой змеей укушенным, — «писателем».

В 8½ вечера — еще вышли «Известия». Да, идет внутренняя борьба. Родзянко тщетно хочет организовать войска. К нему пойдут офицеры. Но к Совету пойдут солдаты, пойдет народ. Совет ясно и властно зовет к Республике, к Учр. Собранию, к новой власти. Совет — революционен... А у нас, сейчас, революция.

Сидим в столовой — звонок. Три полусолдата, мальчишки. Сильно в подпитии. С ружьями и револьверами. Пришли «отбирать оружие». Вид, однако, добродушный. Рады.

Звонит Petit. В посольствах интересуются отношением «временного пр-ва» (?) к войне. Жадно расспрашивал, правда ли, что председатель Раб. Совета — Хрусталев-Носарь.

Еще звонок. Сообщают, что «позиция Родзянко очень шаткая».

Еще звонок (позднее вечером). Из хорошего источника. Будто бы в Ставке до вчерашнего вечера ничего не знали о *серьезности* положения. Узнав — решили послать три хо-

---

* Андрей Белый.

** Решительно не могу вспомнить сейчас (в 29 году), что это за организация «м. д.».

рошо подобранные дивизии для «усмирения бунта».

И еще позднее — всякие кислые известия о нарастающей стихии, о падении дисциплины, о вражде Совета к Думцам...

Но довольно. Всего не перепишешь. Уже намечаются, конечно, беспорядки. Уже много пьяных солдат, отбившихся от своих частей. И это Таврическое двоевластие...

Но какие лица хорошие. Какие есть юные, новые, медовые революционеры. И какая невиданная, молниеносная революция.

Однако, выстрел. Ночь будет, кажется, неспокойная.

P. S. Позднее ночью.

Не могу, приписываю два слова. Слишком ясно вдруг все понялось. Вся позиция Комитета, вся осторожность и слабость его «заявлений» — все это вот отчего: в них теплится еще надежда, что царь утвердит этот комитет, как официальное правительство, дав ему широкие полномочия, может быть, «ответственность» — почем я знаю! Но еще теплится, да, да, как самое желанное, именно эта надежда. Не хотят они никакой республики, не могут они ее выдержать. А вот, поевропейски, «коалиционное министерство» *утвержденное Верховной Властью...* — Керенский и Чхеидзе? Ну, они из «утвержденного»-то автоматически выпадут.

Самодержавие так всегда было непонятно им, что они могли все чего-то просить у царя. Только просить могли у «законной власти». Революция свергла эту власть — без их участия. Они не свергали. Они лишь механически остались на поверхности, — сверху. Пассивно-явочным порядком. Но они *естественно* безвластны, ибо *взять* власть они не могут, власть должна быть им дана, и дана сверху; раньше, чем они себя почувствуют *облеченными* властью, они и не будут властны.

Все их речи, все слова я могу провести с этой подкладкой. Я пишу это сегодня, ибо завтра может сгаснуть их последняя надежда. И тогда все увидят. Но что будет?

Они-то верны себе. Но что будет? Ведь я хочу, чтоб эта надежда оказалась напрасной... Но что будет?

Я хочу, явно, чуда.

И вижу больше, чем умею сказать.

1 марта. Среда.

С утра текут, текут мимо нас полки к Думе. И довольно стройно, с флагами, со знаменами, с музыкой. Дмитрий даже сегодня пришел в «розовые тона», в виду обилия войск дисциплинированных.

Мы вышли около часу на улицу, завернули за угол, к Думе. Увидели, что не только по нашей, но по всем прилегающим улицам течет эта лавина войск, мерцая алыми пятнами. День удивительный: легко-морозный, белый, весь зимний — и весь уже весенний. Широкое, веселое небо. Порою начиналась неожиданная, чисто внешняя пурга, летели, кружась, ласковые белые хлопья и вдруг золотели, пронизанные солнечным лучом. Такой золотой бывает летний дождь; а вот и золотая весенняя пурга.

С нами был и Боря Бугаев (он у нас эти дни). В толпе, теснящейся около войск, по тротуарам, столько знакомых, милых лиц, молодых и старых. Но все лица, и незнакомые, — милые, радостные, верящие какие-то... Незабвенное утро, алые крылья и марсельеза в снежной, золотом отливающей, белости...

Вернулись домой со встретившимся там Мих. Ив. Туган-Барановским. Застали уже кучу народа, студентов, офицеров (юных, тоже недавних студентов, когда-то из моего «Золотого Кольца»).

Уже ясно, более или менее, для всех то, что мне понялось вчера вечером насчет Комитета. Будет еще яснее.

Утренняя светлость сегодня — это опьянение правдой революции, это влюбленность во взятую (не «дарованную») свободу, и это и в полках с музыкой, и в ясных лицах улицы, народа. И нет этой светлости (и даже ее понимания) у тех, кто должен бы сейчас стать на первое место. Должен — и не может, и не станет, и обманет...

4 часа. Прибывают всякие войска. Все отчетливее разлад между Комитетом и Советом. Слух о том, что к Царю (он где-то застрял между Псковом и Бологим со своим поездом) посланы или поехали думцы за отречением. И даже будто бы он уже отрекся в пользу Алексея с регенством Мих. Ал. Это, конечно, (если это так) идет от Комитета. Вероятно, у них последняя надежда на самого Николая исчезла (поздно!), ну, так вот, чтоб хоть оформить приблизительно... Хоть что-

нибудь сверху, какая-нибудь «верховная санкция революции»...

У нас пулеметы протопоповские затихли, но в других районах действуют во всю и сегодня. «Героичные» городовые, мало, притом, осведомленные, жарят с Исаакиевского собора...

За несколько дней до событий Протопопов получил «высочайшую благодарность за успешное предотвращение беспорядков 14 февраля». Он хвастался, после убийства Гришки, что «подавил революцию сверху. Я подавлю ее и снизу». Вот наставил пулеметов. А жандармы о сю пору защищают уже не существующий «старый режим».

А полки все идут, с громадными красными знаменами. Возвращаются одни — идут другие. Трогательно и... страшно, что они так неудержимо текут, чтобы продефилировать перед Думой. Точно получить ее санкцию. Этот акт «доверия» — громадный факт; и плюс... а что тут страшного — я знаю, и молчу.

Боря смотрит в окно и кричит:

— Священный хоровод!

Все прибывают в Думу и арестованные министры, всякие сановники. Даже Теляковского повезли (на его доме был пулемет). Арестованных запирают в министерский павильон. Милюков хотел отпустить Щегловитова, но Керенский властно запер и его в павильон. О Протопопове — смутно, будто он сам пришел арестовываться. Не проверено.

6 часов. — Люди, вести, звонки. Зензинов, оказывается, в Совете. Приехал случайно из Москвы по лит. делам, здесь события и захватили его. Мы знали его лет 10, еще в Париже, еще до его ссылки в Русское Устье. С.-р. типа святого, слабого, аскетического. С Керенским его Дима же и познакомил, введя его в один из «кругов» ...Сейчас узнаем, что он в Совете — из числа крайних. Вот тебе и на!

Хрусталев сидит себе в Совете, и ни с места, хотя ему всячески намекают, что, ведь, он не выбран... Ему что.

По рассказам Бори, видевшего вчера и Масловского, и Разумника, оба трезвы, пессимистичны, оба против Совета, против «коммуны» и боятся стихии и крайности.

До сих пор ни одного «имени», никто не выдвинулся. Действует наиболее ярко (не в смысле той или другой крайности, но в смысле связи и соединения всех) — Керенский. В

нем есть горячая интуиция, и революционность сейчасная, я тут в него верю. Это хорошо, что он и в Комитете, и в Совете.

В 8 часов. Боре телефонировал из Думы Ив. Разумник. Он сидит там в виде наблюдателя, вклепанного между Комитетом и Советом; следит, должно быть, как развертывается это историческое, двуглавое, заседание. Начало заседания теряется в прошлом, не виден и конец; очевидно, будет всю ночь. Доходит, кажется, до последней остроты. Боря позвал Ив. Раз., если будет перед ночью перерыв, зайти к нам, отдохнуть, рассказать.

Ив. Раз. у нас не бывает (его трудно выносить), но теперь отлично, пусть придет. У нас все равно штаб-квартира для знакомых и полузнакомых (иногда вовсе незнакомых) людей, плетущихся пешком в Думу (в Таврич. Дворец). Кого обогреваем, кого чаем поим, кого кормим.

В 11 часов. Телефон от Petit. Был в Думе. Полный хаос. Родзянко и к нему (наверное, тоже хлопая себя по бедрам): «Voila m-r Petit, nous sommes en pleine révolution!».

Затем пришел Ив. Разумник, обезноженный, истомленный и еще простуженный. В Т. Дворце перерыв заседания на час. К 12 он опять туда пойдет.

Мы взяли его в гостинную, усадили в кресло, дали холодного чаю. Были только Дмитрий, Боря и я.

Надо сказать правду, навел он на нас ужаснейший мрак. И сам в полном отчаянии и безнадежности. Но передам лишь кратко факты, по его словам.

Совет Раб. Депутатов состоит из 250-300 (если не больше) человек. Из него выделен свой «Исполнительный Комитет», Хрусталева в Комитете нет. Отношения с Думским Комитетом — *враждебные.* Родзянко и Гучков отправились утром на Никол. вокзал, чтобы ехать к царю (за отречением? или как? и посланные кем?), но рабочие не дали им вагонов. (Потом, позднее, все же поехали, с кем-то еще). Царь и не на свободе, и не в плену, его не пускают железнодорожные рабочие. Поезд где-то между Бологим и Псковом.

В Совете и Комитете РД роль играет Гиммер (Суханов), Н. Д. Соколов, какой-то «товарищ Безымянный», вообще большевики. Открыто говорят, что не желают повторения 1848 года, когда рабочие таскали каштаны для либералов, а те их расстреляли. «Лучше мы либералов расстреляем». В войсках дезорганизация полная. Когда посылают на вокзал

600 человек, — приходят 30. Нынче в 6 ч. у. сказали, что из Красного идет полк с артиллерией и обозом. Все были уверены, что прав-ный. Но на вокзале оказалось, что «наш». Продефилировал перед Думой. Затем его отправили в... здание М-ва Путей Сообщения, превратив здание в казармы.

«Буржуазная» милиция не удалась. Действует милиция с-деков. Думский Комитет не давал ей оружия — взяла силой.

Была мысль позвать Горького в Совет, чтобы образумить рабочих. Но Горький в плену у своих Гиммеров и Тихоновых.

Керенский — в советском Комитете занимает самый правый фланг (а в думском — самый левый).

Совет уже разослал по провинции агентов с лозунгом «конфисковать помещичьи земли». А Гвоздев, только освобожденный из тюрьмы, не выбран в Исполн. Ком. — как слишком правый.

Вообще же Ив. Разумник смотрит на Совет с полным ужасом и отвращением, как не на «коммуну» даже, а скорей как на «пугачевщину».

Теперь все уперлось и заострилось перед вопросом о конструировании власти. (Совершенно естественно). И вот — не могут согласиться. Если все так — то они и не согласятся ни за что. Между тем *нужно* согласиться, и не через 3 ночи, а именно в эту ночь. Когда же еще?

Интеллигенты, вожаки Совета (интересно, насколько они вожаки? Быть может, они уже не вполне владеют всем Советом и собой?), обязаны идти на уступки. Но и думцы-комитетчики обязаны. И на большие уступки. Вот в каком принудительном виде, и когда, преподносится им «левый блок». Не миновали. И я думаю, что они на уступки пойдут. Верить невозможно, что не пойдут. Ведь тут и воли не надо, чтобы пойти. Безвыходно, они понимают. (Другой вопрос, если все «поздно» теперь).

Но положение безумно острое. И такой черной краской нарисовал его Разумник, что мы упали духом. Весь же вопрос в эту минуту: будет создана власть — или не будет.

Совершенно понятно, что уже ни один из Комитетов *целиком,* ни думский, ни советский, властью стать не может. Нужно что-то новое, третье.

Много было еще разных вестей, даже после ухода Разум-

ника, но не хочется писать. Все о главном думается. Приподымаю портьеру; открываю замерзшее окно; вглядываюсь в близкие, голые деревья Таврического сада; стараюсь разглядеть невиданый круглый купол Дворца. Что-то там сейчас под ним?

А сегодня туда привезли Сухомлинова. Одну минуту казалось, что его солдаты растерзают...

Протопопов, действительно, явился сам. С ужимочками, играя от страха сумасшедшего. Прямо к Керенскому: «ваше высокопревосходительство...» Тот на него накричал и приобщил к другим в павильоне.

Светлое утро сегодня. И темный вечер.

2 Марта. Четверг.

Сегодня утром все притайно, странно тихо. И погода вдруг сероватая, темная. Пришли два офицера-прапорщика (бывшие студенты). Уж, конечно, не «черносотенные» офицеры. Но творится что-то нелепое, неудержимое, и они растеряны. Солдаты то арестуют офицеров, то освобождают, очевидно, сами не знают, что нужно делать и чего они хотят. На улице отношение к офицерам явно враждебное.

Только что видели прокламацию Совета с призывом *не* слушаться думского Комитета.

А в последнем № советских «Известий» (да, теперь это уже не «Совет Раб. Депутатов», а «Совет Рабочих и *Солдатских* депутатов») напечатан весьма странный «приказ по гарнизону № 1». В нем сказано, между прочим, — «слушаться только тех приказов, которые не противоречат приказам Сов. Раб. и Солд. депутатов».

Часа в три пришел Руманов из Думы, обезноженный: автомобиль отняли. «Верст по 18 в день делаю». Оптимистичен, но не заражает. Позицию думцев определил очень точно, с наивной прямотой: «они считают, что власть выпала из рук законных носителей. Они ее подобрали и неподвижно хранят, и передадут новой законной власти, которая должна иметь от старой ниточку пре́емственности».

Прозрачно-ясно. Вот, чуть исчезла их надежда на Николая II самого — они стали добиваться его отречения и Алексея с регентством Михаила. Ниточка... если не канат. А не «облеченные» — безвластны.

Сидельцы в Министерском Павильоне (много их там) являют художественную картину: Горемыкин с сигарой. Стишинский — задыхающийся. Маклаков в отчаянии просил, чтобы ему дали револьвер. И все везут новых.

В здании Думы — разрастающийся хаос. Гржебин составляет «Известия Р. Деп.», Лившиц, Неманов, Поляков (кадеты) — просто «Известия» (д. Ком-та).

Демидов и Вася (Степанов, думец, кадет, мой двоюродный брат) ездили в Царское от Д. Ком. — назначить «коменданта» для охраны царской семьи. Поговорили с тамошним комендантом и как-то неопределенно глупо вернулись «вообще».

Люди являлись, сменялись, но ничего толкового не приносили. Беспокойство нарастало. Что же там, наконец? Решат ли выбрать правительство, или треснут окончательно?

Пришел невинный и детски-сияющий секретарь Льва Толстого — Булгаков.

Потом пришли Petit. Он отправился в Думу, она осталась пока у нас.

Вернулся Боря Бугаев: хотел проехать в Царское за вещами, но это оказалось невозможным, не попал.

Сидим, сумерки, огня не зажигаем, ждем, на душе беспокойно. Страх — и уже начинающееся возмущение.

Вдруг — это было уже в 6 — телефон, сообщение (самое верное, ибо от Зензинова идущее): «кабинет избран. Все хорошо. Соглашение достигнуто».

Перечислил имена. Не пишу их здесь (это, ведь, история), лишь главное: премьером Львов (москвич, правее кадетов), затем Некрасов, Гучков, Милюков. Керенский (юст.). Замечу следующее: *революционный* кабинет *не* содержит в себе *ни одного революционера,* кроме Керенского. Правда, он один многих стоит, но все же факт: все остальные или октябристы, или ка-деты, притом правые, кроме Некрасова, который был одно время кадетом левым.

Как личности — все честные люди, но не крупные, решительно. Милюков умный, но я абсолютно не представляю себе, во что превратится его ум в атмосфере революции. Как он будет шагать по этой горящей, ему ненавистной, почве? Да он и не виноват будет, если сразу споткнется. Тут нужен громадный такт; откуда — если он в *несвойственной* ему среде будет вертеться?

Вот Керенский — другое дело. Но он один.

Родзянки нет. Между тем, если говорить не по существу уже, а в смысле «имен», имя Родзянки ровно столь же «не пользующееся доверием демократии», сколько имена Милюкова и Гучкова.

Все это поневоле приводит в смущение. В сомнение насчет будущего...

Но не будем гадать ни о чем; слава Богу, первый кризис разрешен.

Вернувшись из Думы, Petit подтвердил имена и факт образования кабинета.

Вечером разные вести о подходящих, будто бы, правительственных войсках. Здешние не трусят: «придут — будут наши». Да какие, в самом деле, войска? Отрекся уже царь или не отрекся?

На кухне наш «герой» — матрос Ваня Пугачев. Страшно действует. Он уже в Совете, — депутатом. Пришел прямо из Думы. Говорит охриплым голосом. Чуть выпил. В упоении, но рассказывает очень толково, как их смутил сегодня Приказ № 1.

— Это тонкие люди иначе поняли бы. А мы прямо поняли. Обезоруживай офицеров. Лейт. Кузьмин расплакался. А есть у нас капитан II ранга Лялин — тот отец родной. Поехали мы в автомобиле, он говорит: вот адъютанта Саблина — убивайте. Он вам враг, а вот Ден, хоть и фамилия не русская, друг вам. Вы много сделали. Крови мало пролито. Во Франции сколько крови пролили...

Потом продолжает:

— Сейчас в Думе у меня товарищи просили, чтоб левый депутат удостоверил, что Учр. Собрание будет, и что верит новому правительству. Я прямо к Керенскому, а он шепотом говорит. Я к Суханову — и тот только рукой машет. Прислали нам Стеклова, стал говорить — и в обморок упал. Уж устал очень.

Поздно ночью — такие, наконец, вести, определенные: Николай подписал отречение на станции Дно в пользу Алексея, регентом Мих. Ал. — Что же теперь будет с законниками? Ведь главное, что сегодня примирило, вероятно, левых и с «именами», это — что решено Учредительное Собрание. Что же это будет за Учредительное Собрание при учрежденной монархии и регенстве?

3 Марта. Пятница.

Утром — тишина. Никаких даже листков. Мимо окон толпа рабочих, предшествуемая казаками, с громадным красным знаменем на двух древках: «да здравствует социалистическая республика». Пенье. Затем все опять тихо.

Наша домашняя демократия грубо, но верно определяет положение: «рабочие Мих. Ал. не хотят, оттого и манифест не выходит».

Царь, оказывается, отрекся и за себя, и за Алексея («мне тяжело расставаться с сыном») в пользу Михаила Александровича. Когда сегодня днем нам сказали, что новый кабинет на это согласился (и Керенский?), что Михаил будет «пешкой» и т.д. — мы не очень поверили. Помимо, что это плохо, ибо около Романовых завьется сильная черносотенная партия, подпираемая церковью — это представляется невозможным при общей ситуации данного момента. Само в себе абсурдным, неосуществимым.

И вышло: с привезенным царским отречением Керенский (с Шульгиным и еще с кем-то) отправился к Михаилу. Говорят, что не без очень определенного давления со стороны депутатов (т.е. Керенского), Михаил, подумав, тоже отказался: если должно быть Учредительное Собрание — то оно, мол, и решит форму правления. Это только логично. Тут Керенский опять спас положение: не говоря о том, что весь воздух против династии, Учр. Собр. при Михаиле делалось абсурдом; Керенский при Михаиле и с фикцией Учред. Собр. автоматически вылетает из кабинета; а рабочие Советов начинали черт знает что, уже с развязанными руками. Ведь в новое правительство из Совета пошел один Керенский, только — он — к своим вчерашним «врагам», Милюкову и Гучкову. Он один понял, чего требует мгновение, и решил, говорят, мгновенно, на свой страх; пришел в Совет и объявил там о своем вхождении в министерство post factum. Знал при этом, что другие, как Чхеидзе, например (туповатый, неприятный человек), решили ни в каком случае в П-во не входить, чтоб оставаться по своему «чистенькими» и действовать независимо в Совете. Но такова сила верно-угаданного момента (и личного полного «доверия» к Керенскому, конечно), что пламенная речь нового министра — и тов. председателя Совета — вызвала бурное одобрение Совета, который сделал ему

овацию. Утвердил и одобрил то, на что «позволения» ему не дал бы, вероятно.

Итак, с Мих. Алек. выяснено. Керенский на прощанье, крепко пожал вел. князю руку: «вы благородный человек».

Тотчас поползли вести, что военный министр Гучков и мин. ин. дел Милюков уходят. Это очень, слишком, похоже на правду. Однако, оказалось не правдой. Хотела нписать «к счастью», да и в самом деле, это было бы новым узлом сейчас, но... я не понимаю, как будут министерствовать Гучков и Милюков, *не чувствуя* себя министрами. Ведь они не «облечены» властью никем, а пока не «облечены» — в свою власть они не верят и никогда не поверят. Это кроме факта, что они не знают, не видят того места и времени, когда и где им суждено действовать, *органически* не понимают, что они — во «время» и в «стихии» РЕВОЛЮЦИИ.

Посмотрим.

Кто о чем, а посольства только о войне. Французам наплевать, что у нас внутри, лишь бы Россия хорошо дралась, и всячески пристают, какие известия с фронта. Их успокоили, что в данный момент положение «утешительное», а на Кавказе даже «блестящее». (Дима же и передавал им нужные справки!).

Французы близоруки. В *их же* интересах следовало бы им к нашему внутреннему внимательнее относиться. В военных интересах. Ведь это безумно связано. Теперь не понимая, они и потом ничего не поймут. Заботятся *сейчас* о кавказском фронте! Как будто это им что-нибудь объяснит и предскажет. О войне надо заботиться *отсюда*.

Много мелких вестей и глупых слухов. Например, слух, что «Вильгельм убит». Постарались! Из правых кругов, сановничьих, Дима много узнавал комического и трагического. Но это в его записи. Уж слишком широк диапазон соприкосновений в нашем доме: от Сухановых, даже от Вань Пугачевых — до посольств и сановников с генералами. Мне не угнаться.

Любопытно, что до сих пор Правительство не может напечатать ни одного приказа, не может заявить о своем существовании, ровно ничего не может: все типографии у Ком. Рабочих, и наборщики ничего не соглашаются печатать без его разрешения. А резрешение не приходит. В чем же дело — неясно. Завтра не выйдет ни одна газета.

Московские пришли: старые, от 28 ф. — точно столетние. А новые — читаешь, и кажется — лучше нельзя, ангелы поют на небесах и никакого Совета Раб. Депут. не существует.

Сегодня революционеры реквизировали лошадей из цирка Чинизелли и гарцовали воистину «на конях», — дрессированных. На Невском сламывали отовсюду орлов, очень мирно, дворники подметали, мальчишки крылья таскали, крича: «вот крылышко на обед».

Боря, однако, кричит: «какая двоекрылая у нас безголовица!»

Именно.

«Секрет» Протопопова, который он пожелал, придя в Думу арестоваться, открыть «его превосходительству» Керенскому, заключался в списке домов, где были им наставлены пулеметы. Затем он сказал: «я оставался министром, чтобы сделать революцию. Я сознательно подготовил ее взрыв».

Безумный шут.

Теляковского выпустили. Он напялил громадный красный бант.

Много еще всего.. В церкви о сю пору «само-державнейшаго» ... Тоже не «облечены» приказом и не могут отменить. Впрочем, где-то поп на свой страх, растерявшись, хватил: «Ис-пол-ни-тельный Ко-ми-тет...»

Господи, Господи! Дай нам разум.

4 Марта. Суббота.

Утром — ничего, газет нету, вестей нету. Смутные слухи о трениях с Сов. Наконец, как будто выясняется: спор — насчет времени. Учр. С., немедля — или после войны.

Вот вышли «Известия». Ничего, хороший тон. Раб. Сов. пока отлично себя держит. Доверие к Керенскому, вошедшему в кабинет, положительно спасает дело.

Даже Д. В., вечный противник Керенского, вечно споривший с ним, сегодня признал: «А. Ф. оказался живым воплощением революционного и государственного пафоса. Обдумывать некогда. Надо действовать по интуиции. И каждый раз у него интуиция гениальна. Напротив, у Милюкова нет интуиции. Его речь — бестактна в той обстановке, в которой он говорил».

Это подлинные слова Д. В., и — ведь это только то сознание, к которому должны, обязаны, хоть теперь, придти все ка-деты и кадетствующие. И о сю пору не приходят, и не верю я, что придут. Я их ненавижу от страха (за Россию), совершенно так же, как их действенных антиподов, крайних левых («голых» левых с «голыми» низами).

В Керенском — потенция моста, соединение тех и других, и преображения их во что-то единое третье, революционно-творческое, (единственно-нужное сейчас).

Ведь вот: между ЭВОЛЮЦИОННО-ТВОРЧЕСКИМ и РЕВОЛЮЦИОННО-РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ — *пропасть* в данный момент. И если не будет наводки мостов, и не пойдут по мостам обе наши теперешние, слепые, неподвижности, претворяясь друг в друга, создавая третью силу,

РЕВОЛЮЦИОННО-ТВОРЧЕСКУЮ, —

Россия (да и обе неподвижности) свалятся в эту пропасть.

Часа в три лазарет инвалидов, что против нас, высыпал на улицу. Одноногие, калеки, тоже пошли в Думу, и знамя себе устроили красное, и тоже «республика», «земля и воля» и все такое. Мы отворили занесенные сугробами окна (снегу сегодня, снегу намело — небывало!), махали им красным. Стали они красных лент просить, мы им бросили все, что имели, даже красные цветы гвоздики (стояли у меня с первого представления «Зел. Кольца»).

Ваня Пугачев каждый день является к нам из Думы (сидит в Сов. Р. Д.).

Рассуждает: «дом Романовых достаточно себя показал. Не мужественно Николай себя вел. Ну, мы терпели, как крепостные. Довольно. А только Родзянке народ не доверился. Вот Керенский и Чхеидзе — этим народ поверил, как они ни в чем не замечены. Это дело совсем иное. А войну сразу прекратить немыслимо, Вильгельм брат двоюродный, если он власть возьмет — он нам опять Романова посадит, очень просто. И опять это на триста лет».

Не вижу что-то другого нашего Ваню — Румянцева (солдат-рабочий). И Сережу Глебова. Последний очень интеллигентен.

Какая сегодня опять белоперистая вешняя пурга. И сиянье.

5 Марта. Воскресенье.

Вышли газеты. За ними — хвосты. Все похожи в смысле «ангелы поют на небесах и штандарт Времен. Пр-ва скачет». Однако, трения не ликвидированы. Меньшинство Сов. Р. Д., но самое энергичное, не позволяет рабочим печатать некоторые газеты и, главное, становиться на работы. А пока заводы не работают — положение не может считаться твердым.

В а-политических низах, у просто «улицы», переходящей в «демократию», общее настроение: против Романовых (отсюда и против «царя», ибо, к счастью, это у них неразрывно соединено). Потихоньку всплывает вопрос церкви. Ее собственная позиция для меня даже неинтересна, до такой степени заранее могла быть предугадана во всех подробностях. Кое-где на образах — красные банты (в церкви). Кое в каких церквах — «самодержавнейший». А в одной священник объявил причту: «ну, братцы, кому башка не дорога — пусть поминает, я не буду». Здесь священник проповедует покорность новому «благоверному правительству» (во имя невмешательства церкви в политику); там — плачет о царе-помазаннике, с благодатью... К такому плачу слушатели относятся разно: где-то плакали вместе с проповедником, а на Лиговке солдаты повели батюшку вон. Не смутился; можете, говорит, убить меня за правду... Не убили, конечно.

С жгучим любопытством прислушиваюсь тут к а-политической, уличной, широкой демократии. Одни искренно думают, что «свергли царя» — значит, «свергли и церковь» — «отменено учреждение». Привыкли сплошь соединять вместе, неразрывно. И логично. Хотя, говорят «церковь» — но весьма подразумевают «попов», ибо насчет церкви находятся в самом полном, круглом невежестве. (Естественно). У более безграмотных это более выпукло: «сама видела, написано: долой монахию. Всех, значит, монахов, по шапке». Или: «а мы нынче нарочно в церковь пошли, слушали-слушали, дьякон бормочет, поминать не смеет, а других слов для служения нет, так и кончили, почитай без службы...»

Солдат подхватывает:

— Понятное дело. Как пойдут, бывало, частить и старуху и родичей... Глядь — и обедня...

Пока записываю лишь наблюдения, без выводов. Вернусь.

Город еще полон кипеньем. Нынче мимо нас шла двухверстая толпа с пением и флагом — «да здравствует совет рабочих депутатов».

6 Марта. Понедельник.

Устала сегодня, а писать надо много.

Был Н. Д. Соколов, этот вечно здоровый, никаких звезд не хватающий, твердокаменный попович, присяжный поверенный — председательствующий в Сов. Раб. Депутатов.

Это он, с Сухановым-Гиммером, там «верховодит», и про него П. М. Макаров (тоже присяж. пов., и вся та же «совместная», лево-интеллигентская группа до революции) только что спрашивал: «до сих пор в красном колпаке? Не порозовел? В первые дни был прямо *кровавый*, нашей крови требовал».

На мой взгляд или «розовеет», или хочет показать *здесь*, что весьма розов. Смущается своей «кровавостью». Уверяет, что своим присутствием «смягчает» настроение масс. Приводил разные примеры выкручиванья, когда предлагалось броситься или на зверство (моментально ехать расстреливать павловских юнкеров за хранение учебных пулеметов) или на глупость (похороны «жертв» на Дворцовой, мерзлой, площади).

Рассказывал многое — «с того берега», конечно. Уверял, что составлению кабинета «мешали не мы. Мы даже не возражали против лиц. Берите, кого хотите. Нам была важна декларация нового правителства. Все ее 8 пунктов даже моей рукой написаны. И мы делали уступки. Например, в одном пункте Милюков просил добавить насчет союзников. Мы согласились, я приписал...»

Распространялся насчет промахов пр-ва и его неистребимого монархизма (Гучков, Милюков).

Странный, в конце концов, факт получился: существование рядом с Временным Прав-вом, двухтысячной толпы, властного и буйного перманентного митинга, — этого Совета Раб. и Солд. лепутатов. Н. Д. Соколов рассказывал мне подробно (полусмущаясь, полуизвиняясь), что он именно в напряженной атмосфере митинга написал *Приказ № 1* (где, что называется, хвачено). Приказ, будто бы, необходим был, так как, из-за интриг Гучкова, армия, в период междуцарствия,

присягнула Михаилу... «Но вы понимаете, в такой бурлящей атмосфере, у меня не могло выйти иначе, я думал о солдатах, а не об офицерах, ясно, что именно это у меня и вышло более сильно...»*

Сей «митинг» столь «властный», что к нему даже Рузский с запросами обращается. Сам себя избравший парламент. Советский Исп. Ком. иногда соглашается с Пр-вом — иногда нет. Выходит, что иногда можно слушаться Пр-ва, — иногда нет. Они, советские, «стоят на стороне народных интересов», как они говорят, и следят за действиями Правительства, которому «не вполне доверяют».

Со своей точки зрения, они, конечно, правы, ибо какие же это «революционные» министры, Гучков и Милюков? Но вообще-то тут коренная нелепость, чреватая всякими возможностями. Если бы только «революционность» митинга-совета восприняла какую-нибудь твердую, но одну линию, что-нибудь оформила и себя ограничила... но беда в том, что ничего этого пока не намечается. И левые интеллигенты, туда всунувшиеся, могут «смягчать», но ничего не вносят твердого и *не* ведут.

Да что они сами-то? Я не говорю о Соколове, но другие, знают ли они, чего хотят и чего не хотят?

Рядом еще чепуха какая-то с Горьким. Окруженный своими, заевшими его, большевиками Гиммерами и Тихоновыми, он принялся почему-то за «эстетство», выбрали они «комитет эстетов» для украшения революции; заседают, привлекли Алекс. Бенуа (который никогда не знает, что он, где он и почему он). Был на эстетном заседании и Макаров, и Батюшков. Но эти — чужаки, а горьковский кружок очень сплочен. Что-то противное, некместное, неквременное. Батюшков говорит, что от противности даже не досидел. Беседовал там с большевиками. Они страстно ждут Ленина — недели через две. «Вот бы дотянуть до его приезда, а тогда мы свергнем нынешнее правительство».

---

* Мое примечание от 10 сент. 17.:

— И вовсе не он даже и писал-то, — говорит Ганфман, — а Кливанский из «Дня». Но этот сразу покаялся и скрывает. Н. Д. же полухвастается, ибо только присутствовал.

Это по словам Батюшкова. Д. В. резюмирует: «итак, нашу судьбу станет решать Ленин». Что касается меня, то я одинаково вижу обе возможности — путь опоминанья — и путь всезабвенья. Если не

«...предрешена судьба от века», —

то каким мы путем пойдем — будет в громадной степени зависеть от нас самих.

Поворота к оформленью, к творчеству, пока еще не видно. Но, может быть, еще рано. Вон, со страстью думают только о «свержениях».

Рабочие до сих пор не стали на работу.

7 Марта. Вторник.

Мороз 11⁰ сегодня. Исключительная зима. Ни одной оттепели не было.

Положение то же. Или, разве, подчеркнуто то же. Сов. Раб. и С. издают приказы, их только и слушаются.

В Кронштадте и Гельсингфорсе убито до 200 офицеров. Гучков прямо приписывает это «Приказу № 1». Адм. Непенин телеграфировал: «Балтийский флот, как боевая единица, не существует. Пришлите комиссаров».

Поехали депутаты. Когда они выходили с вокзала, а Непенин шел к ним навстречу, — ему всадили в спину нож.

Здесь, между «двумя берегами», правительственным и «советским», нет не только координации действий (разве для далекого и грубого взора), но почти нет контакта.

Интеллигенция силой вещей оказалась на ЭТОМ берегу, т.е. на правительственном, кроме нескольких: 1) фанатиков, 2) тщеславцев, 3) бессознательных, 4) природно-ограниченных. В данный момент и все эти разновидности уже не владеют толпой, а она ими владеет. Да, Россией уже правит «митинг» со всей его митинговой психологией, а вовсе не серое, честное, культурное и бессильное (а-революционное) Вр. Пр-во. Пока, впрочем, не Россией, а лишь Петербургом правит; но Россия — неизвестность...

Контакта с вооруженным митингом у нас, интеллигентов правительственной стороны, очень мало и через отдельных интеллигентов-выходцев, ибо они очень охраняют «тот берег».

Есть еще средняя часть, безвластная абсолютно: распы-

ленные эс-эры, например. Они «туда» лишь вхожи. Большинство из них просто в ужасе, как Ив. Разумник и Мстиславский.

Но такое отсутствие контакта — преступная вещь. Сегодня нам в панике звонил Макаров: дайте знать в Думу, чтоб от Сов. Раб. Д. послали делегатов в Ораниенбаум, на автомобиле: солдаты громят тамошний дворец и никого не слушают.

Любопытно, что П. М. Макаров теперь правительственное лицо: Керенский сделал его комиссаром по охране дворцов (Н. Н. Львов ушел, не желая проводить коренной реформы в ведомстве Двора; что, мол, за революция, лучше просто «беречь гнездо». Хорош. На его место хотят Урусова или Головина, Ф. А.). Но хорош и «правительственный» Макаров. Звонит, для контакта с Советом, — нам! Уж, кажется, ни в какой мере не «официальны». Мы бросились к М-х-у, сообщились с Думой через какую-то «комнату» и Тихонова; потом, вечером, Тихонов зашел к нам в переднюю (видела его мельком) сказать, что все было исполнено.

Керенский ездил на днях в Зимний дворец. Взошел на ступени трона (только на ступени!) и объявил всей челяди, что «Дворец отныне национальная собственность», благодарил за сохранность в эти дни. Сделал все это с большим достоинством. Лакеи боялись издевок, угроз; услыхав милостивую благодарность, — толпой бросились Керенского провожать, преданно кланяясь. Керенский был с Макаровым (который это и передавал сегодня вечером у нас). Когда они ехали из дворца в открытом автомобиле — им кланялись и прохожие.

Керенский — сейчас единственный ни на одном из «двух берегов», а там, где быть надлежит: с русской революцией. Единственный. Один. Но это страшно, что *один*. Он гениальный интуит, однако, не «всеобъемлющая» личность: одному же вообще никому сейчас быть нельзя. А что на верной точке только один — прямо страшно.

Или будут многие и все больше, — или и Керенский сковырнется.

Роль и поведение Горького — совершенно фатальны. Да, это милый, нежный готтентот, которому подарили бусы и цилиндр. И все это «эстетное» трио по «устройству революционных празднеств» (похорон?) весьма фатально: Горький, Бенуа

и Шаляпин. И в то же время, через Тихоно Сухановых, Горький опирается на самую слепую часть «митинга».

К «бо-зарам» уже прилепились и всякие проходимцы. Например Гржебин, раскатывает на реквизированных автомобилях, занят по горло, помогает клеить новое, свободное, «министерство искусств» (пролетарских, очевидно). Что за чепуха. И как это безобразно-уродливо, прежде всего. В pendant к уродливому копанью могил в центре города, на Дворцовой площади, для «гражданского» там хороненья сборных трупов, держащихся в ожидании, — под видом «жертв революции». Там не мало и городовых. Офицеров и вообще настоящих «жертв» (отсюда и оттуда) родственники давно схоронили.

Дворцовую же площадь поковыряли, но, кажется, бросят: трудно ковырять мерзлую, замощенную землю; да еще под ней, всякие трубы... остроумно!

В России, по газетам, спокойно. Но и в Петербурге, по газетам, спокойно... И на фронте, по газетам, спокойно. Однако, Рузский просит прислать делегатов.

8 Марта. Среда.

Сегодня, как будто, легче. С фронта известия разноречивые, но есть и благоприятные. Советские «Известия» не дурного тона. Правда, есть и такие факты: захватным правом эсдеки издали № Сельского Вестника, где объявили о конфискации земли, и сегодня уже есть серьезные слухи об аграрных беспорядках в Новгородской губернии.

В типографии «Копейки» Бонч-Бруевич наставил пулеметов и объявил «осадное положение». Несчастная «Копейка» изнемогает. Да, если в таких условиях будут выходить «Известия», и под Бончем, то добра не жди. Бонч-Бруевич определенный дурак, но притом упрямый и подколодный.

Ораниенбаумский дворец как-будто и не горел, как будто это лишь паника Макарова и Карташева.

Бывают моменты дела, когда нельзя смотреть только на количество опасностей (и пристально заниматься их обсуждением). А я, на *этом* берегу, — ни о чем, кроме «опасности революции», не слышу. Неужели я их отрицаю? Но верно ли это, что все (здесь) *только* ими и заняты? Я невольно уступаю, я говорю и о «митинге» и о Тришке-Ленине (о Ленине —

это специальность Дмитрия: именно от Ленина он ждет самого худого), о проклятых «социалистах» (Карташев), о фронте и войне (Д. В.), и о каких-то планомерных «четырех опасностях» Ганфмана.

Я говорю, — но опасностей столько, что если говорить серьезно обо всех, то уже ни минуты времени ни у кого не останется.

Честное слово, не «заячьим сердцем и огненным любопытством», как Карташев, следила я за революцией. У меня был тяжелый скепсис (он и теперь со мной, только не хочу я его *примата*), а Карташевское слово «балет» мне было оскорбительно.

Но зачем эти рассуждения? Они здесь не нужны. Царь арестован. О Нилове и Воейкове умалчивается. Похорон на Дворцовой площади, кажется, не будет. Но где-нибудь да будут. От чего-от чего, а от похорон никогда русский человек не откажется.

9 Марта. Четверг.

Можно бояться, можно предвидеть, понимать, можно знать, — все равно: этих дней наших предвесенних, морозных, белоперистых дней нашей революции, у нас уже никто не отнимет. Радость. И такая... сама по себе радость, огненная, красная и белая. В веках незабвенная. Вот когда можно было себя чувствовать *со всеми,* вот когда... (а не в войне).

У нас «двоевластие». И нелепости Совета с его неумными прокламациями. И «засилие» большевиков. И угрожающий фронт. И... общее легкомыслие. Не от легкомыслия ли не хочу я ужасаться всем этим до темноты?

Но ведь я все вижу.

Время старое — я не забываю. Время страшное, я не забываю. И все-таки надо же хоть немного верить в Россию. Неужели она никогда не нащупает *меры,* не узнает своих времен?

Бог спасет Россию.

Николай был дан ей мудро, чтобы она проснулась.

Какая роковая у него судьба. *Был* ли он?

Он, молчаливо, как всегда, проехал тенью в Царскосельский Дворец, где его и заперли.

Вернется ли к нам цезаризм, самодержавие, державие?

Не знаю; все конвульсии и петли возможны в истории. Но это всегда лишь конвульсии, лишь петли, которыми заворачивается единый исторический путь.

Россия освобождена — но не очищена. Она уже не в муках родов, — но она еще очень, очень больна. Опасно больна, не будем обманываться, разве этого я хочу? Но первый крик младенца *всегда радость,* хотя бы и знали, что еще могут погибнуть и мать и дитя.

. . . .

В самом советском Комитете уже начались нелады. Бонч безумствует, окруженный пулеметами. Грозил Тихонову арестом. В то же время рекомендует своего брата, генерала «контр-разведки», «вместо Рузского». Кого-то из членов Комитета уже изобличили в провокаторстве, что тщательно скрывают.

Незавидное прошлое притершегося к большевикам Гржебина никого не интересует: напрасно...

Звонил французский посол Палеолог: «ничего не понимает» и требует «влиятельных общественных деятелей» для информации. Тоже хорош. Четыре года тут сидит и даже никого не знает. Теперь поздно спохватился. Думает (Д. В.), что к нему не пойдут — некогда. Подчас Вр. Правительство действует молниеносно (Керенский, толчки Сов. Р. Д.). Амнистия, отмена смертной казни, временные суды, всеобщее уравнение прав, смена старого персонала — порою, кажется, что история идет с быстротой обезумевшего аэроплана.

Но вот... я подхожу к самому главному, чего доселе почти намеренно не касалась. Подхожу к самому сейчас острому вопросу, — *вопросу о войне.*

Длить умолчаний дольше нельзя. Завтра в Совете, он, кажется, будет обсуждаться решительно. В Совете? А в Правительстве? Оно будет молчать.

Вопрос о войне должен, и немедля, найти свою дорогу.

Для меня, просто для моего человеческого здравого смысла, эта дорога ясна.

Это лишь продолжение той самой линии, на которой я стояла с начала войны. И, насколько я помню и понимаю, — Керенский. (Но знать — еще ничто. Надо *осуществлять* знаемое. Керенский теперь — при возможности осуществления знаемого. Осуществит ли? Ведь он — один).

Для памяти, для себя, обозначу, хоть кратко, эту *сегодняшнюю* линию «о войне».

Вот: я ЗА войну. То есть: за ее наискорейший и достойный КОНЕЦ.

Долой побединство! Война должна изменить свой лик. Война должна теперь стать действительно войной за свободу. Мы будем защищать *нашу* Россию, от Вильгельма, пока он идет на нее, как защищали бы от Романова, если бы шел он.

Война, как таковая, — горькое наследие, но именно потому, что мы так рабски приняли ее, и так долго сидели в рабах, — мы виноваты в войне. И теперь надо принять ее, как свой же грех, поднять ее, как подвиг искупленья, и с непрежней, новой силой донести до настоящего конца.

Ей не будет настоящего конца, если мы *сейчас* отвернемся от нее. Мы отвернемся — она застигнет и задавит.

Безумным и преступным ребячеством звучат эти корявые прокламации: «...немедленное прекращение кровавой бойни...» Что это? «Глупость или измена?» как спрашивал когда-то Милюков (о другом). Прекратите, пожалуйста, немедля. Не убивайте немцев — пусть они нас убивают. Но не будет ли именно тогда — «бойня»? Прекратить «по соглашению»? Согласитесь, пожалуйста, с немцами немедля. Ведь они-то — не согласятся. Да, в этом «немедля» только и может быть: или извращенное толстовство, или неприкрытое преступление.

Но вот что нужно и можно «немедля». Нужно не медля ни дня объявить, именно от нового русского, *нашего* правительства, русское новое военное «во имя». Конкретно: необходима абсолютно ясная и совершенно твердая декларация насчет наших целей войны. Декларация, прежде всего чуждая всякому *побединству*. Союзники *не смогут* против нее протестовать (если бы в тайне и хотели), особенно если хоть немного взглянут в нашу сторону и учтут наши «опасности» (им же грозящие).

Наши времена сократились. И наши «опасности» неслыханно, все, возрастают, если теперь, после революции, мы будем тянуть в войне ту же политику, совершенно ту же самую, форменно, как при царе. Да мы не будем — так как это *невозможно;* это само, все равно, провалится. Значит — изменить ее нужно...

Может быть, то, что я пишу — слишком обще, грубо и

наивно. Но ведь я и не министр иностранных дел. Я намечаю сегодняшнюю схему действий — и, вопреки всем политикам мира, буду утверждать, что сию минуту, для нас, для войны, она верна. Осуществима? Нет?

Даже если не осуществима. Долг Керенского — пытаться ее осуществить.

Он один. Какое несчастие. Ему надо *действовать обеими руками (одной — за мир, другой — за утверждение защитной силы).* Но левая рука его схвачена «глупцами или изменниками», а правую крепко держит Милюков с «победным концом». (Ведь Милюков — министр иностранных дел).

Если будет крах... не хочу, не время судить, да и не все ли равно, кто виноват, когда уже будет крах! Но как тяжело, если он все-таки придет, и если из-за него выглянут не только глупые и изменнические рожи, но лица людей честных, искренних и слепых; если еще раз выглянет лик думского «блока» беспомощной гримасой.

Но молчу. Молчу.

10 Марта. Пятница.

А дворец-то ораниенбаумский все-таки сгорел, или горел... Хотя верного опять ничего.

Ал. Бенуа сидел у нас весь день. Повествовал о своей эпопее министерства «бо-заров» с Горьким, Шаляпиным и — Гржебиным.

Тут все чепуха. Тут и Макаров, и Головин, и вдруг, случайно — какой-то подозрительный Неклюдов, потом споры, кому быть министром этого нового грядущего министерства, потом стычка Львова с Керенским, потом, тут же, о поощрении со стороны Сов. Раб. Деп., перманентное заседание художников у Неклюдова (?), потом мысль Д. В., что нет ли тут закулисной борьбы между Керенским и Горьким... Дмитрий вдруг вопит: «выжечь весь этот эстетизм!» — и, наконец, мы перестаем понимать что бы то ни было... глядим друг на друга, изумившись, раз навсегда, точно открыли, что «все это — капитан Копейкин».

Надо еще знать, что мы только что три часа говорили с другими о совсем других делах, а в промежутках я бегала в заднюю комнату, где меня ждали два офицера (два бывших студента из моих воскресников), слушать довольно печаль-

ные вести о положении офицеров и о том, как солдаты понимают «свободу».

В полку Ястребова было 1600 солдат, потом 300, а вчера уже только 30. Остальные «свободные граждане» — где? Шатаются и грабят лавки, как будто.

«Рабочая газета» (меньшевистская) очень разумна, советские «Известия» весьма приглажены, и — не идут, по слухам: раскупается большевистская «Правда».

Все «44 опасности» продолжают существовать. Многие, боюсь неизбежны.

Вот, рядом, поникшая церковь. Жалкое послание Синода, подписанное «8-ю смиренными» (первый «смиренный» — Владимир). Покоряйтеся, мол, чада, ибо, «всякая власть от Бога»...

(Интересно, когда, по их мнению, лишился министр Протопопов «духа свята», до ареста в павильоне, или уже в павильоне?)

Бульварные газеты полны царских сплетен. Нашли и вырыли Гришку — в лесу у Царского парка, под алтарем строющейся церкви. Отрыли, осмотрели, вывезли, автомобиль застрял в ухабах где-то на далеком пустыре. Гришку выгрузили, стали жечь. Жгли долго, остатки разбросали повсюду, что сгорело до тла — рассеяли.

Психологически понятно, однако что-то здесь по-русски грязное.

Воейков в Думе, в павильоне. Не унывает, анекдоты рассказывает.

«Русская Воля» распоясалась весьма неприлично-рекламно. Надела такой пышный красный бант — что любо-дорого. А следовало бы ей помнить, что «из сказки слова не выкинешь», и никто не забудет, что она — «основана знаменитым Протопоповым».

11 Марта. Суббота.

Надо изменить стиль моей записи. Без рассуждений, поголее факты. Да вот, не умею я. И так трудно, записывая тут же, а не после, отделять факты важные от не важных. Что делать! Это дневник, а не мемуары, и свои преимущества дневник имеет; не для любителей «легкого чтения» только. А для

внимательного человека, не боящегося монотонностей и мелочей.

С трех часов у нас заседание совета Религиозно-Фил. О-ва. Хотим составить «записку» для правительства, оформить наши пожелания и указать пути к полному отделению церкви от Государства.

Когда все ушли — пришел В. Зензинов. Он весь на розовой воде (такой уж человек). Находит, что со всех сторон «все улаживается». Влияние большевиков, будто бы, падает. Горький и Соколов среди рабочих никакого влияния не имеют. Насчет фронта и немцев — говорит, что Керенский был вчера в большой мрачности, но сегодня гораздо лучше.

Уверяет, что Керенский — фактический «премьер». (Если так — очень хорошо).

Вечером — Сытин. Опять сложная история. Роман Сытина с Горьким опять подогрелся, очевидно. Какая-то газета с Горьким, и Сытин уверяет, что «и Суханов раскаивается, и они будут за войну, но я им не верю». Мы всячески остерегали Сытина, информировали, как могли.

И к чему кипим мы во всем этом с такой глупой самоотверженностью? Самим нам негде своего слова сказать, «партийность» газетная теперь особенно расцветает, а туда «свободных» граждан не пускают. Внепартийная же наша печать вся такова, что в нее, особенно в данное время, мы сами не пойдем. Вся вроде «Русской Воли» с ее красным бантом.

Писателям писать негде. Но мы примиряемся с ролью «тайных советников» и весьма самоотверженно ее исполняем. Сегодня я серьезно потребовала у Сытина, чтобы он поддержал газету Зензинова, а не Горького, ибо за Зензиновым стоит Керенский.

Горький слаб и малосознателен. В лапах людей — «с задачами», для которых они хотят его «использовать».

Как политическая фигура — он ничто.

12 марта. Воскресенье.

С утра, одновременно, самые несовместимые люди. Рассадили их по разным комнатам (иных уже просто отправили).

Сытин, едва войдя, — ко мне: «вы правы...» Говорил с горькистами и заслышал большевистскую дуду. Полагаю, впрочем, что они его там всячески замасливали и Гиммер ему

пел «раскаянье», ибо у Сытина все в голове перепуталось.

Тут, кстати, под окнами у нас стотысячная процессия с лимонно-голубыми знаменами: украинцы. И весьма выразительные надписи: «федеративная республика» и «самостийность».

Сытин потрясался и боялся, тем более, что от хитрости способен самого себя перехитрить. Газету Керенского клянется поддержать (идет к нему завтра сам), и в то же время проговорился, что и газету Гиммер-Горький не оставит; подозреваю, что на сотню-другую тысяч уж ангажировался. (Даст ли куда-нибудь — еще вопрос).

А я — из одной комнаты — в другую, к И. Г. (не нравится он мне, и данная позиция ка-детов не нравится; чисто-внешнее, неискреннее, *приспособление* к революции, в виде объявления себя партией «народной свободы», республиканцами, а не конституционалистами. Ничего при этом не понимают, о войне говорят абсолютно *старым* голосом, как будто ничего не случилось).

Ранним вечером явились В., Г., Карташев, М. и др. — все с этой «запиской» к Вр. Правительству насчет церковных дел.

Могу ли я еще что-нибудь? Просто ложусь спать.

13 марта. Понедельник.

Отречение Михаила Ал. произошло на Миллионной, 12, в квартире, куда он попал случайно, не найдя ночлега в Петербурге. Приехал поздно из Царского и бродил пешком по улицам. В Царское же он тогда поехал с миссией от Родзянки, повидать Алекс. Федоровну. До царицы не добрался, уже высаживали из автомобилей. Из кабинета Родзянки он и говорил прямым проводом с Алексеевым. Но все было уже поздно.

14 марта. Вторник.

Часов около шести нынче приехал Керенский. Мы с ним все неудержимо расцеловались.

Он, конечно, немного сумасшедший. Но пафотически-бодрый. Просил Дмитрия написать брошюру о декабристах (Сытин обещает распространить ее в миллионе экземпляров), чтобы напомнив о первых революционерах-*офицерах* — смягчить трения в войсках.

Дмитрий, конечно, и туда, и сюда: «я не могу, мне трудно, я теперь как раз пишу роман «Декабристы», тут нужно совсем другое...»

— Нет, нет, пожалуйста, вам З. Н. поможет. Дмитрий согласился, в конце концов.

Керенский — тот же Керенский, что кашлял у нас в углу, запускал попавшийся под руку случайный детский волчок с моего стола (во время какого-то интеллигентского собрания. И так запустил, что доселе половины волчка нету, где-нибудь под книжными шкафами или архивными ящиками). Тот же Керенский, который говорил речь за моим стулом в Религ.-Филос. собрании, где дальше, за ним, стоял во весь рост Николай II, а я, в маленьком ручном зеркале, сблизив два лица, смотрела на них. До сих пор они остались у меня в зрительной памяти — рядом. Лицо Керенского — узкое, бледно-белое, с узкими глазами, с ребячески-оттопыренной верхней губой, странное, подвижное, все — живое, чем-то напоминающее лицо Пьеро. Лицо Николая — спокойное, незначительно приятное (и, видно, очень схожее). Добрые... или нет, какие-то «молчащие» глаза. Этот офицер — точно отсутствовал. Страшно *был* — и все-таки страшно *не был*. Непередаваемое впечатление (и тогда) от сближенности обоих лиц. Торчащие кверху, короткие, волосы Пьеро-Керенского — и реденькие, гладенько-причесанные волосики приятного офицера. Крамольник — и царь. Пьеро — и «charmeur». С.-р. под наблюдением охранки — и Его Величество Император Божьей милостью.

Сколько месяцев прошло? Крамольник — министр, царь под арестом, под охраной этого же крамольника. Я читала самые волшебные страницы самой интересной книги, — Истории; и для меня, современницы, эти страницы иллюстрированы. Charmeur, бедный, как смотрят теперь твои голубые глаза? Верно с тем же спокойствием Небытия.

Но я совсем отошла в сторону, — в незабываемое впечатление аккорда двух лиц — Керенского и Николая II. Аккорда такого диссонирующего — и пленительного, и странного.

Возвращаюсь. Итак, сегодня — это все тот же Керенский. Тот же... и чем-то неуловимо уже *другой*. Он в черной тужурке (министр-товарищ), как никогда не ходил раньше. Раньше он даже был «элегантен», без всякого внешнего «демо-

кратизма». Он спешит, как всегда, сердится, как всегда... Честное слово, я не могу поймать в словах его перемену, и однако она уже *есть*. Она чувствуется.

Бранясь «налево», Керенский о группе Горького сказал (чуть-чуть «свысока»), что очень рад, если будет «грамотная» большевистская газета, она будет полемизировать с «Правдой», бороться с ней в известном смысле. А Горький с Сухановым, будто бы, теперь эту борьбу и ставят себе задачей. «Вообще, ведут себя теперь хорошо».

Мы не возражали, спросили о «дозорщиках». Керенский резко сказал:

— Им предлагали войти в кабинет, они отказались. А теперь не терпится. Постепенно они перейдут к работе и просто станут правительственными комиссарами.

Относительно смен старого персонала, уверяет, что у синодального Львова есть «пафос шуганья» (не похоже), наиболее трусливые Милюков и Шульгин (похоже).

Бранил Соколова.

Дима спросил: «а вы знаете, что Приказ № 1 даже его рукой и написан?»

Керенский закипел.

— Это уже не большевизм, а глупизм. Я бы на месте Соколова молчал. Если об этом узнают, ему не поздоровится.

Бегал по комнате, вдруг заторопился:

— Ну, мне пора... Ведь я у вас «инкогнито»...

Непоседливый, как и без «инкогнито», — исчез. Да, прежний Керенский, и — на какую-то линийку — не прежний.

Быть может, он на одну линийку *более* уверен в себе и во всем происходящем — *неужели нужно?*

Не знаю. Определить не могу.

На улице сегодня оттепель, раскисло, расчернело, темно. С музыкой и красными флагами идут мимо нас войска, войска...

А хорошо, что революция была вся в зимнем солнце, в «белоперистости вешних пург».

Такой белоперистый день — 1-ое марта, среда, высшая точка революционного пафоса.

И не весь день, а только до начала вечера.

Есть всегда такой вечный миг — он где-то перед самым «достижением» или тотчас после него — где-то около.

15 марта. Среда.

Нынче с утра «земпоп» Аггеев. Бодр и всячески действен. Теперь уж нечего ему бояться двух заветных букв: е. н. (епархиальное начальство). От нас прямо помчал к Львову. А к нам явился из Думы.

Говорил, что Львов делает глупости, а петербургское духовенство и того хуже. Вздумало *выбирать* митрополита.

Аггеев вкусно живет и вкусно хлопочет.

Вечером был Руманов, новые еще какие-то планы Сытина, и ничему я ровно не верю.

Этот тип — Сытин — очень художественный, но не моего романа. И, главное, ничему я от Сытина не верю. Русский «делец»: душа да душа, а слова — никакого.

16 марта. Четверг.

Каждый день мимо нас полки с музыкой. Третьего дня Павловский; вчера стрелки, сегодня — что-то много. Надписи на флагах (кроме, конечно, «республики»), — «война до победы», «товарищи, делайте снаряды», «берегите завоеванную свободу».

Все это близко от настоящего, верного пути. И близко от него «декларация» Сов. Раб. и С. депутатов о войне — «К народам всего мира». Очень хорошо, что Сов. Р. Д. по поводу войны, наконец, высказался. Очень нехорошо, что молчит Вр. Пр-во. Ему надо бы тут перескакать Совет, а оно молчит, и дни идут, и даже неизвестно, что и когда оно скажет. Непростительная ошибка. Теперь если и надумают что-нибудь, все будет с запозданием, в хвосте.

«К народам всего мира» — не плохо, несмотря на некоторые места, которые можно истолковать, как «подозрительные», и на корявый, чисто эсдечный, не русский язык кое-где. Но сущность мне близка, сущность, в конце концов, приближается к знаменитому заявлению Вильсона. Эти «без аннексий и контрибуций» и есть, ведь, его «мир без победы». Общий тон отнюдь *не* «долой войну» немедленно, а напротив, «защищать свободу своей земли до последней капли крови». Лозунг «долой Вильгельма» очень... как бы сказать, «симпатичен», и понятен, только грешит наивностью.

Да, теперь все другим пахнет. Надо, чтобы война стала совсем другой.

17 марта. Пятница.

Синодский обер-прокурор Львов настоятельно зовет к себе в «товарищи» Карташева. (Это не без выдумки и хлопот Аггеева, очевидно).

Карташев, конечно, пришел к нам. Много об этом говорили. Я думаю, что он пойдет. Но я думаю тоже, что ему *не* следует идти. Благодаря нашим глухим несогласиям со времени войны — я своего мнения отрицательного к его данному шагу почти не высказывала, т.е. высказав — намеренно на нем не настаивала. Пусть делает, как хочет. Однако я убеждена, что это *со всех сторон* шаг ложный.

Карташев, бывший церковник, за последние десять лет перелив, так сказать, свою религиозность и церковность, внутренно, за края церкви «*православной*», — отошел от последней и жизненно. Из профессоров Духовной Академии сделался профессором светским. Порывание жизненной этой связи было у него соединено с отрывом внутренним, оба отрыва являлись действием согласным и оба стоили ему не дешево. Надо, при этом, знать, что Карташев — человек типа «пророческого», в широком, именно религиозном смысле, и в очень современном духе. В нем громадная, своеобразная сила. Но рядом, как-то сбоку, у него выросло увлечение вопросами чисто общественными, государственностью, политикой ... в которой он, в сущности, дитя. Трудно объяснить всю внутреннюю сложность этого характера, но свое «двоение» он часто и сам признает.

Теперь, вступая в контакт с «государственной» стороной церкви, в контакт жизненный с учреждением, с которым этот контакт порвал, когда порвал внутренний, — он делает это во имя чего? Что изменилось? Когда?

Наблюдая, слушая, вижу: он смотрит, сам, на это странно; вот этой своей приставной стороной: смотрит «узко политически» «послужить государству» — и точка. Но ведь он, и перелившись за православные края, относится к церкви *религиозно?* ведь она для него не «министерство юстиции»? И он зряч к церкви; он знает, что сейчас внутренней пользы церкви, в смысле ее движения, принести нельзя. Значит, урегулировать просто ее отношения с новым государством? Но на это именно Карташев не нужен. Нужен: или искренний, простой церковник, честный, вроде Е. Трубецкого, или, на-

против, такой же прямой, — дельный и простой, — политик не Львов, — Львов — дурак. И то, если б стать обер-прокурором... «Товарищем» же Львову, человеком такой самобытной и громадной ценности, притом столь мучительной и яркой сложности, как Карташев — это со всех сторон затмение, самоизничтожение. Даже грубо смотря — жалко: он худ, остр, тонок, истеричен, проникновенно-умен, порывист — и сдержан, выбрирует, как струна, слаб здоровьем; нервно-работоспособен; при неистовой его добросовестности, погрязнет до тла в государственно-синодально-поповских делах и делишках.

И *во всяком случае* будет потерян для своего, для глубины, для *своей* сущности.

(Прибавлю, что «политика» его — кадетирующая, военная, национальная).

Львов уже возил его в Синод, знакомя с делами. Карташев встретил там жену Тернавцева: «красивый брюнет» — арестован.

Опять полки с музыкой и со знаменами «ярче роз».

Сегодня был напечатан мой крамольный «Петербург», написанный 14 дек 14 года.

«И в белоперистости вешних пург
Восстанет он...»

Странно. Так и восстал.

18 марта. Суббота.

Не дают работать, целый день колесо А., М., Ч., потом опять Карташев, Т, Аггеев...

И все — *не* приятно.

Карташев, конечно,пошел в «товарищи» Львова; — как его вкусно, сдобно, мягко и безапеляционно насаживал на это Аггеев!

Ничего не могу сказать об этом, кроме того, что уже сказала.

В лучшем случае у Карташева пропадет время, в худшем — он сам для настоящего религиозного делания.

М. мне очень жаль. Столько в нем хорошего, верного, настоящего — и бессильного. Не совсем понимаю его сегод-

няшнее настроение, унылое, с «охлократическим» страхом. М. точно болен душой, — как болен телом.

Газеты почти все — панические. И так чрезмерно говорят за войну (без нового голоса, главное), что вредно действуют.

Долбят «демократию», как глупые дятлы. Та, пока что, обещает (кроме «Правды», да и «Правда» завертелась) — а они долбят.

Особенно неистов Мзура из «Веч. Времени». Как бы об этом Мзуре чего в охранке не оказалось... Я все время жду.

Нет, верные вещи надо уметь верно сказать, притом чисто и «власть имеюще».

А правительство (Керенский) — молчит.

19 марта. Воскресенье.

Весенний день, не оттепель — а дружное таяние снегов. Часа два сидели на открытом окне и смотрели на тысячные процессии.

Сначала шли «женщины». Несметное количество; шествие невиданное (никогда в истории, думаю). Три, очень красиво, ехали на конях. Вера Фигнер — в открытом автомобиле. Женская и цепь вокруг. На углу образовался затор, ибо шли по Потемкинской войска. Женщины кричали войскам — «ура».

Буду очень рада, если «женский» вопрос разрешится просто и радикально, как «еврейский» (и тем падет). Ибо он весьма противен. Женщины, специализировавшиеся на этом вопросе, плохо доказывают свое «человечество». Перовская, та же Вера Фигнер (да и мало ли) занимались не «женскими», а общечеловеческими вопросами, наравне с людьми, и просто *были* наравне с людьми. Точно можно, у кого-то попросив — *получить* «равенство»! Нелепее, чем просить у царя «революцию» и ждать, что он ее даст из рук в руки, готовенькую. Нет, женщинам, чтобы равными быть — нужно равными становиться. Другое дело внешне облегчить процесс *становления* (если он действительно возможен). Это — могут женщинам дать мужчины, и я конечно, за это дарование. Но процесс будет долог. Долго еще женщины, получив «права», не будут понимать, какие они с ними получили «обязанности». Порази-

тельно, что женщины, в большинстве, понимают «право», но что такое «обязанность»... не понимают.

Когда у нас поднимался вопрос «польский» и т.п. (а вопросы в разрезе национальностей проще и целомудреннее «полового» разреза) — не ясно ли было, что думать следует о «*вопросе русском*», остальные разрешатся сами — им? «Приложится». Так и «женские права».

Если бы заботу и силы, отданные «женской» свободе, женщины приложили бы к общечеловеческой, — они свою имели бы попутно, и не получили бы от мужчин, а завоевали бы *рядом* с ними.

Всякое специальное — «женское» движение возбуждает в мужчинах чувства весьма далекие именно от «равенства». Так, один самый обыкновенный человек, — мужчина, — стоя сегодня у окна, умилялся: «и ведь хорошенькие какие есть!» Уж, конечно, он за всяческие всем права и свободы. Однако, на «женское шествие» — совсем другая реакция.

Вам это приятно, амазонки?

После «баб и дам» — шли опять неисчислимые полки.

Мы с Дмитрием уехали в Союз Писателей, вернулись, — они все идут.

В Союзе этом — какая старая гвардия! И где они прятались? Не выписываю имен, ибо — все, и все-те же, до Марьи Валентиновны Ватсон, с ее качающейся головой.

О «целях» возрождающегося Союза не могли договориться. «Цели» вдруг куда-то исчезли. Прежде надо было «протестовать», можно было как-то выражать стремление к свободе слова, еще к какой-нибудь, — а тут хлоп! Все свободы даны, хоть отбавляй. Что же делать?

Пока решили все «отложить», даже выбор совета.

Вечером были у Х. Много любопытного узнали о вчерашнем заседании Совета Раб. Депутатов.

Богданов (группа Суханова) торжественно провалился со своим предложением реорганизовать Совет.

Предложение самое разумное, но руководители толпы не учли, что потакая толпе, они попадают к ней в лапы. Речь свою Богданов засладил мармеладом и тут: вы, мол, нам нужны, вы создали революцию... и т.д. И лишь потом пошли всякие «но» и предложение всех переизбрать. (Указывал, что их более тысячи, что это даже не удобно...)

«Лейб-конпанейцы» отнюдь этого не желают. Вот еще!

Вершили дела всего российского государства и вдруг возвращайся в ряды простых рабочих и солдат.

Прямо заявили: вы же говорили только что, что мы нужны? Так мы расходиться не желаем.

Заседание было бурное. Богданов стучал по пюпитру, кричал «я вас не боюсь!» Однако, должен был взять свой проект обратно. Кажется, вожаки смущены. Не знают, как и поправить дело. Опасаются, что Совет потребует перевыборов Комитета, и все эти якобы всластвующие будут забаллотированы.

Зала заседания — непривлекательна. Публику пускают лишь на хоры, где сидят и «караульные» солдаты. Сидят в нижнем белье, чай пьют, курят. В залах везде такая грязь, что противно смотреть.

Газета Горького будет называться «Новая Жизнь» (прямо по стопам «великого» Ленина в 1905-6 году). Так как редакция *против войны* (ага, безумцы! Это теперь-то!), а высказывать это, ввиду общего настроения будто бы невозможно (врут; а не врут — так в «настроение» вцепятся, его будут разъедать!), то газета, будто бы, этого вопроса вовсе не станет касаться (еще милее! О «бо-зарах» начнут писать? Какое вранье!)

Сытин, конечно, исчез. Это меня «не радует — не ранит», ибо я привыкла ему не верить.

22 марта. Среда.

Солдаты буйствовали в Петропавловске, ворвались к заключенным министрам, выбросили у них подушки и одеяла. Тревожно и в Царском. Керенский сам ездил туда арестовывать Вырубову, — спасая ее от возможного самосуда?

Но вот нечто хуже: у нас прорыв на Стоходе. Тяжелые потери. Общее отношение к этому — еще не разобрать. А ведь это начинается экзамен революции.

Еще хуже: правительство о войне молчит.

Сытин, на днях, по-сытински цинично и по-мужицки вкусно, толковал нам, что никогда вятский мужик на фронте не усидит, коли прослышал, что дома будут делить «землю». Улыбаясь, суживая глаза, успокаивал: «ну, что же, у нас есть Волга, Сибирь... эка если Питер возьмут!»

Сегодня был А. Блок. С фронта приехал (он там в Зем-

союзе, что ли). Говорит, там тускло. Радости революционной не ощущается. Будни войны невыносимы. (В начале-то на войну, как на «праздник» смотрел, прямо ужасал меня: «весело»! Абсолютно ни в чем он никогда не отдает себе отчета, не может. Хочет ли?). Сейчас растерян. Спрашивает беспомощно: «что же мне теперь делать, чтобы послужить демократии?»

Союзные посольства в тревоге: и Стоход, — и фабрики до сих пор не работают.

Лучше бы подумали, что нет декларации правительственной до сих пор. И боюсь, что пр-во терроризировано союзниками в этом отношении. О, Господи! Не понимают они, на свою голову, нашего момента.

Потому что не понимают нас. Не взглянули вовремя со вниманием. Что — теперь!

25 марта. Суббота.

Пропускаю дни.

Правительство о войне (о целях войны) — молчит.

А Милюков, на днях, всем корреспондентам заявил опять, *прежним голосом,* что России нужны проливы и Константинополь. «Правдисты» естественно взбесились. Я и секунды не останавливаюсь на том, что нужны ли эти чертовы проливы нам, или не нужны. Если они во сто раз нужнее, чем это кажется Милюкову — во сто раз непростимее его фатальная *бестактность.* Почти хочется разорвать на себе одежды. Роковое непонимание момента, на свою же голову! (и хоть бы только на свою).

Керенский должен был официально заявить, что «это личное мнение Милюкова, а не пр-ва». То же заявил и Некрасов. Очень красиво, нечего сказать. Хорошая дорога к «укреплению» пр-ва, к поднятию «престижа власти». А декларации нет, как нет.

В четверг Х. говорил, что Сов. Раб. Деп. требует Милюкова к ответу (источник прямой — Суханов).

Вчера поздно, когда все уже спали и я сидела одна — звонок телефона. Подхожу — Керенский. Просит: «нельзя ли, чтобы кто-нибудь из вас пришел завтра утром ко мне в министерство... Вы, З. Н., я знаю, встаете поздно...» «А Дм. Вл. бо-

лен, я попрошу Дм. Серг-ча придти, непременно...» подхватываю я. Он объясняет, как пройти...

И сегодня утром Дмитрий туда отправился. Не так давно Дмитрий поместил в «Дне» статью под заглавием «14 марта». «Речь» ее отвергла, ибо статья была тона примирительного и во многом утверждала декларацию советов о войне. Несмотря на то, что Дмитрий в статье стоял ясно на правительственном, а не на советском берегу, и строго это подчеркивал, — «Речь» не могла вместить; она круглый враг всего, что касается революции. Даже не судит, — отвергает без суда. Позиция непримиримая (и слепая). Если б она хоть была всегда скрытая, а то прорывается, и в самые неподходящие моменты.

Но Дмитрий в статье указывал, однако, что должно правительство высказаться.

К сожалению, Дмитрий вернулся от Керенского какой-то растерянный, и без толку, путем ничего не рассказал. Говорит, что Керенский в смятении, с умом за разумом, согласен, что правительственная декларация необходима. Однако, не согласен с манифестом 14 марта, ибо там есть предавание западной демократии. (Там есть кое-что похуже, но кто мешает взять только хорошее?) Что декларация пр-вом теперь вырабатывается, но что она вряд ли понравится «дозорщикам» и что, пожалуй, всему пр-ву придется (поэтому??...) О Совете говорил, что это «кучка фанатиков», а вовсе не вся Россия, что нет «двоевластия» и пр-во одно. Тем не менее тут же весьма волновался по поводу этой «кучки» и уверял, что они делают серьезный нажим в смысле мира сепаратного.

Дмитрий, конечно, сел на своего «грядущего» Ленина, принялся им Керенского во всю пугать; говорит, что и Керенский от Ленина тоже в панике, бегал по кабинету (там сидел и глухарь-Водовозов), хватался за виски: «нет, нет, мне придется уйти».

Рассказ бестолковый, но, кажется, и свидание было бестолковое. Хотя я все-таки очень жалею, что не пошла с Дмитрием.

Макаров сегодня жаловался, что этот «тупица» Скобелев с наглостью требует Зимнего Дворца под Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. Да, действительно!

Нет покоя, все думаю, какая возможна бы мудрая, новая, крепкая и достойная декларация пр-ва о войне, обезоружи-

вающая всякие Советы, — и честная. Возможна?

Америка (выступившая против Германии) мне продолжает нравиться. Нет, Вильсон не идеалист. Достойное и реально-историческое поведение. Очень последовательное. Современно-сознательное. Во времени и в пространстве, что называется.

Были похороны «жертв» на Марсовом поле. День выдался грязный, мокрый, черноватый. Лужи блестели. Лавки заперты, трамваев нет, «два миллиона» (как говорили) народу, и в порядке, никакой Ходынки не случилось.

Я (вечером, на кухне, осторожно). Ну, что же там было? И как же так, схоронили, со святыми упокой, вечной памяти даже не спели, зарыли — готово?

*Ваня Румянцев (*не Пугачев, а солдат с завода, шупленький). Почему вы так думаете, Зинаида Николаевна? От каждого полка был хор, и спели все, и помолились как лучше не надо, по-товарищески. А что самосильно, что попов не было, так на что их? Теперь эта сторона взяла, так они готовы идти, даже стремились. А другая бы взяла, они этих самых жертв на виселицу пошли бы провожать. Нет уж, не надо...

И я молчу, не нахожу возраженья, думаю о том, что ведь и Толстого они не пошли провожать, и не только не «стремились», а даже молиться о нем не молились... начальство запретило. Тот же Аггеев, из страха перед «е. н.», как он сам признался, даже на толстовское заседание Рел.-Фил. О-ва *не пошел.* (После смерти Толстого). Я никого не виню, я лишь отмечаю.

А Гришку Питирим соборне отпел и под алтарем погреб.

Безнадежно глубоко (хотя фатально-несознательно) воспринял народ связь православия и самодержавия.

Карташев пропал на целую неделю. Весь в бумагах и мелких консисторских делишках. Да и что можно тут сделать, даже если бы был не тупой и упрямый Львов? Как жаль! То есть как жаль, во всех отношениях, что Карт. туда пошел.

5 Апреля. Среда.

Вот как долго я здесь не писала.

Даже не знаю, что записано, что нет. А в субботу, 8-го, мы уезжаем опять в Кисловодск. (Возьму книгу с собой). Те-

перь очень трудно ехать. И не хочется, (надо). В субботу же, через час после нашего отъезда, должны приехать (едут через Англию и Швецию) — наши давние друзья эмигранты, Ел. X. Борис Савинков (Ропшин). Когда-нибудь я напишу десятилетнюю историю наших глубоких с ними отношений. Ел. и Борис люди поразительно разные. Я обоих люблю — и совершенно поразному. Зная их жизнь в эмиграции, непрерывно (т.е. с перерывами нашего пребывания в России) общаясь с ними за последние десять лет — я жгуче интересуюсь теперь их ролью в революционной России. Борис в начале войны часто писал мне, но сношения так были затруднены, что я почти не могла отвечать.

Они оба так любопытны, что, повторяю, здесь говорить о них между прочим — не стоит. Тремя словами только обозначу главную внутреннюю сущность каждого: Ел. — светлый, раскрытый, общественый (коллективный) человек. Борис Савинков — сильный, сжатый, властный индивидуалист. Личник. (Оба, в своем, часто крайние). У первого доминируют чувства, у второго — ум. У первого — центробежность, у второго — центростремительность.

По этим внутренним линиям строится и внешняя жизнь каждого, их деятельность. Принцип «демократичности» и «аристократичности» (очень широко понимая). Они — друзья, старые, давние. Могли бы, — но что-то мешает, — дополнять друг друга; часто сталкиваются. И не расходятся окончательно, не могут. К тому же Ел. так добр, кроток и верен в любви, что *лично* и не может совсем поссориться с давним другом-соработником.

Как, чем, в какой мере, на каких линиях будут нужны эти «революционеры» уже совершившейся русской революции? Силою вещей до сих пор оба (я их почти как символы тут беру) были разрушителями. Рассуждая теоретически — принцип Ел. был более близок к «созиданию», к его возможностям. Но... где Савинковская твердость? Нехватка.

Суживая вновь принципы, символы, до лиц, отмечу, что относительно лиц данных придется учитывать и десятилетнюю эмиграцию. Последние же годы ее — полная оторванность от России. И, кажется, насчет войны они там особенно не могли понимать положение России. Оттуда. Из Франции.

Я так пристально и подробно останавливаюсь на личностях в моей записи потому, что не умею верить в события, со-

вершающиеся вне всякого элемента личных воль. «Люди что-то весят в истории», этого не обойдешь. Я склонна преувеличивать вес, но это мои ошибки; преуменьшить его — будет такой же ошибкой.

Из других возвращающихся эмигрантов близко знаю я еще Б. Н. Моисеенко (и брат его С. Н., но он, кажется, не приезжает, он на Яве), Чернова не видела случайно; однако, имею представление об этом фрукте. Его в партии терпеть не могли, однако, считали партийным «лидером», чему я всегда изумлялась: по его «литературе» — это самоуверенный и самоупоенный тупяк. Авксентьев — культурный. Эмиграция его отяжелила и он тут вряд ли заблестит. Но человек, кажется, весьма ничего себе, порядочный.

Х-ие остановятся в нашей квартире, на Сергиевской. Савинков будет жить у Макарова.

Что, однако, случилось?

Очень много важного. Но сначала запишу факты мелкие, случаи, так сказать, собственные. Чтобы перебить «отвлечения» и «рассуждения». (Ибо чувствую, опять в них влезу).

Поехали мы, все трое, по настоянию Макарова, в Зимний Дворец, на «театральное совещание». Это было 29 марта. Головин, долженстовавший председательствовать, не прибыл, вертелся, вместо него, бедный Павел Михайлович.

Мы приехали с «Детского Подъезда». В залу с колоннами било с Невы весеннее солнце. Вот это только и было приятно. В общем же — зрелище печальное.

Все «звезды» и воротилы бывших «императорских», ныне «государственных» театров, московских и петербургских.

Южин, Карпов, Собинов, Давыдов, Фокин... и масса других.

Все они, и все театры зажелали: 1) автономии, 2) субсидии. Только об этом и говорили.

Немирович-Данченко, директор не государственного, а Художественного театра в Москве, — выделялся и прямо потрясал там культурностью.

Заседание тянулось, неприятно и бесцельно. Уже смотрели друг на друга глупыми волками. Наконец, Дима вышел, за ним я, потом Дмитрий, и мы уехали.

А вечером, у нас, было «тайное» совещание, — с Головиным, Макаровым, Бенуа и Немировичем.

Последнего мы убеждали идти в помощники к Головину,

быть, в сущности, настоящим директором театров. Ведь в таком виде — все это рухнет... Головину очень этого хотелось. Немирович и так, и сяк... Казалось — устроено, нет: Немирович хочет «выждать». В самом деле, уж очень бурно, шатко, неверно, валко. Останется ли и Головин?

На следующий день Немирович опять был у нас, долго сидел, пояснял, почему хочет «годить». Пусть театры «поавтономят...»

Далее.

Приехал Плеханов. Его мы часто встречали заграницей. У Савинкова не раз, и в других местах. Совсем европеец, культурный, образованный, серьезный, марксист несколько академического типа. Кажется мне, что не придется он по мерке нашей революции, ни она ему. Пока — восторгов его приезд, будто, не вызвал.

Вот Ленин.. Да, приехал таки этот «Тришка» наконец! Встреча была помпезная, с прожекторами. Но... он приехал *через Германию.* Немцы набрали целую кучу таких «вредных» тришек, дали целый поезд, запломбировали его (чтоб дух на немецкую землю не прошел) и отправили нам: получайте.

Ленин немедленно, в тот же вечер, задействовал: объявил, что отрекается от социал-демократии (даже большевизма), а называет себя отныне «социал-коммунистом».

Была, наконец, эта долгожданная, запоздавшая, декларация Пр-ва о войне.

Хлипкая, слабая, безвластная, неясная. То же, те же, «без аннексий», но с мямленьем, и все вполголоса, и жидкое «оборончество» — и что еще?

Если теперь не время действовать смелее (хотя бы с риском), то когда же? Теперь за войну мог бы громко звучать только голос того, кто ненавидел (и ненавидит) войну.

Тех «действий *обеими руками*» Керенского, о которых я писала, из декларации не вытекает. Их и не видно. Не заметно реальной и властной заботы об армии, об установлении там твердых линий «свободы», в пределах которых *сохраняется* сила армии, как сила. (Ведь Приказ № 1 еще не парализован. Армию свободно наводняют любые агитаторы. Ведь там не чувствуется *новой* власти, а только исчезновение старой!)

Одна рука уже бездействует. Не лучше и с другой. За *мир* ничего явного не сделано. Наши «цели войны» не объя-

влены с несомненной определенностью. Наше военное положение отнюдь не таково, чтобы мы могли диктовать Германии условия мира, куда там! И однако мы *должны бы* решиться на нечто вроде этого, прямо должны. Всякий день, не уставая, пусть хоть полу-официально, твердить о наших условиях мира. В сговоре с союзниками (вдолбить им, что нельзя упустить этой минуты...), но и до фактического сговора, даже ради него, — все-таки не мямлить и не молчать, — диктовать Германии «условия» приемлемого мира.

Это должно делать почти грубо, чтобы было понятно всем (всем — только грубое и понятно). Облекать каждодневно в реальную форму, выражать денно и нощно согласие на немедленный, справедливый и бескорыстный мир, — хоть завтра. Хоть через час. Орать на весь фронт и тыл, что если час пришел и мира *нет* — то лишь потому, что Германия на мир не соглашается, не хочет мира, и все равно ползет на нас. И тогда все равно не будет мира, а будет война, — или бойня.

В конце концов «условия» эти более или менее известны, но они не *сказаны,* поэтому они не существуют, нет для них *одной* формы. Первый звук, в этом смысле, не найден. Да его сразу и не найдешь, — но нужно все время искать, пробовать.

Да, великое горе, что союзники не понимают важности момента. У них ничего не случилось. Они думают в прежней линии и о себе, — и о нас. Пусть они заботятся о себе, я это понимаю. Но для себя же им нужно учитывать нас!

Был В. Зензинов, я с ним долго говорила и о «декларации» пр-ва, и обо всем этом. Декларацией, как он говорил, он тоже не удовлетворен (кажется, и никто, нигде не удовлетворен, даже в самом пр-ве). На мои «дикие» предложения и проекты «подиктовать» условия мира он только глядел полуопасно.

Общая робость и мямлянье. Что хранит правительство? Чего кто боится? Ну, Германия все это отвергнет. Ну, она даже не ответит. Так что же?

Быть может, я мечтаю? Я говорю много вздору, конечно, — *но я стою за линию,* и буду утверждать, что она, в общем, верна. Скажу (шепотом, про себя, чтобы потом не очень стыдиться) еще больше. В стороне союзников — (если они так нисколько не сдвинутся) можно бы рискнуть вплоть до мысли о «сепаратном» мире. Это во всяком случае заставило бы их задуматься взглянуть внимательнее в нашу сторону. А

то они слишком спокойны. Не знают, что мы — во всяком случае *не Европа*. Странно думать о России и видеть ее во образе... Милюкова.

Впрочем, я Бог знает куда залетела. Сама себя перестала понимать. В голове все самые известные вещи... Но форма — это не мое дело, всякий оформит лучше меня, — и *можно* найти форму, от которой не отвертелись бы союзники.

Довольно, пора кончать. Будь, что будет. Я хочу думать, хочу, — что будет хорошо. Я верю Керенскому, лишь бы ему не мешали. Со связанными руками не задействуешь. Ни твердости, ни власти не проявишь (именно *власть* нужна).

Пока — кроме СЛОВ (притом безвластных и слов-то) ничего от Пр-ва нашего нет.

Кисловодск

17 апреля.

Идет дождь. Туман. Холодно. Здесь невероятная дыра, полная просто нелепостями. Прислужьи забастовки. Трусящие, но грабящие домовладельцы. Тоже какой-то «солдатский совет».

Милы — дети, гимназистки и гимназисты. Только они светло глядят вперед.

23 апреля. Воскресенье.

Грандиозный разлив Дона; мост провалился, почта не ходит. Мы отрезаны. Смешно записывать отрывочные сведения из местных газет и случайного петербургского письма. У меня есть мнения и догадки, но как это сидеть и гадать впустую?

Отмечу то, что вижу отсюда: буча из-за войны разгорается. Иностранная «нота», как бы от всего Пр-ва, но явно составленная Милюковым (голову даю на отсечение) возбудила совершенно ненужным образом. Было соединенное заседание Пр-ва и Сов. Р. и С., после чего Пр-во дало «разъяснение», весьма жалкое.

Кажется, положение острое. (Издали).

2 мая.

Однако, дела неважны. Здесь — забастовки, с самыми неумеренными требованиями, которые длятся, длятся и кончаются тем, что «Совет» грозит: «у нас 600 штыков!», после чего «требования принимаются».

В Петербурге 21-го было побоище. Вооруженные рабочие стреляли в безоружных солдат.

Мы знаем здесь... почти ничего не знаем. Железнодорожный мост не исправлен. Газеты беспорядочны. Письма запаздывают. Из этого хаоса сведений можно, однако, вывести, что дела ухудшаются: Гучков и Грузинов ушли, в армии плохо, развал самый беспардонный везде. Пожалуй, уж и все Пр-во ушло во славу ленинцев и черносотенцев.

Тревожно и страшно — вдали. Гораздо хуже, чем там, когда в тот же момент все знаешь и видишь. Тут точно оглох.

4 мая.

Беспорядочность сведений продолжается. Знаем, что ушел Милюков (достукался), вместо него Терещенко. Это фигура... никакая, «меценат» и купчик-модерн. Очевидно, его взяли за то, что по-английски хорошо говорит. Вместо Гучкова — сам Керенский. Это похоже на хорошее. Одна рука у него освободилась. Теперь он может поднять *свой* голос.

«Побединцы» в унынии и панике. Но я далеко еще не в унынии и от войны. Весь вопрос, будет ли Керенский действовать *обеими* руками. И найдет ли он себе необходимых помощников в этом деле. Он один в верной линии, но он — один.

9 мая.

В Петербурге уже «коалиционное» министерство. Чернов (гм! гм!), Скобелев (глупый человек), Церетели (порядочный, но мямля) и Пешехонов (литератор!).

Посмотрим, что будет. Нельзя же с этих пор падать в уныние. Или так вихляться под настроением, как Дмитрий.

Попробуем верить в грядущее.

20 мая. Суббота.

Завтра Троица. Погода сырая. Путь не восстановлен. Телеграфа нет из-за снежной бури по всей России.

При общем тяжелом положении тыла, при смутном состоянии фронта, — жить здесь трудно. Но не поддаюсь тяжести. Это был бы грех сознания.

Керенский военный министр. Пока что — он действует отлично. Не совсем так, как я себе рисовала, отчетливых действий «обеими руками» я не вижу (может быть, отсюда не вижу?), но *говорит* он о войне прекрасно.

О Милюкове и Гучкове теперь все, благородные и хамы, улица, интеллигенты и партийники, говорят то, что я говорила несколько лет подряд (а теперь не стала бы говорить). Обрадовались! Нашли время! Теперь поздно. Ненужно.

Кающийся кадет, министр Некрасов, только что болтал где-то о «бесполезности правого блока». (Этого Некрасова я знаю. Бывал у нас. Считался «левым» кадетом. Не замечателен. Кажется, очень хитрый и без стержня).

Милюков остался совершенно в том же состоянии. Ни разучился, ни научился. Сейчас, уязвленный, сидит у себя и новому пр-ву верит «постолько-посколько...» Ну, Бог с ним. Жаль, ведь, не его. Жаль того, что он имеет и что *не умеет* отдать России.

Керенский — настоящий человек на настоящем месте. The right man on the right place, как говорят умные англичане. Или — the right man on the right moment? А если только for one moment? Не будем загадывать. Во всяком случае он имеет право говорить о войне, за войну — именно потому, что он против войны (как таковой). Он был «пораженцем» — по глупой терминологии «побединцев». (И меня звали «пораженкой»).

18 июня. Воскресенье.

Через неделю, вероятно, уедем. Положение тяжелое. Знаем это из кучи газет, из петербургских писем, из атмосферного ощущения.

Вот главное: «коалиционное» министерство, совершенно так же, как и первое, *власти не имеет.* Везде разруха, развал, распущенность. «Большевизм» пришелся по ндраву нашей

темной, невежественной, развращенной рабством и войной, массе.

Началась «вольница», дезертирство. Начались разные «республики» — Кронштадт, Царицын, Новороссийск, Кирсанов и т.д. В Петербурге «налеты» и «захваты», на фронте разложение, неповиновение и бунты. Керенский неутомимо разъезжает по фронту и подправляет дела то там, то здесь, но ведь это же невозможно! Ведь он должен создать систему, ведь его не хватит, и никого одного не может хватить.

В тылу — забастовки, тупые и грабительские, — преступные в данный момент. Украйна и Финляндия самовольно грозят отложиться. Совет Раб. и С. Депут., даже общий съезд советов почти так же бессильны, как Пр-во, ибо силою вещей поправели и отмежевываются от «большевиков». Последние на 10 июня назначили вооруженную демострацию, тайно подготовив кронштадцев, анархистов, тысячи рабочих и т.д. Съезд Советов вместе с Пр-вом заседали всю ночь, достигли отмены этой страшной «демонстрации» с лозунгом «долой все», предотвратили самоубийство, но... только на этот раз, конечно. Против тупого и животного бунта нельзя долго держаться увещеваниями. А бунт подымается именно бессмысленный и тупой. Наверху видимость борьбы такая: большевики орут, что Правительство, хотя объявило войну чисто оборонительной, допускает возможность и наступления с нашей стороны; значит, мол, лжет, хочет продолжать «без конца» ту же войну, в угоду «союзническому империализму». Вожаки большевизма, конечно, понимают, сами-то, грубый абсурд положения, что при войне оборонительной не должно никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах, быть наступления, даже с намерениями возвратить свои же земли (как у нас). Вожаки великолепно это понимают, но они пользуются круглым ничегонепониманием тех, которых намерены привести в бунтовское состояние. Вернее — из пассивно-бунтовского состояния перевести в активно-бунтовское. Какие же у них, собственно, цели, для чего должна послужить им эта акция — с полной отчетливостью я не вижу. Не знаю, как они сами это определяют. Даже не ясно, в чьих интересах действуют. Наиболее ясен тут интерес германский, конечно.

Очень стараются большевики «литературные», из окружения Горького. Но перед ними я подчас вовсе теряюсь. Не верится как-то, что они сознательно жаждали слепых крово-

пролитий, неминучих; чтобы они действительно не понимали, что говорят. Вот, я давно знаю Базарова. Это умный, образованный и тихий человек. Что у него теперь внутри? Он написал, что даже не сепаратного мира «мы хотим», но... сепаратной войны. Честное слово. Какая-то новая война, Россия против всего мира, одна, — и это «немедленно». Точно не статья Базарова, а сонный бред папуаса; только *ответственный,* ибо слушают его тучи под-папуасов, готовых одинаково на все...

Главные вожаки большевизма — к России никакого отношения не имеют и о ней меньше всего заботятся. Они ее не знают, — откуда? В громадном большинстве не русские, а русские — давние эмигранты. Но они нащупывают инстинкты, чтобы их использовать в интересах... право не знаю точно, своих или германских, только *не* в интересах русского народа. Это — *наверно.*

Цинически-наивный эгоизм дезертиров, тупо-невежественный («я молодой, мне пожить хочется, не хочу войны»), вызываемый проповедью большевиков, конечно, хуже всяких «воинственных» настроений, которые вызывала царская палка. Прямо сознаюсь — хуже. Вскрывается животное отсутствие *совести.*

Не милосердна эта тяжесть «свободы», навалившаяся на вчерашних ребят. Совесть их еще не просыпалась, ни проблеска сознания нет, одни инстинкты: есть, пить, гулять... да еще шевелится темный инстинкт широкой русской «вольницы» (*не* «воли»).

Хочется взывать к милосердию. Но кто способен дать его сейчас России? Несчастной, неповинной, опоздавшей на века России, — опять, и здесь, опоздавшей?

Оказать им милосердие — это сейчас значит: создать власть. Человеческую, — но настоящую власть, суровую, быть может, жестокую, — да, да, — *жестокую* по своей прямоте, если это нужно.

Такова минута.

Какие люди сделают? Наше Вр. Пр-во — Церетели, Пешехонов, Скобелев? Не смешно, а невольно улыбаюсь. Они только умели «страдать» от «власти» и всю жизнь ее ненавидели. (Не говорю уже о личных их способностях). Керенский? Я убеждена, что он *понимает* момент, *знает,* что именно это нужно: «взять на себя и дать им», но... я далеко не убеждена,

что он: 1) сможет взять на себя и 2) что, если бы смог взять, — тяжесть не раздавила бы слабых плеч.

Не сможет потому уже, что хотя и понимает, — но и в нем сидит то же впитанное отвращение к власти, к ее непременно внешним, обязательно насильническим, приемам. Не сможет. Остановится. Испугается.

Носители власти должны не бояться своей власти. Только тогда она будет настоящая. Ее требует наша историческая минута. И такой власти нет. И, кажется, нет для нее людей.

Нет сейчас в мире народа более безгосударственного, бессовестного и безбожного, чем мы. Свалились лохмотья, почти сами, и вот, под ними голый человек, первобытный — но слабый, так как измученный, истощенный. Война выела последнее. И война тут. Ее надо кончить. Оконченная без достоинства — не простится.

А что, если слишком долго стыла Россия в рабстве? Что, если застыла, и теперь, оттаяв, не оживает, — а разлагается?

Не могу, не хочу, нельзя верить, что это так. Но время единственное по тяжести. Война, война. Теперь все силы надо обратить на войну, на ее *поднятие* на плечи, на ее напряженное заканчивание.

Война — единое возможное искупление прошлого. Сохранение будущего. Единое средство опомниться. Последнее испытание.

13 июля. Четверг.

Еще мы здесь, в Кисловодске. Не могу записать всего, что было в эти дни-годы. Запишу кратко.

18 июня началось наше наступление на юго-западе. В этот же день в Спб. была вторая попытка выступления большевиков, кое-как обошедшаяся. Но тупая стихия, раздражаемая загадочными мерзавчиками, нарастала, нарывала...

День радости и надежды 18 июня быстро прошел. Уже в первой телеграмме о наступлении была странная фраза, которая заставила меня задуматься: «...теперь, что бы ни было дальше...»

А дальше: дни ужаса 3, 4 и 5-го июля, дни петербургского мятежа. Около тысячи жертв. Кронштадцы анархисты, воры, грабители, темный гарнизон явились вооруженными на

улицы. Было открыто, что это связано с немецкой организацией (?). (По безотчетности, по бессмыслию и ничегонепониманию делающих бунт, это очень напоминало беспорядки в июле 14 года, перед войной, когда немецкая рука вполне доказана).

Ленин, Зиновьев, Ганецкий, Троцкий, Стеклов, Каменев — вот псевдонимы вожаков, скрывающие их неблагозвучные фамилии. Против них выдвигается формальное обвинение в связях с германским правительством.

Для усмирения бунта была приведена в действие артиллерия. Вызваны войска с фронта.

(Я много знаю подробностей из частных писем, но не хочу их приводить здесь, отсюда пишу лишь «отчетно»).

До 11-го бунт еще не был вполне ликвидирован. Ка-деты все ушли из пр-ва. (Уйти легко). Ушел и Львов.

Вот последнее: наши войска с фронта самовольно бегут, открывая дорогу немцам. Верные части гибнут, массами гибнут офицеры, а солдаты уходят. И немцы вливаются в ворота, вослед убегающего стада.

Они — трусы даже на улицах Петербурга; ложились и сдавались безоружным. Ведь они так же не знали, «во имя» чего бунтуют, как (до сих пор!) не знают, во имя чего воевать. Ну и уходи. Побунтовать все-таки не так страшно дома, и свой брат, — а немцы-то ой-ой!

Я еще говорила о совести. Какая совесть там, где нет первого проблеска сознания?

Бунтовские плакаты особенно подчеркивали, что бунт был без признака смысла — у его делателей. «Вся власть советам». «Долой министров-капиталистов». Никто не знал, для чего это. Какие это министры-капиталисты? Кадеты?.. Но и они уже ушли. «Советов» же бунтовщики знать не хотели. Чернова окружили, затрещал пиджак, Троцкий-Бронштейн явился спасителем, обратившись к «революционным матросам»: «кронштадтцы! Краса и гордость русской революции!..» Польщенная «краса» не устояла, выпустила из лап звериных Черновский пиджак, ради столь милых слов Бронштейна.

Уже правда ли все происходящее?

Похоже на предутренний кошмар.

Еще: обостряется голод, форменный.

Что прибавить к этому? *Слова* правительства о «решительных действиях». Опять слова. Кто-то арестован, кто-то

освобожден... Окровавленные камни, и те вопиют против большевиков, но они пока безнаказанны. Пока?

Вот что еще можно прибавить: я все-таки верю, что будет, будет когда-нибудь хорошо. Будет свобода. Будет Россия. Будет мир.

19 июля. Среда.

Во век проклята сегодня годовщина. Трехлетие войны.

Но сегодня ничего не запишу из совершающегося. Сегодня хоть в трех словах, для памяти, о здешнем. И даже не о здешнем, а просто отмечу, что мы несколько раз видели генерала Рузского (он был у нас). Маленький, худенький старичок, постукивающий мягко палкой с резиновым наконечником. Слабенький, вечно у него воспаление в легких. Недавно оправился от последнего. Болтун невероятный, и никак уйти не может, в дверях стоит, а не уходит. Как-то встретился у нас с кучей молодых офицеров, которые приглашали нас читать на вечере Займа Свободы. Кстати, тут же приехали в Кисловодск и волынцы (оркестр). Вечер этот, сказать между прочим, состоялся в Курзале, мы участвовали. (Я давным давно отказываюсь от всех вечеров, годы, но тут решила изменить правилу, — нельзя).

Рузский с офицерами держал себя... отечески-генеральски. Щеголял этой «отечественностью» ... ведь революция! И все же оставался генералом.

Я спрашивала его о Родзянковской телеграмме в феврале. Он стал уверять, что «Родзянко сам виноват. Что же он во время не приехал? Я царю сейчас же, вечером (или за обедом) сказал, он на все был согласен. И ждал Родзянку. А Родзянко опоздал».

— А скажите, генерал, — если только это не нескромный вопрос, почему вы ушли весной?

— Не я ушел, это «меня ушли», — с готовностью отвечал Рузский. — Это Гучков. Приехал он на фронт, — ко мне...

Пошла длиннейшая история его каких-то несогласий с Гучковым.

— А тут сейчас же и сам он ушел, — заключил Рузский.

Говорил еще, что немцы могут взять Петербург в любой день, — в какой только пожелают.

Где Борис Савинков? Первое письмо от него из Петербурга я получила давно, несколько иронического тона в описании быта новых «товарищей»-министров, очень сдержанное, без особых восторгов относительно революционного аспекта. В конце спрашивал: «я все думаю, *свои ли мы?*» Действительно, ведь с начала войны мы ничего толком не знаем друг о друге.

Затем было второе письмо: он уже комиссаром 7-ой армии, на фронте. Писал о войне, — и мне отношение понравилось: чувствуется серьезность к серьезному вопросу. На мой вопрос о Керенском (я писала, что мы ближе всего к позиции Керенского) ответил: «я с Керенским всей душой...» было какое-то «но», должно быть, неважное, ибо я его не помню. По-моему, Савинков должен был находиться там, где происходило наступление. В газетах часто попадается его имя, и в очень хорошем виде!

Савинков именно такой, какой он есть, очень может (или мог бы) пригодиться.

26-го июля.

С каждым днем все хуже.

За это время: кризис правительства дошел до предела. Керенский подал в отставку. Все испугались, заседали ночами, решили просить его остаться и самому составить кабинет. Раньше он пытался сговориться с кадетами, но ничего не вышло: кадеты против декларации 8 июля (какая это?). Затем история с Черновым, который открыто ведет себя максималистом. (По-моему — Чернов против Керенского: задыхается от тщеславной зависти).

Трудно знать все отсюда. Пишу, что ловлю, для памяти.

Итак — кадеты отказались войти «партийно» (допустили вхождение личное, на «свою совесть»). Чернов подал в отставку, мотивируя, что он оклеветан, и восстановить истину ему легче, не будучи министром. Отставка принята. Это все до 23-го июля включительно.

А сегодня — краткие и дикие сведения по телеграмме: Правительство Керенским составлено — неожиданное и (боюсь) мертворожденное. Не видно его принципа. Веет случайностью, путанностью. Противоречиями.

Премьер, конечно, Керенский (он же военный министр),

его фактический товарищ («управляющий военным ведомством») — наш Борис Савинков (как? когда? откуда? Но это-то очень хорошо). Остались: Терещенко, Пешехонов, Скобелев, да недавний, несуществующий, Ефремов, явились Никитин (?), Ольденбург и — уже совершенно непонятным образом — опять явился Чернов. Чудеса; хорошо, если не глупые. Вместо Львова — Карташев. (Как жаль его. Прежде только бессилие, а теперь сверх него, еще и ответственность. Из этого для него ничего доброго, кроме худого, не выйдет).

Ушел, тоже не понять почему, Церетели.

Нет, надо знать *изнутри,* что это такое.

На фронте то же уродство и бегство. В тылу крах полный. Ленина, Троцкого и Зиновьева привлекают к суду, но они не поддаются судейской привлекательности и не намерены показываться. Ленин с Зиновьевым прозрачно скрываются, Троцкий действует в Совете и ухом не ведет.

Несчастная страна. Бог, действительно, наказал ее: отнял разум.

И куда мы едем? Только ли в голод, или еще в немцев, и, сверх того, в царство Бронштейнов и Нахамкесов? Какие перспективы!

Писала ли я, что милейший дубинке Н. Д. Соколову отлился подвиг Приказа № 1? Поехал на фронт с увещаниями, а воспитанные его Приказом товарищи-солдаты вдрызг увещателя исколотили. Каской по черепу. Однако, не видно плодов учения. Только, выйдя из больницы, заявил во всех газетах, что он «большевиком никогда не был» (?).

Чхенкели ограбили по дороге в Коджоры, чуть не убили.

Во время июльского мятежа какие-то солдаты, в тумане обалдения, несли плакат: «первая пуля Керенскому».

Как мы счастливы. Мы видели медовый месяц революции и не видели ее «в грязи, во прахе и в крови».

Но что мы еще увидим!

1 августа. Вторник.

В пятницу (тяжелый день) едем. Русские дела все те же. Как будто меньше удирание от немцев со времени восстановления смертной казни на фронте. Но только «меньше», ибо восстановили-то слепо, слабо, неуверенно, точно крадучись. Я считаю, что это преступно. Или не восстановляй, или так,

чтобы каждый солдат знал с полной несомненностью: если идешь вперед — может быть умрешь, может быть нет, на войне не всех убивают; если идешь назад, самовольно, — умрешь *наверно*.

Только так.

Очень плохи дела. Мы все отдали назад, немцы грозят и югу, и северу. Большевики (из мелких, из заваляющих) арестованы, как, например, Луначарский. Этот претенциозно-беспомощный шут хлестаковского типа достаточно известен по эмиграции. Савинков любил копировать его развязное малограмотство.

Чернова свергнуть не удалось (что случилось?) и он продолжает максимальничать. Зато наш Борис по всем видимостям ведет себя молодцом. Как я рада, что он у дел! и рада не столько за него, сколько за дело.

Учр. Собрание отложено. Что еще будет с этим Пр-вом — неизвестно.

Но надо же верить в хорошее. Ведь «хорошее» или «дурное» — не предопределено заранее, не написано; ведь это наши человеческие дела; ведь от нас (в громадной доле) зависит, куда мы пойдем: к хорошему, или дурному. Если не так, то жить напрасно.

Петербург

8 августа. Вторник.

Сегодня в 6 час. вечера приехали. С приключениями и муками, с разрывом поезда.

Через два часа после приезда у нас был Борис Савинков. Трезвый и сильный. Положение обрисовал крайне острое.

Вот в кратких чертах: у нас ожидаются территориальные потери. На севере — Рига и далее, до Нарвы, на юге — Молдавия и Бессарабия. Внутренний развал экономический и политический — полный. Дорога каждая минута, ибо это минуты — предпоследние. Необходимо ввести военное положение по всей России. Должен приехать (послезавтра) из Ставки Корнилов, чтобы предложить, вместе с Савинковым, Керенскому принятие серьезных мер. На предполагающееся

через несколько дней Московское Совещание Правительство должно явиться не с пустыми руками, а с определенной программой ближайших действий. *Твердая власть.*

Дело, конечно, ясное и неизбежное, но... что случилось? Где Керенский? Что тут произошло? Керенского ли подменили, мы ли его ранее не видели? Разрослось ли в нем вот это, — останавливающееся перед прямой необходимостью: «*взять власть*», начало, я еще не вижу. Надо больше узнать. Факт, что Керенский — боится. Чего? Кого?

9 августа. Среда.

Утром был Карташев (о нем, нынешнем «министре исповеданий» потом. Безотрадно). Были и другие люди. Затем, к вечеру, опять приехал Борис.

В эту ночь он очень серьезно говорил с Керенским. И — подал в отставку. Все дело висит на волоске.

Завтра должен быть Корнилов. Борис думает, что он, пожалуй, вовсе не приедет.

Что же сталось с Керенским? По рассказам близких — он неузнаваем и невменяем. Идея Савинкова такова: настоятельно нужно, чтобы явилась, наконец, действительная власть, вполне осуществимая в обстановке сегодняшнего дня при такой комбинации: Керенский остается во главе (это непременно), его ближайшие помощники-сотрудники — Корнилов и Борис. Корнилов — это значит опора войск, защита России, реальное возрождение армии; Керенский и Савинков — защита свободы. При определенной и ясной тактической программе, на которой должны согласиться Керенский и Корнилов (об этой программе скажу в свое время подробнее), нежелательные элементы в Пр-ве, вроде Чернова, выпадают автоматически.

Савинков понимает и положение дел, — и вообще все, самым блистательным образом. И я должна тут же, сразу, сказать: при всей моей к нему зрячести я не вижу, чтобы Савинковым двигало *сейчас* его громадное честолюбие. Напротив, я утверждаю, что главный двигатель его во всем этом деле — подлинная, умная, любовь к *России* и к ее *свободе.* Его честолюбие — на втором плане, где его присутствие даже требуется.

Вижу я это, помимо взора на предмет, — взора, совпа-

дающего с Савинковым, — по тысяче признаков. Нет стремления создать из Керенского с его помощниками форменную «диктатуру»: широкие полномочия Корнилова и Савинкова ограничены строгими линиями принятой, очень подробной, тактической программы. Если Савинков хочет быть одним из этих «помощников» Керенского, то ведь, он и *может* им, действительно, быть. Тут *его* место. И данный миг России — (ее революции) тоже *его,* — российского революционера-государственника (суженного, конечно, и подпольной своей биографией, и долгой эмиграцией, однако данная минута требует именно такого, пусть суженного; она сама узко-остра).

Когда еще, и где, может до такой степени понадобиться Савинков? Горючая беда России, что все ее люди не на своих местах; если же попадают случаем — то не в свое время: или «рано» или «поздно».

На Корнилова Савинков тоже смотрит очень трезво. Корнилов — честный и прямой солдат. Он, главным образом, хочет спасти Россию. Если для этого пришлось бы заплатить свободой, он заплатил бы, не задумываясь.

— Да и заплатит, если будет действовать один, и после очередных разгромов, — говорит Савинков. — Он любит свободу, я это знаю совершенно твердо. Но Россия для него первое, свобода — второе. Как для Керенского (поймите, это факт, и естественный), свобода, революция — первое, Россия — второе. Для меня же (м. б., я ошибаюсь), для меня эти оба сливаются в одно. Нет первого и второго места. Неразделимы. Вот потому-то я хочу непременно соединить сейчас Керенского и Корнилова. Вы спрашиваете, останусь ли я действовать с Корниловым, или с Керенским, если их пути разделятся. Я представляю себе, что Корнилов не захочет быть с Керенским, захочет против него, один, спасать Россию. В ставке темные элементы; они, к счастью, ни малейшего влияния на Корнилова не имеют. Но допустим... Я, конечно, не останусь с Корниловым. Я в него, без Керенского, не верю. Я это в лицо говорил самому Корнилову. Говорил прямо: тогда мы будем врагами. Тогда и я буду в вас стрелять, и вы в меня. Он, как солдат, понял меня тотчас, согласился. Керенского же я признаю сейчас, как главу возможного русского правительства, необходимым; я служу Керенскому, а не Корнилову; но я не верю, что и Керенский, один, спасет Россию и свободу; ничего он не спасет. И я не представляю себе, как я буду слу-

жить Керенскому, если он сам захочет оставаться один и вести далее ту колеблющуюся политику, которую ведет сейчас. Сегодня, в нашем ночном разговоре, подчеркнулись эти колебания. Я счел своим долгом подать в отставку. Он ее не то принял, не то не принял. Но дело нельзя замазывать. Завтра я ее повторю решительно.

Я свела многое из слов Савинкова вместе. Начинаю коечто улавливать.

Поразительно: Керенский точно лишился всякого понимания. Он под перекрестными влияниями. Поддается всем чуть не по-женски. Развратился и бытовым образом. Завел (живет — в Зимнем Дворце!) «придворные» порядки, что отзывается несчастным мещанством, parvenu. Он никогда не был умен, но, кажется, и гениальная интуиция покинула его, когда прошли праздничные, медовые дни прекраснодушия и наступили суровые (ой, какие суровые!) будни. И опьянел он... не от власти, а от «успеха» в смысле шаляпинском. А тут еще, вероятно, и чувство, что «идет книзу». Он не видит людей. Положим, этого у него и раньше не было, а теперь он окончательно ослеп (теперь, когда ему надо выбирать людей!) Он и Савинкова принял за «верного и преданного ему душой и телом слугу» — только. Как такого «слугу» и вывез его, скоропалительно, с собой, — с фронта. (Кажется, они были вместе во время июньского наступления). И заволновался, забоялся, когда приметил, что Савинков не без остроты... Стал подозревать его... в чем? А тут еще миленькие «товарищи» с.-ры, ненавидящие Савинкова-Ропшина...

А Керенский их боится. Когда он составлял последнее министерство, к нему пришла троица из Ц.И. Ком. эсэровской п. с ультиматумом: или он сохраняет Чернова, или партия с-ров не поддерживает Пр-во. И Керенский взял Чернова, все зная и ненавидя его.

Да, ведь еще 14 марта, когда Керенский был у нас впервые министром (юстиции тогда), в нем уже чувствовалась, абсолютно неуловимая, перемена. Что это было? Что-то... И это «что-то» разрослось...

10 августа. Четверг.

Безумный день. Часов в 8 вечера приехал Савинков. Сказал, что все кончено. Что он решил со своей отставкой. Про-

сил вызвать Карташева. (Карт. несколько в курсе дела и Савинкову сочувствует).

— Но Карташев теперь наверное в Зимнем Дворце, — возражаю я.

— Нет, дома, вечернее заседание отменено.

Звоню. Карташев дома, обещает придти. Узнаем от Бориса следующее.

Корнилов, оказывается, сегодня приехал. Телеграмму, где Керенский «любезно» разрешил ему не приезжать «если не удобно», — получить не успел.

С вокзала отправился прямо к Керенскому. Неизвестно, что было говорено на этом первом заседании; но Корнилов приехал, тотчас после него, — к Савинкову, и с какою-то странною подозрительностью.

Час разговора, однако, совершенно рассеял эту подозрительность. И Корнилов подписал знаменитую записку (программу) о необходимых мерах в армии и в тылу. Подписал ее и Савинков. И, приехавший с Корниловым, помощник Савинкова в бытность его комиссаром, — Филоненко. (Неизвестный нам, но почему-то Борис очень стоит за него).

После этого Керенский опять потребовал к себе Корнилова, *отменив* общее прав-ное заседание, а допустив лишь Терещенку и еще кого-то.

А Савинков поехал к нам. Корнилов сегодня же уезжает обратно. Савинков отправится провожать его в вагон часам к 12 ночи.

— Хотите, я прочту вам записку? — предложил Борис. — Она со мной, у меня в автомобиле.

Сбегал, принес тяжелый портфель. И мы принялись за чтение.

Прочел ее нам Савинков всю, полностью. Начиная с подробнейшего, всестороннего отчета о фактическом состоянии фронта (потрясающе оно даже внешне!), и кончая таким же отчетливым изложением тех немедленных мер, какие должны быть приняты и на фронте, и в тылу. Эта длиннейшая записка, где обдумано и взвешено каждое слово, найдет когда-нибудь своего комментатора — во всех случаях не пропадает. Я скажу лишь главное: это без спора тот minimum, который еще мог бы спасти честь революции и жизнь России при ее данном, неслыханном, положении.

Дима, впрочем, находит, что «кое-что в записке проду-

мано недостаточно, а кое-что поставлено слишком остро, напр., милитаризация железных дорог. Но важен ее принцип: «соединение с Корниловым, поднятие боеспособности армии *без* помощи советов, оборона, как центральная прав-ная деятельность, беспощадная борьба с большевиками».

Я думая, что да, будет еще с Керенским торговля... Но, кажется, это и в деталях minimum, вплоть до милитаризации железных дорог и смертной казни в тылу (какое же иначе общее военное положение?). Воображаю, как заорут «товарищи!» (А Керенский их боится, вот это надо помнить).

Они заорут, ибо увидят тут «борьбу с советами», — безобразным, уродливо разросшимся явлением, расссадником большевизма, явлением, перед которым и ныне «демократические лидеры» и под-лидеры, не большевики, благоговейно склоняются. Какая-то непроворотимая, глупая преступность!

Они будут правы, это борьба с Советами, хотя *прямо* в записке ничего не сказано об уничтожении Советов. Напротив, Борис сказал даже, что «нужно сохранить войсковые организации, без них невозможно». Но никакие комитеты не должны, конечно, вмешиваться в дела командования. Их деятельность (выборных организаций) ограничивается.

А все же это (наконец-то!) борьба с Советами. И как иначе, если вводится серьезная, настоящая борьба с большевиками?

К половине чтения записки пришел Карташев. Дослушали вместе.

Сегодня Карташев видел Керенского, т.е. потребовал впуска к нему в кабинет не официального. (Вот как теперь! Не прежний свой брат-интеллигент, вечно вместе на частных собраниях!) Сказал, говорит, ему все, что хотел сказать, и ушел, ответа намеренно не требуя. Да кстати тут пришел полковник Барановский («нянька» Керенского, по выражению Карташева) и лучше было удалиться.

Уже почти в 12 часов ночи мы кончили записку.

Борис очень скоро уехал, — на вокзал, провожать Корнилова. Карташев, пользуясь отменой заседания, ушел в один старый «интеллигентский» кружок (где — отсюда слышу — они будут болты болтать и гадать, какими еще аудиенциями «надавить» на Керенского)...

. . . .

...А что говорят с-эры? Лучшие, самые лучшие, из честных честные? Вот: «Чернов — негодяй, которому мы заграницей и руки не подавали, но... мы сидим с ним рядом в Центр. Комит. партии и партия ультимативно отстаивает его в Правительстве. Громадное большинство в Цент. Ком. партии с.-р. — или дрянь, или ничтожество. Все у нас построено на обмане. Масловский — определенный, форменный провокатор. Но вот — мы его оправдали (большинством двух голосов). Да, у нас многие — просто германские агенты, получающие большие деньги... Но мы молчим. Многих из нас тянет уехать куда-нибудь... Но мы не можем и не хотим уйти из партии. Чистка ее невозможна. Кто будет чистить? Мы, «призывисты», стоим за Россию, за войну, но... мы дали свои имена максималистской, интернационалистской, черновской газете «Дело Народа».

Ручаюсь честью, что не прибавила ни одного слова своего, все это точнейшая *сводка* подлинных слов. Если, в ужасе, не хочешь ни понимать, ни верить, умоляешь, если так, отколоться с честной частью партии, оставить Чернова — возражают:

— Вот Плеханов откололся, ушел в чистоту, кое-кто ушел с ним, — и какое влияние имеет эта группа? От нас откололась «Воля Народа», правые оборонцы, кто их газету читает? А имя Чернова — вы не знаете, что оно значит для крестьян. Чернов н......, да, но он может в один день 13 речей произнести!

Бред, бред, бред. Какое зрелище!.. да что тут говорить! Бред.

11 августа. Пятница.

Едва живу опять от усталости. И что это будет, с этим Московским Совещанием? Трехтысячная бессмыслица. Чертова болтовня.

В 7 часов уже приехал Борис.

Сегодня он официально понес бумагу об отставке Керенскому.

— Вот мое прошение, г. министр. Оно принято?

— Да.

Небрежно бросил бумагу на стол. Раздражен, возбужден, почти в истерике.

(Ведь вот зловредный корень всего: Керенский не верит Савинкову, Савинков не верит Керенскому, Керенский не верит Корнилову, но и Корнилов ему не верит. Мелкий факт: вчера Корнилов ехал по вызову, однако, мог думать, что и для ареста: приехал, окруженный своими «зверями-текинцами»).

Сцена продолжается.

После того, как прошение было «принято», Савинков попросил позволения сказать несколько слов «частным образом». Он заговорил очень тихо, очень спокойно (это он умеет), но чем спокойнее он был, тем раздраженнее Керенский.

— Он на меня кричал, до оскорбительности высказывая недоверие...

Савинков уверяет, что он, хотя разговор был объявлен «частным», держал себя «по-солдатски» перед начальственной истерикой г. министра. Охотно верю, ибо тут был свой яд. Керенский пуще бесился и положения не выигрывал.

Но выходит полная нелепица. Керенский не то подозревает его в контр-революционстве, не то в заговоре — против него самого.

— Вы — Ленин, только с другой стороны! Вы — террорист! Ну, что ж, приходите, убивайте меня. Вы выходите из правительства, ну что ж! Теперь вам открывается широкое поле независимой политической деятельности.

На последнее Борис, все тем же тихим голосом, возразил, что он уже «докладывал г. министру»: после отставки он уйдет из политики, поступит в полк и уедет на фронт.

Внезапно кинувшись в сторону, Керенский стал спрашивать, а где Борис был вчера вечером, когда Корнилов поехал к нему?

— Если вы меня допрашиваете, как прокурор, то я вам скажу: я был у Мережковских.

Затем «г. министр» вновь бросился на контр-революцию и стал бессмысленно грозить, что сам устроит всеобщую забастовку, если свобода окажется в опасности (???).

По привычке всегда что-нибудь вертеть в руках (вспомним детский волчок с моего стола, половина которого так и пропала под шкафами), тут Керенский вертел карандаш, да кстати и «прошение» Савинкова. Карандаш нервно чертил на прошении какие-то буквы. Это были все те же: «К», «С», по-

том опять «К»... После многих еще частностей, упреков Керенского в каком-то «недисциплинарном» мелком поступке (не то Савинков из Ставки не в тот день приехал, не то в другой туда выехал), после препирателства о Филоненко: «я не могу его терпеть. Я ему уже совершенно не доверяю». На что Савинков отвечал: «а я доверяю и стою за него», — после всех этих деталей (быть может, я их путаю) — Керенский закончил выпадом, очень характерным. Теребя бумагу, исчерченную «К», «С» и «К», — резко заявил, что Савинков напрасно возлагает надежды на «триумвират»: есть «К», и оно останется, а другого «К» и «С» — не будет.

Так они расстались. Дело, кажется, хуже, чем — ...сейчас, когда я это пишу, после 2-х ночи, — внезапный телефонный звонок.

— Allo!

— Это вы, З. Н.?

— Да. Что, милый Б. В.?

— Я хотел с вами посоветоваться. Сейчас узнал, что Керенский хочет, чтобы я взял назад свою отставку. Что мне делать?

— Как это было? Он сам?..

— Нет, но я знаю это официально. Он уехал сегодня в Москву, на совещание.

Конечно, первое мое слово было за то, чтоб он остался, чтобы еще продолжал борьбу. Дело слишком важно...

— Хорошо, я подумаю...

С головокружительной быстротой все меняется.

Керенский мечется, словно в мышеловке.

Завтра Совещание.

12 августа. Суббота.

Борис был, как всегда. Керенскому он дал знать, что согласен остаться на известных условиях.

На Керенского, будто бы, повлияла телеграмма Корнилова, который требовал, чтобы Сав-ва не удалять, а также то, что все кадеты явились к нему с отставками, едва он их умаслил. Не знаю...

Любопытно составлял Керенский свое последнее (летом) министерство. В Царском. Савинков сам писал лист. Там был прежде всего Плеханов. Затем бабушка Брешковская (вместо

Чернова, как имя). Бабушке была послана срочная телеграмма, и Керенский волновался, что она во время не приедет, только через 24 часа. Вместе, Керенский с Савинковым, ездили на автомобиле к Плеханову.

Плеханов согласился.

Затем, в ночь, Керенский поехал в Спб., в Зимний Дворец.

И — говорит Савинков — тут же к нему зашмыгали всякие «либерданы» (кличка мелкой сошки из кучек «Либера» и «Дана»). Один — в очках, другой — в pince-nez, третий — без ничего; под конец явилась знаменитая делегация из Гоца, Зензинова и еще кого-то, с ультиматумом насчет Чернова. И к утру от списка не осталось ни черта. Савинкову было поручено послать Плеханову телеграмму с отказом и встретить на вокзале Брешковскую с извинением: напрасно, мол, тревожились.

Таким образом и составилось «коалиционное» министерство, которого из Кисловодска «нельзя было понять». Нельзя, не зная, что происходит за кулисами.

Да, везде и всегда кулисы...

13 августа. Воскресенье.

Сегодня первый раз, что Борис у нас не был. Совещание в Москве открылось (там — частичная забастовка, у нас — тихо).

Керенский сказал длинную речь. Если не считать появившегося у него заплетания языка, — обыкновенную свою речь: пафотическую, местами недурную. Только уже несовременную, ибо опять не деловую, а «праздничную». (Праздник у нас, подумаешь!) Затем говорил Авксентьев, затем Прокопович. И затем... мы ничего не знаем, ибо вечерних газет не было, редакции пусты, да и завтра не будет газет — «товарищи»-наборщики «праздничают».

Ввергнувшись сразу в пучину здешних «дворцовых» дел, я не успела ничего сказать о бытовом Петербурге и внешнем виде его. Он, действительно, весьма нов.

Часто видела я летний Петербург. Но в таком сером, неумытом, и расхлястанном образе не был он никогда. Кучами шатаются праздные солдаты, плюя подсолнухи. Спят днем в Таврическом саду. Фуражка на затылке. Глаза тупые и скучающие. Скучно здоровенному парню. На войну он тебе

не пойдет, нет! А побунтовать... это другое дело. Еще не отбунтовался, а занятия никакого.

Наш «быт» сводится к заботе о «хлебе насущном». После юга мы сразу перешли почти на голодный паек. О белом хлебе забыли и думать. Но что еще будет!

14 августа. Понедельник.

Днем был Л.

Рассказывал, как он, по нынешней его должности «комиссара печати» (или вроде), закрывал и арестовывал «Правду» после июльских дней. Много любопытного также рассказывал о нынешней «придворности» Керенского...

Л. с досадой говорил о нем. Очень за Савинкова. Просил его познакомить с ним.

Московское Сов., повидимому, скрипит и трещит. Все полно глупыми слухами, как дымом... которого, однако, нет без огня. Факт тот, что Корнилов торжественно явился в Москву, *не встреченный* Керенским и даже, будто бы, вопреки категорическому приказу Керенского не являться, — торжественным картежом проследовал к Иверской, и толпы народа кричали «ура». Затем он выступал на Совещании. Тоже овация. А кучке, демонстративно молчащей, кричали: «изменники! гады!»

Впрочем, тут же и Керенскому сделали овацию.

Керенский — вагон, сошедший с рельс. Вихляется, качается, болезненно, и — без красоты малейшей. Он близок к концу, и самое горькое, если конец будет без достоинства.

Я его любила прежним (и не отрекаюсь), я понимаю его трудное положение, я помню, как он в первые дни свободы «клялся» перед Советами быть всегда с «демократией», как он одним взмахом пера «навсегда» уничтожил смертную казнь... Его стали носить на руках. И теперь у него, вероятно, двойной ужас, и праведный и неправедный, когда он читает ядовитенькие стишки в поднимающей голову «Правде»:

Плачет, смеется,
В любви клянется,
Но кто поверит —
Тот ошибется...

Праведный ужас: ведь если соединиться с Корниловым и

Савинковым, ведь это измена «клятвам Совету», и опять «смертная казнь», — «измена *моей* весне». Я клялся быть с демократией, «умереть без нее» — и должен действовать без нее, даже как бы против нее. В этом ужасе есть внутренний трагизм, хотя при большей глубине ума и души — он не последний. Т.е. это драма, а не трагедия.

Но перед Керенским сейчас только два пути достойных, только два. Или впредь вместе с Корниловым, Савинковым и знаменитой программой, или, если не можешь, нет нужной силы, объяви тихо и открыто: вот какой момент, вот что требуется, но я этого не вмещаю, и потому ухожу. И уйти... уже не бутафорски, а по-человечески, бесповоротно. Я боюсь, что оба пути слишком героичны... *для Керенского.* Оба, даже второй, человеческий. И он ищет третьего пути, хочет что-то удержать, замазать, длить дленье... Третьего нет, и Керенский найдет «беспутность», найдет бесславную гибель... и хорошо, если только свою. В такой момент и на таком месте человек *обязан* быть героичен, обязан выбрать, или...

Или — что? Ничего. Посмотрим. Увидим. Не время еще задавать «последние» вопросы. Один из них хотела я задать себе: а понимает ли Керенский маленькое, коротенькое, простое словечко: — РОССИЯ?

Довольно пока о Керенском. Борис был нынче вечером. Томится от выжидательного безделья и неопределенного своего положения. Дела сдал несколько дней тому назад, но никто их не делает, все военное ведомство и министерство пока остановилось.

От этого «канительного» состояния, которое Борису очень не по характеру, он уже стал ездить в «Привал комедиантов». Утешается, что там он — писатель и поэт Ропшин. А то, говорит, я уже и забыл... (Это жаль, он очень талантлив).

Ну, посмотрим, посмотрим.

17 августа. Четверг.

С понедельника не писала. Бронхит. А погода стоит теплая, еще летняя. Надо бы скорее на нашу дачу ехать, последние дни. Но уж очень и здесь заварено, как-то уехать трудно. Дача, положим, недалеко (около той же Сиверской, где нас «постигла» война) в имении князя Витгенштейна. Газеты — в

тот же день, имеется телефон, прекрасный дом. Разрыва с Петербургом как будто и нет, — как я люблю старинные парки осенью! — а все же и отсюда не оторвешься. Сиверская мне напоминает «беду войны», только теперешняя дача называется как-то пророчески-современно «Красная Дача»... (Она и в самом деле вся красная).

А что случилось?

Борис бывал все дни. В том же состоянии ожиданья.

Московское Сов. развертывалось приблизительно так, как мы ожидали. П-во «говорило» о своей силе, но силы ни малейшей не чувствовалось. Трагическое лицо Керенского я точно видела отсюда...

Вчера Борис сидел недолго.

Был последний вечер неизвестности — утром сегодня, 17-го, ожидался из Москвы Керенский.

Борис обещал известить нас мгновенно по выяснении чего-нибудь.

И сегодня, часу в седьмом — телефон. Ротмистр Миронович. Сообщает мне, «по поручению управляющего военным ведомством», что «отставка признана невозможной», он остается.

Прекрасно.

А около восьми, перед ужином, является и сам Борис. Вот, что он рассказывает.

К Керенскому, когда он нынче утром приехал, пошли с докладом Якубович и Туманов. Очень долго и, по видимости, бесплодно, с ним разговаривали. Он — ни с чем не соглашается. Филоненку ни за что не хочет оставить. (Тут же и телогрей его Барановский; он тоже за Савинкова, хотя и робеет). Каждый раз, когда Туманов и Якубович предлагали вызвать самого Савинкова, — Керенский делал вид, что не слышит, хватался за что ни попадя на столе, за газету, за ключ... обыкновенная его манера. Отставку Савинкова, которую они опять ему преподнесли, (для «резолюции», что ли? Неужели ту, исчерченную?) — небрежно бросил к себе в стол. Так ни с чем они и ретировались.

Между тем *в это же время* Савинков получает через адъютанта приглашение явиться к Керенскому. По дороге сталкивается с выходящими из кабинета своими защитниками. По их перевернутым лицам видит, что дело плохо. В этом убеждении идет к «г. министру».

Свидание произошло наедине, даже без Барановского.

— Он мне сказал, — повествует Савинков, — и довольно спокойно, вот что: «на московском совещании я убедился, что власть правительства совершенно подорвана, — оно не имеет силы. Вы были причиной, что и в Ставке зародилось движение контр-революционное, — теперь вы не имеете права уходить из Правительства, свобода и родина требуют, чтобы вы остались на своем посту, исполнили свой долг перед ними...» Я так же спокойно ему ответил, что могу служить только при условии доверия с его стороны — ко мне и к моим помощникам... «Я вынужден оставить Филоненко», — перебил меня Керенский. Так и сказал «вынужден». Все более или менее, выяснилось. Однако, мне надо было еще сказать ему несколько слов частным образом. Я напомнил ему, как оскорбителен был последний его разговор со мною. — Тогда я вам ничего не ответил, но забыть этого еще не могу. Вы разве забыли?

Он подошел ко мне, странно улыбнулся... «Да, я забыл. Я, кажется, все забыл. Я... больной человек. Нет, не то. Я умер, меня уже нет. На этом совещании я умер. Я уже никого не могу оскорбить и никто меня не может оскорбить...»

Савинков вышел от него и сразу был встречен сияющими и угодливыми лицами. Ведь тайные разговоры во дворцах мгновенно делаются явными для всех...

В 4 часа было общее заседание Пр-ва. И там Савинкова встречали всякими приветливыми улыбками. Особенно старался Терещенко. Авксентьев кислился. Чернова не было вовсе.

На заседании — вопль Зарудного по поводу взорвавшейся и сгоревшей Казани. Требовал серьезных мер. Керенский круто повернул в ту же сторону. Образовали комиссию, в нее включился тотчас и Савинков. Он надеется завтра предложить к подписи целый список лиц для ареста.

Борис в очень добром духе. Знает, что Керенский будет еще «торговаться», что много еще кое-чего предстоит, но все-таки утверждает:

— Первая линия окопов взята.

— Их четыре... — возражаю я осторожно.

Записка Корнилова, ведь, еще не подписана. Однако, — если не ждать вопиющих непоследовательностей, — должна быть подписана.

Как все это странно, если вдуматься. Какая драма для благородной души. Быть может, душа Керенского умирает перед невозможностью для себя —

«...Нельзя! Ведь душа, неисцельно потерянная,
Умрет в крови.
И надо! — твердит глубина неизмеренная
Моей любви».

Есть души, которые, услыхав повелительное «Иди, убей», — умирают, не исполняя.

(Впрочем, я увлекаюсь во всех смыслах. Драмы *личные* здесь не пример. Здесь они отступают).

В Савинкове — да, есть что-то страшное. И ой-ой, какое трагичное. Достаточно взглянуть на его неправильное и замечательное лицо со вниманием.

Сейчас он, после всего этого дня, сидел за моим столом (где я пишу) и вспоминал свои новые стихи (рукописи у него заграницей). Записывал. И ему ужасно хотелось, чтобы это были «хорошие» стихи, чтобы мне понравились. (Ропшин — поэт — такой же мой «крестник», как и Ропшин-романист. Лет 6 тому назад я его толкнула на стихи, в Каннах, своим сонетом, затем терцинами).

— Знаете, я боюсь... Последнее время я писал несколько иначе, свободным стихом. И я боюсь... Гораздо больше, чем Корнилова.

Я улыбаюсь невольно.

— Ну что ж, надо же и вам чего-нибудь бояться. Кто это сказал: — «только дурак решительно ничего не боится?..»

Кстати, я ему тут же нашла одно его прежнее стихотворение, со словами:

«...Убийца в Божий град не внидет...
Его затопчет Рыжий Конь...»

Он прочел (забыл совсем) и вдруг странно посмотрел:

— Да, да... так это и будет. Я знаю, что я... умру от покушения.

Это был вовсе не страх смерти. Было что-то больше этого.

18 августа. Пятница.

Сегодня мы на обед позвали Савинкова и, по уговору с ним, Л., Дмитрий позвал, попозже, Руманова, который тоже бабочкой полетел на Савинкова. (Крылышки бы не обжег).

Мы были вчетвером. Скоро Борис заторопился (теперь уж не сможет так ездить к нам, влез в каторжную работу).

Л. попросил его подвезти; Р. пошел лезть в свой автомобиль, а Борис вызвал меня и Дмитрия на секунду в другую комнату, чтобы сказать несколько слов. Сегодня Керенский лично говорил Лебедеву, что хочет быть министром без портфеля, что так все складывается, что так лучше.

Конечно, так всего лучше — и естественнее для совести Керенского. Это — принятие «первого» пути, конечно (власть К. К. С.), но это смягчение форм, которые для Керенского и не свойственны. Пусть он *отдает себя* на делание нужное; *положит* на него свою душу. Такая душа спасается и спасет, ибо это тоже «героизм».

20 августа. Воскресенье.

Вчера была К. Ушла, опять пришла и дожидалась у меня Ел. и Зензинова с заседания своего ЦК в одном из дворцов.

Явились только после 2-х. (Дмитрий давно лег спать). Некогда было говорить ни о чем. С весны Зензинов очень изменился, потемнел; полевел, «жертвснность» его приняла тупой и упрямый оттенок, неприятный.

Центр. Ком. партии требует Савинкова к ответу, очевидно, из-за Корниловской записки. Тот самый ЦК, где «громадное большинство или немецкие агенты, или ничтожество». (Между прочим, там — чуть ли не председателем или вроде — подозрительный старикашка Натансон, приехавший *через Германию*).

Сегодня утром приехал Д. В. с дачи. Затем всякие звонки. Пришел Карташев — вчера вернулся из Москвы. Приехал к вечеру и Савинков, которому я днем успела сообщить, что его требуют в ЦК, влекут к ответу.

Конечно, он, Савинков, не пойдет туда для объяснений. Он даже права не имеет говорить о правительственной военной политике перед — хотя бы не уличенными — германскими агентами. Я думаю, формально сошлется на проезд многих через Германию.

Но, конечно, будут... уговоры подчиниться постановлению ЦК и явиться на допрос. Расспросы о подробностях «записки», есть ли там уничтожение выборного начала в армии и т.д.

Продолжаю не понимать. Позиция партии с-ров сейчас, несомненно, преступная. А лично, в самых честных, самых чистых (говорю только о них) младенчество какое-то, и не знаешь, что с этим делать...

Что они думают о «комбинации» и о принципе «записки»?

О, какие детски-искренние, преступно-путанные речи! Они, сами, вовсе не против «серьезных мер». Даже так: если Каледин с казаками спасет Россию — пусть. И тут же: комбинация Керенский-Корнилов-Савинков — пуф, авантюра, вводить военное положение в тылу — нельзя, «репрессивные» меры невозможны, милитаризация железных дорог — невводима; нельзя «превращать страну в казармы» и грозить смертной казнью. Наконец, «если только эта «записка» будет Керенским подписана, — министерство взорвется, все социалисты уйдут или будут отозваны, и мы сами, первые (наша партия), пойдем «ПОДЫМАТЬ ВОССТАНИЕ».

За точность слов ручаюсь*. Воочию вижу полную картину слепого «партийного» плена. Добровольного кандального рабства. Сила гипноза, очарования, «большинства». Партия с-эров сейчас вся как-то болезненно распухла, раздалась вширь («землица!»), у них (у лучших) наивное торжество: вся Россия стала эс-эровской! Все «массы» с нами!

Торжествуя, «большинство» и максимальничает; максимализм лучшего меньшинства — только от невозможности не быть со «всеми».

Кое-кто, самоутешаясь, наивно мечтает изнутри «править» ЦК, а через него направлять и стихийную часть партии. Мне даже странно это выписывать. Какая устрашающая мечтательность!

Кончаю. Еще одно вот только, самое трудное (и о чем

---

* И более ни за что. Вряд ли все это было сознательной тактикой партии. Скорей настроением. Кто не был в то время «в настроениях»? И я тоже, конечно. Мои настроения понятны. Верны ли были мои выводы — другой вопрос. Выписываю просто, как было записано, без поправок. (Примеч. 1928 г.).

почти не говорили!). Это что немцы перешли Двину, Рига наверно будет взята — если только уже не взята в данный момент.

21 августа. Понедельник.

Взята.

Мы отходим на линию Чудского озера — Псков. Очень хорошо. Правительство отнеслось к этому фаталистически-вяло. Ожидали, мол.

Город не разобрать. Что — он? Очевидно, нет воображения. На Выборгской заходили большевики с плакатами: «немедленный мир!» Все значит, идет последовательно. Дальше.

Была у К. (погода летняя, жаркая). Сидит сычом Вол. Зензинов, обложенный газетами (своими; другие, ведь, честный и умный «День», например, — «не имеют никакого влияния»).

Никнет аскетическим профилем; недоумело:

— Вот, Ригу взяли...

— Ну, так вам что? — резко говорю я. — А вы спешите пользоваться «влиянием», идите на Выборгскую требовать немедленного мира с немедленной землей.

Пошла оттуда обедать на Фурштадскую, запуталась в казарменных переулках; они страшны даже: грязь, мусор, разваленные кучи «гарнизона», толстомордые солдаты на панели и подоконниках, семечки, гогот и гармоника. Какая тебе еще Рига! Мы не «империалисты», чтоб о Риге думать. Погуляем и здесь. А потом домой, чтоб «землицу»...

Сейчас (поздно вечером) мне звонил Л. Говорил, что оказал весьма сильное давление на Керенского в том смысле, чтоб передать Савинкову и военное, и морское министерство. (К Борису за эти дни несколько раз заезжал Керенский; подолгу говорил с ним).

Далее Л. сообщил, что, для подкрепления, он еще пишет об этом же Керенскому письмо. Я посоветовала краткость и определенность.

Ах, все это, все это — поздно! Опять, как вечно у нас: «рано! рано!» до тех пор, пока делается: «поздно».

Все согласны, что революция у нас произошла не вовремя. Но одни говорят, что «рано», другие, что «поздно». Я, конечно, говорю — «поздно». Увы, да, поздно. Хорошо, если не

«слишком», а только «немного» поздно.

Царя увезли в Тобольск (наш Макаров, П. М., его и вез). Не «гидры» ли боятся, (главное и, кажется, единственное занятие которой — «подымать голову»)? Но сами-то гидры бывают разные.

Штюрмер умер в больнице? Несчастный «царедворец». Помню его ярославским губернатором. Как он гордился своими предками, книгой царственных автографов, дедовскими масонскими знаками. Как он был «очарователен» с нами и... с Иоанном Кронштадтским! Какие обеды задавал!

Стыдно сказать — нельзя умолчать: прежде во дворцах жили все-таки воспитанные люди. Даже присяжный поверенный Керенский не удержался в пределах такта. А уж о немытом Чернове не стоит и говорить.

Отчего свобода, такая сама по себе прекрасная, так безобразит людей? И неужели это уродство обязательно?

22 августа. Вторник.

Дождь проливной; явился Л. Еще не написал письма Керенскому, хочет вместе с нами.

Стали мы помогать писать (писал Л). Можно бы, конечно, покороче и посильнее, если подольше думать, — но ладно и так. Сказано, что нужно. Все те же настоятельные предложения или «властвовать», или передать фактическую власть «более способным», вроде Савинкова, а самому быть «надпартийным» президентом российской республики (т.е. необходимым «символом»).

Подписались все. Запечатали моей печатью и Л. унес письмо.

Не успел Л. уйти — другие, другие, наконец, и М. По программе — с головной болью. В это время у нас из-под крыши повалил дым. Улицу запрудили праздные пожарные. Постояли, напустили своего дыма и уехали, а дымы сами понемногу рассеялись.

Пришел Д. В. из своей «Речи», рассказывает:

— Сейчас встретил защитный автомобиль. Выскакивает оттуда Н. Д. Соколов: «ах я и не знал, что вы в городе. Вы домой? Я вас подвезу». Я говорю — нет, Н. Д., я не люблю казенных автомобилей; я, ведь, никакого отношения к власти не имею... «Что вы, это случайно, а мне нужно бы с вами погово-

рить...» Тут я ему прямо сказал, что, по-моему, он, сознательно или нет, столько зла сделал России, что мне трудно с ним говорить. Он растерялся, поглядел на меня глазами лани: «в таком случае я хочу длинного и серьезного разговора, я слишком дорожу вашим мнением, я вам позвоню». Так мы и расстались. Голова у него до сих пор в ермолке, от удара солдатского.

Я долго с М. говорила.

Вот его позиция: *никакой революции у нас не было.* Не было борьбы. Старая власть саморазложилась, отпала, и народ оказался просто голым. Оттого и лозунги старые, вытащенные наспех из десятилетних ящиков. Новые рождаются в процессе борьбы, а процесса не было. Революционное настроение, ища выхода, бросается на призраки контрреволюции, но это призраки, и оно — беспредметно...

Кое-какая доля правды тут есть, но с общей схемой согласиться нельзя. И во всяком случае я не вижу *действенного* отсюда вывода. Как прогноз — это печально; не ждать ли нам второй революции, которая, сейчас, может быть только отчаянной, — омерзительной?

К концу вечера пришли Ел. и К. С Ел. и М. говорили довольно интересно.

М. опять излагает свою теорию о «небытии» революции, но затем я перевела на данный момент, с условием обсуждать сейчас нужные действия исключительно с точки зрения их *целесообразности.*

Сбивался, конечно, М. на обобщения и отвлеченности. Однако, можно было согласиться, что есть два пути: воздействие внутреннее (разговоры, уговоры) и внешнее (военные меры). Первое, сейчас, неизбежно переливается в демагогию. Демагогия — это беспредельная выдача векселей, заведомо неоплатных, непременно беспредельная (всякая попытка поставить предел — уничтожает работу). М. отвергал и целесообразность этого «насилия над душами». Путь второй (внешние меры, «насилие над телами») — конечно, лишь отрицательный, т.е. могущий не двинуть вперед, но возвратить сошедший с рельс поезд — на рельсы (по которым уже можно двигаться вперед). Но он не только бывает целесообразен: в иные моменты он *один* и целесообразен.

Собеседники соглашались со всем, но схватились за последнее: вот именно теперь — не момент. В принципе они сов-

сем не против, но сейчас — за демагогию, которая нужна «как оттяжка времени». Ну, да, словом — «рано...» (вплоть до «поздно»).

Звучало это мутно, компромиссно... Бояться насилия над телами и нисколько не бояться насилия над душами?

Мне припомнилось: «не бойтесь убивающих тело и более уже ничего не могущих сделать...»

...Потом я спрашивала Ел., что же Борис? Как суд над ним в ЦК? Пойдет? (Нынче он уехал в Ставку дня на три).

Борис, оказывается, отвечает формально: не могу, по моему фактическому положению, объясняться с откровенностью перед людьми, среди которых есть подозреваемые в сношениях с врагом.

Ну что же, ясно, что он прав.

23 августа. Среда.

Вечером Д. В. оставшийся в городе, часов около 12 сидел в столовой (пишу по его точной записи и рассказу). Постучали во входную дверь. Дима решил, что это Савинков, который всегда так приходил. (Дверь от столовой близко, а звонок прислуге очень далеко).

Подойдя к двери, Дима, однако, сообразил, что Савинков — на фронте, в Ставке, а потому окликнул:

— Кто там?

— Министр.

Голоса Дима не узнает. Открывает дверь на полуосвещенное pallier.

Стоит шофер, в буквальном смысле слова: гетры, картуз. Оказывается Керенским.

Кер. Я к вам на одну минуту...

Дим. Какая досада, что нет Мережковских, они сегодня уехали на дачу.

Кер. Ничего, я все равно на одну минуту, вы им передадите, что я благодарю их, и вас всех за письмо.

Переходят в гостиную. Керенский шагает во всю длину, Д. В. за ним.

Дим. Письмо написано коротко, без мотивов, но это итог долгих размышлений.

Кер. А все-таки оно недодумано. Мне трудно, потому

что я борюсь с большевиками левыми и большевиками правыми, а от меня требуют, чтобы я опирался на тех или других. Или у меня армия без штаба, или штаб без армии. Я хочу идти посередине, а мне не помогают.

Дим. Но выбрать надо. Или вы берите на себя перед «товарищами» позор обороны, и тогда гоните в шею Чернова, или заключайте мир. Я вот эти дни все думаю, что мир придется заключить...

Кер. Что вы говорите?

Дим. Да как же иначе, когда войну мы вести не можем и не хотим. Когда ведешь войну, нечего разбирать, кто помогает, а вы боитесь большевиков справа.

Кер. Да, потому что они идут на разрыв с демократией. Я этого не хочу.

Дим. Нужны уступки. Жертвуйте большевиками слева, хотя бы Черновым.

Кер. (со злобой). А вы поговорите с вашими друзьями. Это они посадили мне Чернова...

...Ну что я могу сделать, когда... Чернов — мне навязан, а большевики все больше подымают голову. Я говорю, конечно, не о сволочи из «Новой Жизни», а о рабочих массах.

Дим. И у них новый прием. Я слышал, что они пользуются рижским разгромом. Говорят: вот, все идет по нашему, мы требовали, чтобы 18 июня не начинали наступления...

Кер. Да, да, это и я слышал.

Дим. Так принимайте же меры! Громите их! Помните, что вы всенародный президент республики, что вы над партиями, что вы избранник демократии, а не социалистических партий.

Кер. Ну, конечно, опора в *демократии,* да ведь мы ничего социалистического и не делаем. Мы просто ведем демократическую программу.

Дим. Ее не видно. Она никого не удовлетворяет.

Кер. Так что же делать с такими тйпами, как Чернов?

Дим. Да властвуйте же наконец! Как президент — *вы* должны составлять подходящее министерство.

Кер. Властвовать! Ведь это значит изображать самодержца. Толпа именно этого и хочет.

Дим. Не бойтесь. Вы для нее символ свободы и власти.

Кер. Да, трудно, трудно... — Ну, прощайте. Не забудьте поблагодарить З. Н. и Д. С.

Далее Д. В. прибавляет:

«Ушел так же стремительно, как и пришел. Перемена в лице у него громадная. Впечатление морфиномана, который может понимать, оживляться только после вспрыскивания. Нет даже уверенности, что он слышал, запомнил наш разговор. Я встретил его ласково и вообще «подбодрял».

...Все, говорит Д. В., там в панике, даже Зензинов. Весь город ждет выступления большевиков. Ощущение, что *никакой власти нет.*

Карташев в панике сугубой, фаталистической: «все пропало».

...Странен темп истории. Кажется — вот-вот что-то случится, предел... Ан — длится. Или душит, душит, и конца краю не видать, — ан хлоп, все сразу валится, и не успел даже подумать, что мол, все валится, — как оно уже свалено, кончено, лежит.

В общем, конечно, знаешь, — но ошибаешься в днях, в неделях, даже в месяцах.

Пишу 31 августа (Четвр.)

Дни 26 августа, 29-го и 30-го — ошеломляющие по событиям (т.е. начиная с 26 августа).

Утром я выбежала в столовую: «что случилось?» Д. В. «а то, что генерал Корнилов потерял терпение и повел войска на Петербург».

В течение трех дней загадочная картина то прояснялась, то запутывалась. Главное-то было явно через 2-3 часа, т.е. что лопнул нарыв вражды. Керенского к Корнилову (*не* обратно). Что нападающая сторона Керенский, а не Корнилов. И, наконец, третье: что сейчас перетянет Керенский, а не Корнилов, не ожидавший прямого удара.

Утопая в куче противоречивых фактов, останавливаясь перед явными провалами — неизвестностями, перед явными Х-ами, отмахиваясь от сумасшедшей истерики газет, — я пытаюсь слепить из кусочков действительности образ того, что произошло *на самом деле.*

И пока намеренно воздерживаюсь от *всякой* оценки (хотя внутри она уже складывается). Только то, что знаю *сейчас.*

26-го в субботу, к вечеру, приехал к Керенскому из Ставки Вл. Львов (бывший об. прокурор Синода). Перед своим отъездом в Москву и затем в Ставку, дней 10 тому назад, он тоже был у Керенского, говорил с ним наедине, разговор неизвестен. Точно так же наедине был и второй разговор с Львовым, уже приехавшим из Ставки. Было назначено вечернее заседание; но когда министры стали собираться в Зимний Дворец, из кабинета вылетел Керенский, один, *без* Львова, потрясая какой-то бумажкой с набросанными рукой Львова строками, и, весь бледный и «вдохновенный», объявил, что «открыт заговор ген. Корнилова», что это тотчас будет проверено, и ген. Корнилов немедленно будет смещен с должности главнокомандующего, как «изменник».

Можно себе представить, во что обратились фигуры министров, ничего не понимавших. Первым нашелся услужливый Некрасов, «поверивший» на слово г-ну премьеру и тотчас захлопотавший. Но, кажется, ничего еще не мог понять Савинков, тем более, что он лишь в этот день сам вернулся из Ставки, от Корнилова. Савинкова взял Керенский к прямому проводу, соединились с Корниловым: Керенский, заявив, что рядом с ним стоит В. Львов (хотя ни малейшего Львова *не было*), запросил Корнилова: «подтверждает ли он то, что говорит от него приехавший и *стоящий перед проводом Львов*». Когда выползла лента с совершенно покойным «да» — Керенский бросил все, отскочил назад, к министрам, уже в полной истерике, с криками об «измене», о «мятеже», о том, что немедленно он смещает Корнилова и дает приказ о его аресте в Ставке.

Тут я подробностей еще не знаю, знаю только, что Керенский *приказал* Савинкову продолжать разговор с Корниловым и, на вопрос Корнилова, когда Керенский с членами Пр-ва прибудет, как условлено, в Ставку — отвечал: «Приеду 27-го». Приказал так ответить — *уже посреди* всей этой бучи, *уже* крича и думая об аресте Корнилова, а не о поездке к нему. Объяснил, что это «необходимая уловка», чтобы пока — Корнилов ничего не подозревал, не знал, что все открыто (???). Карташев присутствовал при разговоре этом, стоял у провода.

Опять не знаю никаких дальнейших точных подробностей сумасшедше-истерического вечера. Знаю, что к Керенскому даже Милюкова привозили, но и тот отступился, не бу-

дучи в состоянии ни толку добиться, ни каким бы то ни было способом уяснить себе в чем дело, ни задержать поток действий Керенского хотя на одну минуту. Кажется, все сплошь хватали Керенского за фалды, чтобы иметь минуту для соображения, — напрасно! Он визжал свое, не слушая, и, вероятно, даже физически не слыша никаких слов, к нему обращенных.

По отрывочным выкрикам Керенского и по отрывочным строкам невидимого Львова (арестован), набросанным тут же, во время свидания, — выходило, как будто, так, что Корнилов, как будто, послал Львова к Керенскому чуть ли не с ультиматумом, с требованием какой-то диктатуры, или директории, или чего-то вроде этого. Кроме этих, крайне сбивчивых, передач Керенского, министры не имели никаких данных и никаких ниоткуда сведений; Корнилов только подтвердил «то, что говорит Львов», а «что̀ говорит Львов» — никто не слышал, ибо никто Львова так и не видал.

До утра воскресенья это не выходило из стен дворца; на другой день министры (чуть ли там не ночевавшие) вновь приступили к Керенскому, чтобы заставить его путем объясниться, принять разумное решение, но... Керенский в этот день окончательно и уже бесповоротно огорошил их. Он *уже послал* приказ об отставке Корнилова. Ему велено немедля сложить с себя верховное командование. Это командование принимает на себя сам Керенский. *Уже* написана (Некрасовым, «не видевшим, но уверовавшим») и разослана телеграмма «всем, всем, всем», объявляющая Корнилова «мятежником, изменником, посягнувшим на верховную власть», и повелевающая никаким его приказам не подчиняться. Наконец, для полного вразумления министров, стоявших с открытыми ртами, для отнятия у них последнего сомнения, что Корнилов мятежник и изменник, и заговорщик, — открыл им Керенский: «с фронта уже двинуто на Петербург несколько мятежных дивизий», они уже идут. Необходимо организовать оборону «Петрограда и революции».

Только что ошеломленные министры хотели и это как-нибудь осмыслить — «верующий» Некрасов вырвался к газетчикам и жадно, со смаком, как первый вестник, объявил им все, вплоть до всероссийского текста о гнусном «мятеже» и об опасности, грозящей «революции» от корниловской дивизии.

И «революционный Петроград» с этой минуты забыл об

отдыхе: единственный раз, когда газеты вышли в понедельник. Вообще — легко представить, что началось. «Правительственные войска» (тут, ведь, не немцы, бояться нечего) весело бросились разбирать железные дороги, «подступы к Петрограду», красная гвардия бодро завооружалась, кронштадтцы («краса и гордость русской революции») прибыли немедля для охраны Зимнего Дворца и самого Керенского — (с крейсера «Аврора»).

Корнилов, получив нежданно и негаданно, — как снег на голову, — свою отставку, да еще всенародное объявление его мятежником, да еще указания, что он «послал Львова к Керенскому» — должен был в первую минуту подумать, что кто-то сошел с ума. В следующую минуту он возмутился. Две его телеграммы представляют собою первое настоящее сильное слово, сказанное со времени революции. Он там называет вещи своими именами... «телеграмма министра-председателя является во всей свой первой части сплошной ложью. Не *я* послал В. Львова к Вр. Пр-ву, а *он* приехал ко мне, как посланец Мин-ра Пред.» ...« так совершилась великая провокация, которая ставит на карту судьбу отечества...»

Не ставит. Решает. Уже решила. Я поклялась воздерживаться от выводов... Ибо не все еще знаю. Но *это* я знаю, ведь уже с первого момента всем видно было, что НЕТ НИКАКОГО КОРНИЛОВСКОГО МЯТЕЖА. Я фактически не знаю, что̀ говорил Львов, и вообще не знаю (кто знает?) этот инцидент, но абсолютно не верю ни в какие «ультиматумы». Дурацкий вздор, чтоб Корнилов ни с того, ни с сего, послал их с Львовым! А что касается «мятежных дивизий», идущих на Петроград, то не нужно быть ни особенным психологом, ни политиком, а довольно иметь здравое соображение, чтобы, зная детально все предыдущее со всеми действующими лицами, — догадаться: эти дивизии, по всем признакам, шли в Петербург *с ведома* Керенского, быть может даже по его условию с Корниловым через Савинкова (который только что ездил в Ставку) ибо: 1) на очереди были меры корниловской записки, ее Керенский всякий день намеревался утвердить, а это предполагало посылку войск с фронта, 2) бесспорно ожидался в Петербурге — самим Керенским — большевистский бунт, ожидался ежедневно, и это само собой разумело войска с фронта.

Я почти убеждена, что знаменитые дивизии шли в Пе-

тербург для Керенского, — с его полного ведома, или по его форменному распоряжению.

Поведение же его столь сумасшедше-фатально, что... это уже почти не вина, это какой-то Рок.

«Керенский в эти минуты был жалок...», говорит Карташев.

Но не менее, если не более, жалки были и окружающие этого опасно-обезумевшего человека. Ничего разумно не понимающие (да и можно ли понять?), чующие, что перед ними совершается непоправимое — и бессильные что-нибудь сделать.

Действительно, с того момента, как на всю Россию раздался крик Керенского об «измене» главнокомандующего — все стало непоправимым. Возмущенный Корнилов послал свои воззвания с отказом «сдать должность». Лихорадочно и весело «революционный гарнизон» стал готовиться к бою с «мятежными» дружинами, которые *повел* Корнилов на Петроград. Время ли, да и кому было задумываться над простым вопросом: как это «*повел*» Корнилов свои войска, когда сам он спокойно сидит в Ставке? И что это за «войска», — много ли их? Годные весьма для приструнивания «большевистских» здешних трусов, для укрепления существующей власти, но что же это за несчастный «заговорщик», посылающий горсточку солдат для борьбы и свержения всероссийского Правительства, чуть ли не для «насаждения монархизма?»

Полагаю, если бы черные элементы Ставки имели на Корнилова серьезное влияние, если бы Корнилов вместе с ними начал «заговор», — он был бы немного иначе обставлен, не столь детски (хотя успех его и тогда для меня еще под сомнением).

Но я продолжаю пока летучие факты.

«Кровопролития» не вышло. Под Лугой, и еще где-то, посланные Корниловым дивизии и «петроградцы» встретились. Недоумело постояли друг против друга. Особенно изумлены были «корниловцы». Идут «защищать Временное Правительство» и встречаются с «врагом», который идет «защищать Временное Правительство» тоже, — и то же. Ну, постояли, подумали; ничего не поняли; только, помня уроки агитаторов на фронте, что «с врагом надо брататься», принялись и тут жадно брататься.

Однако, торжественный клич дня: «полная победа петро-

градского горнизона над корниловскими войсками».

Да, произошло громадной важности событие; но все целиком оно произошло *здесь,* в Петербурге. Здесь громыхнулся камень, сброшенный рукой безумца, отсюда пойдут и круги. Там, со стороны Корнилова, просто НЕ БЫЛО НИЧЕГО.

Здесь все началось, здесь будет и доигрываться. Сюда должны быть обращены взоры. Я — созерцатель и записчик — буду смотреть со вниманием на здешнее. Кто хочет и еще надеется действовать — пусть тоже пытается действовать здесь.

Но что можно еще сделать?

Наш Борис (пишу внешние факты) был назначен петерб. ген. губернатором. Пробыл три дня. Сегодня уже ушел от всех должностей. Предполагаю, что его не пожелала всесильная теперь советская «демократия». Такая удача привалила — «корниловщина»! — да чтоб тут сразу и ненавистного Савинкова не сбросить?

Но и Керенский теперь всецело в руках максималистов и большевиков. Кончен бал. Они уже не «поднимают голову», они сидят. Завтра, конечно, подымутся и на ноги.

Во весь рост.

1 сентября. Пятница.

Встали. Стоят. Скоро поднимутся и на цыпочки, еще выше станут.

За это время все министры только и делают, что подают в отставку. (Я их понимаю, — ничего-то не понимая!).

Чернов сразу ушел «по политическим обстоятельствам» (?).Остальные перемещались, уходили, приходили, то скопом, то в одиночку... Керенский, между тем, не уставая громил «изменника» на всю Россию, отрешал, предавал суду и т.д. Назначил Алексеева под себя, а сам сделался главнокомандующим. Почему мне вспоминается Николай II? Не похоже — и странно-соединено, в каком-то таинственном аккорде (как их два лица, когда-то, рядом — в моем зеркале). И еще... Последние акты всех трагедий почти всегда похожи, сходствуют — при разности. *Последние* акты.

Керенский стал снова тяпать «коалицию» (судя по газетам; подтверждений не имею, но очевидно так). Совсем было

стяпал с тремя ка-детами, затем Барышниковым, Коноваловым... Но тут опять явились, будто бы, «товарищи от цк» и прекратили все. В смятении полу-назначенные и полуоставшиеся министры потекли из Зимнего Дворца. Кого назад покличут?

Большевикам широко открыли двери тюрьмы (немного их там и оставалось, но все же — всему остатку). Они требуют «всех долой»: кадетов и буржуазию немедленно арестовать; Алексеева, который послан арестовывать Корнилова, — арестовать, и т.д.

Теперь их требования фактически опираются на Керенского, который сам опирается... на что? На свое бывшее имя, на свою репутацию в прошлом? Оседает опора...

Дело идет к террору. В газетах появились белые места, особенно в «Речи» (ка-деты, ведь, тоже считаются «изменниками»). «Новое Время» вовсе закрыли.

Ни секунды я не была «на стороне Корнилова», уже потому, что этой «стороны» вовсе не было. Но и с Керенским — рабом большевиков, я бы тоже не осталась. Последнее — потому, что я уже совершенно не верю в полезность каких-либо действий около него. Зная лишь внешние голые факты — объясняю себе поступок Бориса, остававшегося у Керенского (лишь через 3 дня удаленного) двояко: может быть, он еще верил в действие, а если верить — то, конечно, оставаться *здесь,* у истока происшествия, на месте преступленния; быть может также, Борис, учитывая всеобщую силу гипноза «корниловщины», сотворения бывшим-небывшего, увидел себя (если б сразу ушел) в положении «сторонника Корнилова» — против Керенского. То (пусть призрачное) положение — именно то, которое он для себя отвергал. «Если Корнилов захочет один спасать Россию, пойдет против Керенского... — это невероятно, но допустим, — я, конечно, не останусь с Корниловым. Я в него без Керенского не верю...» (Это он говорил в начале августа). И вышло, как по нотам. «Невероятное» (выступление Корнилова) не случилось, но оказалось «допустимым». *Как бы* случившимся. И Борис не мог *как бы* остаться с Корниловым.

А то, что он остался с Керенским, уж само собой вышло тоже «как бы».

Теперь или ничего не делать (деятелям) или свергать Керенского. X. тотчас возражает мне: «свергать! А кого же на

его место? Об этом надо раньше подумать». Да, нет «готового» и «желанного», однако, эдак и Николая нельзя было свергать. Да всякий лучше теперь. Если выбор, — с Керенским или без Керенского валиться в яму (если уж «поздно»), то, пожалуй, все-таки лучше без Керенского.

Керенский — самодержец-безумец и теперь раб большевиков.

Большевики же все, без единого исключения, разделяются на:

1) тупых фанатиков;

2) дураков природных, невежд и хамов;

3) мерзавцев определенных и агентов Германии.

Николай II — самодержец-упрямец...

Оба положения имеют один конец — *крах.*

7 сентября. Среда.

Данный момент: устроить правительство Керенского так и не позволили, — Советы, окончательно обольшевичевшиеся, черновцы и всякие максималисты, зовущие себя почему-то «революционной демократией». Назначили на 12-ое число свое великое совещание, а пока у нас «совет пяти», т.е. Керенского с четырьмя ничтожествами. Некоторые бывшие министры не вовсе ушли, — остались «старшими дворниками», т.е. управляющими министерствами «без входа» к Керенскому (!). Только Чернов ушел плотно, чтобы немедля начать компанию против того же Керенского. Он хочет одного: сам быть премьером. Ну, в «социалистическом министерстве», конечно: в коалиции с... большевиками. После съедения Керенского.

Я сказала, что теперь «всякий будет лучше Керенского». Да, «всякий» лучше для борьбы с контр-революцией, т.е. с большевиками. Чернов — объект борьбы: он сам — контрреволюция, как бы сам большевик.

«Краса и гордость» непрерывно орет, что она «спасла» Вр. Пр-во, чтобы этого не забывали и по гроб жизни были ей благодарны. Кто, собственно, благодарен — неизвестно, ибо никакого прежнего Пр-ва уже и нет, один Керенский. А Керенского эта «краса», отнюдь не скрываясь, хочет съесть.

Петербург в одну неделю сделался неузнаваем. Уж был хорош! — но теперь он воистину страшен. В мокрой черноте

кишат, — буквально, — серые горы солдатского мяса; расхлястанные, грегочущие и торжествующие... люди? Абсолютно праздные, никуда не идущие даже, а так шатающиеся и стоящие, распущенно-самодовольные.

Вот у Бориса и Л. (они за это время уже успели как-то соединиться).

Картина всего происшедшего, нарисованная раньше, в общем так *верна,* что я почти ничего не имею прибавить. Корнилов, как не был «мятежником», так им и не сделался. В момент естественного возмущения Корнилова всей «провокацией», черные элементы Ставки пытались, видимо, использовать это возмущение известным образом. Но влияние их на Корнилова было всегда так ничтожно, что и в данный час не оказало действия. Говорят, что знаменитые телеграммы-манифесты редактированы Завойко. Но это абсолютно безразлично, ибо они остаются настоящим, истинным криком благородного и сильного человека, пламенно любящего Россию и свободу. Если бы Корнилов не послал этих телеграмм, если бы он сразу, бессловно, покорился и тотчас, по непонятному, единоличному приказу Керенского стал «сдавать должность», — как знающий за собой вину «изменник», — *это был бы не Корнилов.*

И если б теперь он не понял, что «провокация» остается провокацией, но что дело обернулось безнадежно, что разъяснить ничего нельзя; если б он сейчас еще пытался бороться или бежал — это был бы не Корнилов. Я думаю, Корнилов так спокойно дождался Алексеева, приехавшего смещать и арестовывать его, — именно потому, что слишком уверен в своей правоте и смотрит на суд, как на прямой выход из темной и недоразуменной запутанности оплетших его нитей. Это опять похоже на Корнилова. Боюсь, что тут ошибется его честная и наивная прямота. Еще какой будет суд. Ведь если он будет настоящий, высветляющий, — он должен безвозвратно осудить — Керенского.

Борис рассказывает: *только в ночь на субботу,* 26-ое, он вернулся из Ставки от Корнилова. Львова там видел, мельком. Весь день пятницы провел в «торговле» с Корниловым из-за границ военного положения. Керенский поручил Савинкову выторговать Петроградский «Округ», и Савинков, с картой в руках, выключал этот «округ», сам, говорит, понимая, что делаю идиотскую и почти невозможную вещь. Но так же-

лал Керенский, обещая, что «если, мол, эта уступка будет сделана»... С величайшими трудами Савинкову удалось добиться такого выключения. С этим он и вернулся от совершенно спокойного Корнилова, который уже имел обещание Керенского приехать в Ставку 27-го. Все по расчету, что «записка» (в которую, кроме вышесказанного ограничения, были внесены некоторые и другие уступки по настоянию Керенского) будет принята и подписана *26-го.* Ко времени ее объявления — 27-28 — подойдут и надежные дивизии с фронта, чтобы предупредить беспорядки. (3-5 июля, во время первого большевистского выступления, Керенский рвал и метал, что войска не подошли вовремя, а лишь к 6-му).

Весь этот план был не только известен Керенскому, но при нем и с ним созидался.

Только одна деталь, относительно Корниловских войск, о которой Борис сказал:

— Это для меня не ясно. Когда мы уславливались точно о посылке войск, я ему указал, чтобы он не посылал, во-первых, своей «дикой» дивизии (текинцев) и во-вторых, — Крымова. Однако, он их послал. Я не понимаю, зачем он это сделал...

Но возвращаюсь к подробностям дня субботы. Утром Борис тотчас сделал обстоятельный доклад Керенскому. Ничего определенного в ответ не получил, ушел. Через несколько часов вернулся, опять с тем же — и опять тот же результат. Тогда Борис настоятельно попросил позволения сказать г. министру несколько слов наедине. Все вышли из кабинета. И в третий раз Савинков представил весь свой доклад, присовокупив: «дело *очень* серьезно»...

На это Керенский бросил бумаги в стол, сказав, что «хорошо, он решит дело в вечернем заседании Вр. Правительства».

Но ранее этого заседания, *за час,* приехал Львов... и воспоследовало то, что воспоследовало.

Истерика, в эти часы, Керенского трудно описуема. Все рассказы очевидцев сходятся.

Не один Милюков был туда привезен: самые разнообразные люди все время пытались привести Керенского в разум хоть на одну секунду, надеясь разъяснить «чертово недоразумение», — тщетно; Керенский уже ничего не слышал. Уже было сделано, сказано, непоправимое.

Однако, голым безумием да истерикой не объяснишь действий Керенского. Заведомой злой хитростью, расчетливо и обманно схватившейся за возможность сразу свалить врага, — тоже. Керенский — не так хитер и ловок, недальновиден. Внезапным, больным страхом, помутняющим зрение, одним страхом за себя и свое положение, — опять невозможно объяснить всего. Я решаю, что тут была сложность всех трех импульсов: и безумия, и расчетливого обмана, и страха. Сплелись в один роковой узор, и были покрыты тем «керенским вдохновением», когда человек этот собою уже не владеет и себя не чувствует, а владеет им целостно дух... какой подвернется, темный или светлый. Нет, темный, ибо на комбинацию истерики, лжи и страха светлый не посмотрит. И дух темный давно уже ходит по пятам этого потерянного «вождя».

Я все отвлекаюсь. Я, ведь, еще не подчеркнула, что до сих пор то, из-за чего, как будто, запылал сыр-бор, совершенно не выяснено. Какой «ультиматум» привез от Корнилова Львов? Где этот ультиматум? И что это, наконец, — «диктатура?» Чья, Корнилова? Или это «директория»? Где доказательство, что Корнилов послал Львова к Керенскому, а не Керенский его — к Корнилову?

Где, наконец, сам Львов?

Это, — одно, известно: Львов, арестованный Керенским, так с тех пор и сидит. Так с тех пор никто его и не видел, и никому он ничего не говорил, ничего не объяснил. Потрясающе!

Я спрашивала Карташева: но ведь перед своим отъездом в Ставку Львов был у Керенского? Разговор их неизвестен. Но почему хоть теперь не спросить у Керенского, в чем он заключался?

Карташев, оказывается, спрашивал.

— Керенский уверяет, что тогда Львов бормотал что-то невразумительное, и понять было нельзя.

Керенский «уверяет». А теперь уверяет, что вернувшийся Львов так вразумительно сказал о «мятеже», что сразу все сделалось бесповоротно ясно, и в ту же минуту надлежало оповестить Россию: «всем, всем, всем! Русская армия под командованием изменника»!

Нет, моя голова может от многого отказаться, но не от здравого смысла. И перед этим последним требованием я пасую, отступаю, немею.

Не понимаю. И только боюсь... будущего.

Ведь уже через два часа после объявления «корниловского мятежа» Петербург представлял определенную картину. Победители сразу и полностью использовали положение.

Что касается Савинкова, то я с приблизительной точностью угадала, *почему* не мог он не остаться с Керенским, на своем месте. Не было двух сторон, не было «корниловской» стороны. Если б Савинков ушел от Керенского — он ушел бы «никуда»; но этому никто не поверил бы: его уход был бы только лишним доказательством бытия корниловского заговора. (Так же, как если б Корнилов — убежал).

На своем новом посту генерал-губернатора Савинков сделал все, что мог, чтобы предотвратить хоть возможность недоразуменной бойни между идущими фронтовыми войсками и нелепо рвущимся куда-то гарнизоном (подстегивали большевики).

Через три дня Керенский по телефону, без объяснений причин, сообщил Савинкову, что он «увольняется от всех должностей».

Не соблюдены были примитивные правила приличия. Не до того. Да ведь все равно не скроешь больше, кто настоящая теперь власть, над нами и... над Керенским.

Последнее свидание «г. министра» с прогнанным «помощником» — кратко и дико. Керенский его целовал, истеричничал, уверял, что «вполне ему доверяет...», но Савинков сдержанно ответил на это, что «он-то ему больше уже ни в чем не доверяет»*.

---

* *Примечание 1929 года.* В связи со всем, что в этой книге записано о «*деле Корнилова*», будет небезынтересно остановиться на свидетельстве (сильно запоздавшем!) одного из его главных участников, — А. Ф. Керенского. После двенадцати лет молчания, Керенский решился, наконец, «вспомнить» эти страшные дни. В «Воспоминаниях» его (Совр. Зап. июль 1929 г.) есть кое-что поразительное, непонятное, достойное отметы. — Цепь своих действий Керенский передает весьма согласно моей записи, и даже в описании своих «состояний» кое-где приближается к моему рассказу, напр., при роковом визите Львова: «не успел Львов кончить, я уже не размышлял, а действовал...» «...Я выхватил бумажку у него из рук (что-то тут же набросанное) и спрятал ее в карман своего френча...» и т.п. Не обошлось, положим, и тут, в фактической стороне, без искажений и своеобразных умолчаний (см. мою запись от 19 окт. 17 г., — объяснения только что выпущенного Львова). Обходя молчанием одни факты, ка-

10 сентября. Воскресенье.

Все дальнейшее развивается нормально. Травля Керенского Черновым началась. И прямо, и перекидным огнем. Вчера были прямые шлепки грязи. («Керенский подозрителен» и т.п.), а сегодня — «Керенский — жертва» в руках Савинкова, Филоненко и Корнилова, «гнусных мятежников и контр-революционеров», пытавшихся уничтожить демокра-

---

саясь иных вскользь (знаменитой записки Корнилова, роли Савинкова), — Керенский зато говорит о «монархическом заговоре», о намерении Корн. свергнуть Вр. Пр. и убить его, Керенского, — как о *факте несомненном;* доказательств, впрочем не приводит, и большинство людей, доносивших ему о заговоре, не названы. Утверждение, хотя бы бездоказательное, хотя бы ведущее к великой путанице в рассказе, — со стороны Керенского еще понятно, в виду цели мемуариста — оправдать себя, свою роль в этой темной истории. Но уже совершенно непонятно, для чего Керенский, не останавливаясь, начинает рисовать картины действительности в таком абсолютно-ложном виде, что невольно поражаешься: ведь слишком известен всем их подлинный вид. С каким расчетом, — или в каком «состоянии, — можно сегодня серьезно писать, например, что в августе 17 года России уже не грозило ни малейшей опасности от большевиков, «загнанных в подполье», что Вр. Прав. вполне овладело армией, страной; рабочими, крестьянами, что только «мятеж» Корнилова всю страну «мгновенно» вернул к анархии (и воскресил большевиков)?! Таково исходное положение мемуаров Керенского...

Но *правда* имеет объективную силу. И, повинуясь ей, против Керенского встали даже такие друзья, которые, в недавней защите его против «Корниловщины» моего дневника, не постеснялись заподозрить подлинность записи. Ныне о странном рисунке положения Керенского, в «Последн. Нов.» говорится: «Просто даже неловко доказывать, что оно не имеет ничего общего с той реальной действительностью, которая была тогда, в августе 17 г.». И далее, после указаний на все противоречия, в которых запутался Керенский: «и для слепого ясно, что с самого начала революции до октября 17 г. в России реальна была лишь одна опасность, опасность *левая*» (курсив автора).

Да, «и для слепого ясно...» И для него ясно, чего стоят «воспоминания» Керенского, возлагающего всю вину за падение России на погибшего Корнилова, на его «мятеж», в котором Керенский «сразу увидел смертельную опасность для государства...», хотя, по его же словам, в тех же «воспоминаниях», нисколько этой опасности не боялся» (??)

От меня, впрочем, далека теперь мысль «возлагать» какие-нибудь вины и на Керенского. Меня интересует, как всегда, только правда. В сознательном или бессознательном состоянии отступает от нее Керенский — я не догадываюсь, да это и не имеет значения. Во всяком случае — отступил он от правды без всякой пользы и для себя и для журнала, напечатавшего «воспоминания». З. Г.

тию» и превратить «страну в казарму». Эти «гнусные черносотенные замыслы», интриги, подготовление восстания и мятежа велись за «спиною Керенского», говорит Чернов (сегодня, а завтра в «Деле» Чернова опять пойдет непосредственная еда и Керенского).

Ах, дорогие товарищи, вы ничего не знали? Ни о записке, ни о колебаниях Керенского, ни о его полусогласиях, — вы не знали? Какое жалкое вранье! Не выбирают средств для своих целей.

Президиум Совета Раб. и Солд. (Чхеидзе, Скобелев, Церетели и др.) на днях после принятия большевистской резолюции, ушел. Вчера был поставлен на переизбрание и — провалился. Победители, — Троцкий, Каменев, Луначарский, Нахамкес, — захлебываются от торжества. Дело их выгорает. «Перевернулась страница»... да, конечно...

Керенский давно уехал в Ставку, и там застрял. Не то он переживает события, не то подготовляет переезд Пр-ва в Москву. Зачем? Военные дела наши хуже нельзя (вчера — обход Двинска), однако теперь и военные дела зависят от *здешних* (которые в состоянии, кажется, безнадежном). Немцы, если придут, то в зависимости от здешнего положения. И все же не раньше весны. Слухам о мире даже «на наш счет» — мало верится, хотя они растут.

Я делаю ошибку, увлекаясь подробностями происходящего, так как всего, что мы видим и слышим, всего, что делается, меняясь каждый час, — записать я не имею просто физической возможности. Будем же сухи и кратки.

Два слова о Крымове (которого Борис, уславливаясь с Корн. о присылке войск, просил не посылать, и который почему-то был все-таки послан).

Когда эти защитные войска были объявлены «мятежными» и затем «сдавшимися», Крымов явился к Керенскому. Выйдя от Керенского — он застрелился... «Умираю от великой любви к родине...». Беседа их с Керенским неизвестна (опять «неизвестна»! Как разговор с Львовым).

Этот Крымов участвовал в очень серьезном военно-фронтовом заговоре против Николая II перед революцией. Заговору помешала только разразившаяся революция.

А насчет Львова, который так и сидит, так и невидим, так и остается загадочнейшим из сфинксов, — пустили версию, что он «клинически помешан». Я думаю, это сами г-да

министры, которые продолжают ничего не понимать — и не могут так продолжать ничего не понимать. Не могут верить, что Корнилов послал Львова к Керенскому с ультиматумом (разум не позволяет); и не смеют поверить, что он никакого ультиматума не привозил — (честь не позволяет), ведь если поверили, что не привозил, — то как же они кроют обман или галлюцинацию Керенского, ездят в Зимний Дворец, не уходят и не орут во все горло о том, что произошло?

А такой выход, что «Львов — помешанный», что-то наболтал, на что-то, случайно, натолкнул, Керенский вскипел и поторопился, конечно, но... и т.д. — такой выход несколько устраивает положение, хотя бы временно... А ведь и Правительство-то «временное...»

Я это отлично понимаю. Многие разумные люди, истомленные атмосферой нелепого безрассудства, с облегчением схватились за этот лже-выход. Ибо — что меняется, если Львов сумасшедший? Тем страшнее и стыднее: от случайного бреда помешанного перевернулась страница русской истории. И перевернул ее поверивший сумасшедшему. Жалкая была бы картина!

Но и она — попытка к самоутешению. Ибо я твердо уверена (да и каждый трезвый и честный перед собой человек), что:

1) нисколько Львов не сумасшедший;

2) никаких он ультиматумов не привозил.

Поздно веч. 10-го же.

Дай Бог завтра вырваться на дачу. Эти дни сплошь Борис, Ляцкий и всякие другие. Страшная обида, что мы уезжаем (далеко ли?), особенно в виду планов Бориса с газетой. В них боюсь верить; во всяком случае об этом — после.

Сейчас мне рассказывали (с омерзением) знакомые, как 3-5 июля у них «скрывался» дрожащий Луначарский, до «поганости» перетрусивший, и все трясся, куда бы ему уехать, и все врал, нагадив.

Часа в 4 сегодня был Карташев, — только что подал в отставку. Опять! Если опять с тем же результатом... Ведь, уж сколько их подавали...

Мотивировал, что «при засилии крайних социалистических элементов...» и т.д.

Терещенко уговаривал: ах, подождите, приедет Керенский — мы вместе подадим, будет демонстрация. Этот никогда даже и не подаст.

Вечером Карташев уехал в Москву, чтобы там сдать дела своему товарищу С. Котляревскому. Жаль, Карташев тут очень вмешал свое юное кадетство, к которому относится прозелитически-горячо. Il est plus miluqué, que Milukoff.

Но и за то спасибо, что освободился... если освободился. Останется!

18 сент. Понедельник.

«...Демократическое Совещание» в Александринке началось 14-го. Длится. Жалко. Сегодня оно какое-то параличное. Керенский тоже в параличе. Правительства нет. Дем. Сов. хочет еще родить какой-то «предпарламент». Чем все кончится — можно предугадать, но.., смертельная лень предугадывать.

20 сентября. Среда.

Затяжная скука (несмотря на всю остроту, невероятную, положения).

Вчера Борис. У него теперь проект соединения с казаками (и если не выйдет с ними газета — ехать на Дон). На это соединение я гляжу весьма сомнительно. Не только для нас, но и для него. Жечь корабли надо, но разумно ли все? И какую такая газета будет иметь «видимость»? Целесообразно ли рыть хотя бы «видимую» пропасть между собою и праведно откалывающейся частью эс-эров, стоящих на верном пути? Не следует ли сейчас говорить самые *правые* вещи — в *левых* газетах? Не это ли только имеет значение?

Демокр. Сов. позорно провалилось. Сначала незначительным большинством (вчера вечером) высказалось «за коалицию». Потом идиотски стало голосовать — «с к.д.» или «без». И решило — «без». После этого внезапно громадным большинством все отменило. И, наконец, решило не разъезжаться «пока чего-нибудь не решит».

Сидит... в количестве 1700 человек, абсолютно глупо и зверски.

И Керенский сидит... ждет. Правительства нет.

Сейчас был Карташев, приехавший из Москвы.

Он как бы ушел... а в сущности нет. Занимается ведом-

ством, отставка его не принята, «соборники» и синодчики всполошились, как бы к церкви не был приставлен «революционер», «социалист», т.е. «не верующий в нее». Послали митр. Платона к Керенскому, с просьбой оставить им Карташева. (Т.е. *не* революционера, *не* социалиста, верующего в церковь).

Мне все так же, если не больше, жаль Карташева, его ценность.

Он весь в кадетском прозелитизме (его вечная «добросовестность»). И совершенно наивно говорит: «конечно, если верующий — (тут подразумевается «верующий в Бога») — то только и может быть кадет. Какой же социалист — религиозный»...

Звонит Л. Не может приехать, сидит в типографии, где у него «начались большевистские беспорядки» (?).

Свидание наше с «казаками» по поводу газеты будет завтра, у нас. Хорошо, если б они не понадобились. А газета нужна.

Д. В. от всего отстраняется. Дмитрий весь в мгновенных впечатлениях, линии часто не имеет.

Позднее, 20-го же.

Л. таки был. Арестовал кучу самых погромных прокламаций. Грозил закрыть типографию.

Привез показания Савинкова по Корниловскому делу. Они очень точны и правдивы. Ничего нового для этой книги. Только детали.

Говорили много о Савинкове. Л. недурно его нащупывает.

Гораздо позднее, около 1 часу, телефонировал Борис. На собрании «Воли Народа», где он только что был, получилось странное сообщение: что будто *президиум* Дем. Совещания голосовал «коалицию» и большинством 28 голосов (59 и 31) высказался *против,* после чего будто бы Керенский «сложил полномочия». Удивляюсь, не разбираюсь, спрашиваю:

— Что же теперь будет?

— Да ничего... будет Авксентьев.

(Борис мог бы ответить мне совершенно так, как, в 16-м году, кажется, или раньше, ответил мне на подобный же вопрос Керенский, после роспуска Думы: «будет то, что начинается с *а*... И, конечно, сегодня А большое (Авксентьев) го-

раздо менее вероятно, нежели *а* маленькое... Будет не А...вксентьев, но а...нархия, все равно, «сложил» уже Керенский с себя какие-то «полномочия», или еще нет. Да и весть-то чепушистая).

Вероятно, это в связи с дневным происшествием: Керенский прислал в президиум извещение: — намерен сформировать кабинет и завтра его объявить.

На это было отвечено строго и внушительно, чтобы и думать не сметь. Ни-ни. Ни в каком случае.

21 сентября. Четверг.

Два казака. Настоящие, здоровенные, под притолку головами. У одного — обманно-юношеское лицо с коротким и тупым носом, с низким лбом под седеющими кудрями — лицо римской статуи. Другой — губы вперед, черные усы, казак и казак.

Не глупые (по моему — хитрые), не сложные, знающие только здравый смысл. Знающие свое, такое далекое всяким «нам» с нашими интеллигентскими извилинами, далекое всяким газетам, всякому Струве, Амфитеатрову... да и самой «политике» в настоящем смысле слова.

Это те «право-фланговые», с которыми faute de mieux хочет соединиться Борис для газеты. В их газете уже сидит Амфитеатров, но они смотрят на него столь же невинными глазами, как и на газету, и на нас.

Были, кроме них и Бориса, — Карташев, Л., М., и Филоненко.

Два слова о Филоненко, из-за которого, между прочим, тоже воевал Борис с Керенским, отстаивал его. Этот Филоненко уже не в первый раз у нас, его и раньше Савинков привозил на газетные совещания. (Я просила привезти его, ибо хотела видеть, в чем штука, что за человека Борис так яростно отстаивает).

Должна сказать, что он производит очень *неприятное* впечатление. И не только на меня, но на всех нас, даже на Л. Небольшой черный офицер, лицо и голова — не то что некрасивы, но есть напоминающее «череп». Беспокойливость взгляда и движений (быть может, после корниловской истории он несколько «не в себе», недаром писал в газеты какие-то декадентски-невразумительные и «лирические» письма; а, мо-

жет, и они — наигранное). Присматриваясь и разбираясь, вне «впечатлений», нахожу: он очень не глуп, даже в известном смысле тонок, и *совершенно* не заслуживает доверия. Я ровно ничего о нем не знаю, и уж, конечно, никакого его «дна» не знаю, однако, вижу, что у него *два дна*. Почему так стоит за него Борис? Филоненко его ставленник, он был его помощником на фронте... это ничего бы не значило, но Филоненко так умно, тонко и непрерывно выражает полную преданность идеям, задачам и самому Борису, что... Борис *должен* этому поддаваться. Его и вообще-то «преданностью» весьма можно связывать, но когда это грубо, и человек глупый и маленький, — то кроме маленькой личной приятности и маленьких неудобств из этого ничего не выходит. И Борис уже только смотрит свысока на этих вассалов. Филоненко же не таков; он, повторяю, так умно «предан», что не сразу разберешься. А это «tare» Бориса, — весить людей, отчасти, и по их отношению к себе.

Я предполагаю (насколько видно), что Филоненко поставил свою карту на Савинкова. Очень боится (все больше и больше), что она будет бита. Другой же карты пока у него нет, и он еще не хочет отвлекаться для поисков ее. Но, конечно, исчезнет, решив, что проиграл.

Мы нисколько не скрыли от Бориса, что Филоненко нам не нравится. Он даже обещал к нам его не привозить без дела*.

Что касается казаков и казачьей газеты, то я — против. Это не средство для достижения целей Бориса. Действовать «право» — надо, но действительна эта правизна лишь из левого угла.

Карташев бредит новым блоком направо — без предела. Нет, если спасать все-таки «стенающую тварь» — нужна мера. А без меры — прежде всего *не выйдет*.

Никаких «полномочий» Керенский и не думал «складывать». Изобретают теперь «предпарламент» и чтобы Пр-во

---

* С Фил. нам еще пришлось свидеться гораздо позднее, чуть не через год. Он уже разошелся с Сав. (чего мы не знали) и был в СПБ. нелегально. К моему впечатлению тогда прибавилось еще одно, неожиданное: никогда не видали мы человека с таким *бесстрашием, смелостью — до дерзости*. Это в нем *было*. (хотя и не послужило к тому, чего он хотел). (Примечание 1929 г.).

(будущее) перед ним отвечало. Занятия для предпарламента готово одно (других не намечается): свергать правительства. Керенский согласен.

Большевики, напротив, ни с чем не согласны. Ушли из заседания.

Предрекают скорую резню. И серьезную. Конечно! Очень серьезную.

На улице тьма, почти одинаковая и днем и ночью. Склизь.

Уехать бы завтра на дачу. Там сияющие золотом березы и призрак покоя.

Призрак, ибо и там все думаешь об одном, и пишутся такие стихи, как «Гибель»: — «близки кровавые зрачки... дымящаяся пасть... Погибнуть? Пасть..?»

Впрочем, последний раз я не стихами только занималась: М. дал мне свое «воззвание» против большевиков. Длинные, скучные страницы... А по моему — следовало бы манифест, резкий и краткий, от молчаливой интеллигенции. «В виду преступного слабоволия правительства...»

Но, конечно, я понимаю: ведь это опять лишь *слова.* И даже на слова, такие определенные, уже не способна интеллигенция. Какой у нее «меч духа!» Ни черта не выйдет, тем более, что тут М. С ним как-то особенно не выходит.

30 сентября. Суббота.

Со дня последней записи мы уже ездили на Красную Дачу и вновь приехали в Петербург. Нас вызвали из-за газеты (уже не казачьей). Не пишу обо всех этих канителях, собраниях, свиданиях с Савинковым и Л., ибо это кухня, и какой выйдет обед, и выйдет ли, — еще неизвестно.

Сегодня немцы сделали десант на Эзеле-Даго. В стране нарастающая анархия.

Позорное Демократическое Совещание своим очередным позором и кончилось. На днях откроется этот «предпарламент» — водевиль для разъезда.

«Дохлая» правительственная коалиция всем одинаково претит. Карташев идет по той наклонной плоскости, на которую вступил весной. Его ценность все равно, уже *наверно,* будет потеряна. Но мне его жалко и как человека. И чем заразился?

Сохранившие остаток разума и зрения видят, как все это кончится.

Все — вплоть до «Дня» — грезят о штыке («да будет он благословен»). Но — поздно! поздно! Говорится: «пуля — дура, штык — молодец»; и вот, опоздали мы со штыком, дождемся мы «пули-дуры».

Керенский продолжает падение, а большевики уже бесповоротно овладели Советами. Троцкий — председатель.

Когда именно будет резня, пальба, восстание, погром в Петербурге — еще не определено. Будет.

8 октября. Воскресенье. Кр. Дача.

Нужно иметь недюжинные силы, чтобы не пасть духом. Я почти пала. Почти...

Керенский настоял, чтобы Пр-во уезжало в Москву. И с «Предпарламентом», который, под именем «Совета Российской Республики», вчера открылся в Мариинском Дворце. (Я и не написала, что у нас объявлено: пусть Россия называется республикой. Ну что ж, «пусть называется». Никого «слово» не утешило, ровно ничего не изменило).

Открытие нового места для говорения было кислое. Председатель — Авксентьев. Внедрили туда и к. д., и «цензовые элементы». На первом же заседании Троцкий, с пособниками, устроил базарный скандал, после которого большевики, с угрозами, ушли. (Это их теперешняя тактика везде).

А «Совет Р.» — тоже разошелся, до вторника. И то барские языки устали.

Внешнее положение — самое угрожающее. Весь Рижский залив взят, с островами. Но вряд ли до весны немцы и при теперешнем положении двинутся на Петербург.

Или, разве, если Керенский отъездом пр-ва ускорит дело. Отдаст Петербург сначала на бойню большевистскую, а потом и немцам. Уж очень хочется ему улепетнуть от своих августовских «спасителей». Еще выпустят ли? Они уже начали возмущаться.

Будет у нас, наконец, чистая «Петроградская» республика, сама себе голова анархическая.

Когда история преломит перспективы, — быть может, кто-нибудь вновь попробует надеть венец героя на Керенского. Но пусть зачтется и мой голос. Я говорю не лично. И я

умею смотреть на близкое издали, не увлекаясь. Керенский *был* тем, чем был в начале революции. И Керенский сейчас — малодушный и несознательный человек; а так как фактически он стоит наверху — то в падении России на дно кровавого рва повинен — он. Он. Пусть это помнят.

Жить становится невмоготу.

19 октября. Четв. (давно Спб).

Собственно все, даже мелкие течения жизни сейчас важны, и вся упущенная мною хронология. Но почему-то, от «революционной привычки», что ли, я впала в тупую скуку и лень записывать. Особенная, атмосферная, скука. Душенье.

Резких изменений пока еще нет. Предпарламент на днях оскандалился, вроде Дем. Сов.: *не мог* вынести резолюцию по обороне. Борис выбран в этот, как он говорит, «предбанник» (Учр. Собр. — будет баня!) от казаков. Вообще он, кажется, с «казачьем» что-то варит (уж не газетное, с газетой всякая возня в других аспектах).

Быть может, это и недурно, быть может, казаки и пригодились бы для известного момента... если б знать, какие у них силы и что у них на уме. Даже не в смысле их «правости»; в «делах» — правости сейчас никакой не надо бояться. Они хороши бы как сила внешняя для опоры средней массы демократов-оборонцев (кооператоров, крест. сов. и т.д.).

Но боюсь, что и Борис не вполне все знает о казаках. Они загадочные. Керенского терпеть не могут.

Вот уже две недели, как большевики, отъединившись от всех других партий (их опора — темные стада гарнизона, матросов и всяких отшибленных людей, плюс — анархисты и погромщики просто), — держат город в трепете, обещая генеральное выступление, погром для цели: «вся власть советам» (т.е. большевикам). Назначили самовольно съезд советов, сначала на 20-е, когда и объявили, было, знаменитое выступление, но затем отложили и то, и другое, — на 25 октября. Ленин каждодневно в «Рабочем Пути» (б. «Правда»), совершенно открыто, наставляет на этот погром, утверждая его, как дело решенное. Газеты спешат сообщить, что Пр-во «собирается» его арестовать. Вид: Керенский, во всем своем «дохлом» окружении, кричит Ленину:

— Антропка-а-а... Иди сюда-а... Тебя тятька высечь хочи-и-ить!

Оповещенный Антропка и не думает идти, хотя в отличие от Антропки тургеневского, не затихает, голос подает все время, и ни в какую порку не верит. И прав...

Это *мы* еще сохраняли остатки наивности, веря иной раз оповещенным намерениям «власти». Стоит этой власти что-либо пропикать, как знай: именно этого не будет. Просто замнется. С переездом Пр-ва в Москву: уже замялось. Хотя и думаю, что Керенский, попробовав почву и видя, что ни откуда не одобрен, решил пришипиться и удрать молчком, — ищи ветра в поле! притом ищи пешком, ибо всякое пассажирское движение проектируется приостановить. Или это тоже вранье и дороги просто сами собой остановятся? Ну, Керенский все-таки удерет, в последнюю минуту.

Было у нас много разных «газетных» заседаний, бывали мы у Л. и у Бориса, но вот отмечу один недавний вечер, как не лишенный любопытности.

У Глазберга (крупного дельца) на Вас. острове по инициативе М., вкупе с теми интеллигентскими кругами (ныне раздробленными остатками, непристроенными или полупристроенными к пр-ву), что процветали здесь до революции. Ну, и всякого жита по лопате. Цель — посовещаться о «возможности коллективного протеста интеллигенции против большевиков». Замечательно, что самого М. не было: уехал зачем-то в Новгород. Лекции, что ли, читать... (Вовремя!) Докладывала его проекты Z. У. Тут явился на сцену и мой резкий манифест с Красной Дачи.

Мы, с Борисом и Л., приехали, когда было уже порядочно народу. Жаль, что не помню всех. Была Кускова (она в «предбаннике», а муж ее, Прокопович, чего-то министр). Был ничего не понимающий и от всего отставший Батюшков. (Между прочим: после всех дебатов, после ужина, когда Борис, сидевший со мной рядом, уехал — он меня спросил: «а это кто такой?»).

Был Карташев, Макаров, конечно, кн. Андроников и т.д.

Ни малейшей тени «коллективизма» не вышло, конечно. О предмете, т.е. большевиках и о данной минуте, говорил только Борис, предлагавший как можно скорее собрать полуоткрытый митинг, да мы, защищавшие наш резкий мани-

фест и вообще стоявшие хоть за какое-нибудь определенное реагирование.

Карташев совершенно безотносительно занесся в свое, в мечты о создании опять какой-то «национальной» партии со Струве; говорили и другие — вообще, но со слезой; а больше всех меня поразила Кускова, эта «умная» женщина, отличающаяся ка́кой-то исключительной политической и жизненной недальновидностью. И знаю я это ее свойство, и каждый раз поражаюсь.

Она говорила длинно-предлинно, и смысл ее речи был тот, что «ничего не нужно», а нужно все продолжать, как интеллигенция делала и делает. Подробно и много она рассказывала о митингах, и «как слушали ее солдаты»! и о том, что где на оборону или войска какой-нибудь сбор, «то ни один солдат мимо не пройдет, каждый положит»... ну и дальше все в том же роде. Назад она везла нас в своем министерском автомобиле, и еще определеннее высказывалась все в том же духе. Допускала, что «может быть и нужна борьба с большевиками, но это дело не наше, не интеллигентское» (и выходило так, что и не «правительственное»), это дело солдатское, может быть и Бориса Викторовича дело, только не наше». А «наше» дело, значит, работать внутри, говорить на митингах, убеждать, вразумлять, потихоньку, полегоньку свою линию гнуть, брошюрки писать...

Да где она?! Да когда это все?! Завтра эти «солдатики» в нас из пушек запалят, мы по углам попрячемся, а она — митинги? Я не слепая, я знаю, что от этих пушек никакие манифесты интеллигентские не спасут, но чувство чести обязывает нас во время поднять голос, чтобы знали, на стороне *каких* мы пушек, когда они будут стрелять друг в друга; *отвечать* за одни пушки, как за свои. Как за свое дело. А не то что «пусть там разные Борисы Викторовичи с большевиками как хотят, а мы свою, внутреннюю, мирно-демократическую, возродительную линийку, ниточку будем тащить себе».

И вот все оно и правительство — подобное же. Из этих же интеллигентов-демократов, близоруких на 1 №, без очков.

Я уж потом замолчала. Потом она увидит, скоро. Пушка далеко стреляет.

За ужином вышел чуть не скандал. Дмитрий стал очень открыто и верно (совсем не грубо) говорить о Керенском.

Князь Андроников почти разрыдался и вышел из за стола: «не могу, не могу слышать этого о светлом человеке!»

Ну, все в подобном роде. Великолепный, по нынешним временам, ужин. Фрукты, баранки, белое вино. Глазберг — хозяин. Результат — никчемный.

Главное впечатление — точно располагаются на кипящем вулкане строить дачу. Дым глаза ест, земля трясется, камни вверх летят, гул, — а они меряют вышину окон, да сколько бы ступенек хорошо на крыльце сделать. Да и то не торопятся. Можно и так погодить. Еще посмотрим.

Но ни дыма, ни камней — определенно не видят. Точно их нет.

Дело Корнилова неудержимо высветляется. Медленно, постепенно обнажается эта история от последних клочков здравого смысла. Когда я рисовала картину вероятную, в первые часы, — затем в первые недели, — картина, в общем, оказывалась верна, только провалы, иксы, неизвестные места мы невольно заполняли, со смягчением в сторону хоть какого-нибудь смысла. Но по мере физического высветления темных мест — с изумлением убеждаешься, что тут, кроме лжи, фальши, безумия, — еще отсутствие здравого смысла в той высокой степени... на которую сразу не вскочишь.

Львов, только что выпущенный, много раз допрашиваемый, нисколько не оказавшийся «помешанным» (еще бы, он просто глупый) говорит и печатает потрясающие вещи. Которых никто не слышит, ибо дело сделано, «корниловщина» припечатана плотно; и в интересах не только «победителей», но и Керенского с его окружением, — эту печать удержать, к сделанному (удачно) не возвращаться, не ворошить. И всякое внимание к этому темному пятну усиленно отвлекается, оттягивается. Козырь, попавший к ним, большевики — (да и черновцы, и далее) — из рук не выпустят, не дураки! А кто желал бы тут света, те бессильны; вертятся щепками в общем потоке. Но здесь я запишу протокольно то, что уже высветилось.

Львов ездил в Ставку *по поручению* Керенского. Керенский дал ему категорическое поручение представить от Ставки и от общественных организаций их мнения о реконструкции власти в смысле ее усиления. (Это собственные слова Львова, а далее цитирую уже прямо по его показаниям).

«Никакого ультиматума я ни от кого не привозил и не мог привезти, потому что ни от кого таких полномочий не получал». С Корниловым «у нас была простая беседа, во время которой обсуждались различные пожелания. Эти пожелания я, приехав, и высказал Керенскому». Повторяю, «никакого ультимативного требования я *не* предъявлял и не мог предъявить, Корнилов его *не* предъявлял, и я этого от его имени *не* высказывал, и я не понимаю, кому такое *толкование моих слов, и для чего, понадобилось?*»

«Говорил я с Керенским в течение часа; внезапно Керенский потребовал, чтобы я набросал свои слова на бумаге. Выхватывая отдельные мысли, я набросал их, и *мне Керенский не дал даже прочесть,* вырвал бумагу и положил в карман. Толкование, приданное написанным словам «Корнилов предлагает» — я *считаю подвохом*». (Курс. везде подл.).

«Говорить по прямому проводу с Корниловым от моего имени я Керенского не уполномачивал, но когда Керенский прочел мне ленту в своем кабинете, я уже не мог высказаться даже по этому поводу, т.к. Керенский тут же арестовал меня». «Он поставил меня в унизительное положение; в Зимнем Дворце устроены камеры с часовыми; первую ночь я провел в постели с двумя часовыми в головах. В соседней комнате (б. Алекс. III) Керенский пел рулады из опер...»

Что, еще не бред? Под рулады безумца, мешающего спать честному дураку-арестанту, — провалилась Россия в помойную яму всеобщей лжи.

В рассказе, у меня, тогда была *одна* неточность, не меняющая дела ничуть, но для добросовестности исправлю эту мелочь. Когда Керенский выбежал к приезжающим министрам с бумажкой Львова («не дал прочесть...» «потребовал набросать...» «выхватывая отдельные мысли я набросал...») — в это время Львов еще не был арестован, он уехал из Дворца; Львов приехал тотчас после разговора по прямому проводу, и тогда, без объяснений, Керенский и арестовал его.

Как можно видеть, — высветления темных мест отнюдь не изменяют первую картину (см. запись от 31 авг.). Только подчеркивают ее гомерическую и преступную нелепицу. Действительно, чертова провокация!

21 октября. Суббота.

Завтра, 22-го, в воскресенье, назначено грандиозное моленье казачьих частей с крестным ходом. Завтра же «день Советов» (не «выступление», ибо выступление назначено на 25-ое, однако, «экивочно» обещается и раньше, если будет нужно). Казачий ход, конечно, демонстрация. Ни одна сторона не хочет «начинать». И положение все напряженнее — до невыносимости.

Керенский забеспокоился. Сначала этот ход разрешил. Потом, сегодня, стал метаться, нельзя ли запретить, но так, чтобы не от него шло запрещение. Погнал Карташева к митрополиту. Тот покорно поехал, ничего не выгорело.

А тут еще сегодня Бурцев хватил крупным шрифтом в «Общем Деле»: Граждане, все на ноги! Измена! Только что, мол, узнал, что военный министр Верховский предложил, в заседании комиссии, заключить сепаратный мир. Терещенко, будто бы, обозвал все Пр-во «сумасшедшим домом». «Алексеев плакал...»

Карташев вьется: «это бурцевская чепуха, он раздувает мелкий инцидент...» Но Карташев вьется и мажет по своему двойному положению правительственного и кадетского агента. Верховский (о нем все мнения сходятся) полуистеричный вьюн, дрянь самая зловредная.

Я не знаю, когда, — завтра или не завтра, начнется прорезыванье нарыва. Не знаю, чем оно кончится, я не смею желать, чтобы оно началось скорее... И все-таки желаю. Так жить нельзя.

И ведь когда-нибудь да будет же революционная борьба и победа... даже после контр-революционной победы большевиков, если и эта чаша горечи нас не минует, если и это испытание надо пройти. А думаю — надо...

Вчера у нас было «газетное» собрание, Борис очень настаивал, чтобы следующее назначить поскорее, во вторник. Я согласилась, хотя какое тут собрание, что еще во вторник будет..! Вот книга! Чуть сядешь за нее — какой-нибудь дикий телефон!

Сейчас больше 2-х ночи. Подхожу к аппарату. Чепуха, масса голосов, в конце концов мы оказываемся втроем.

Я. Allo! Кто звонит?

Голос. Вам что угодно?

Я. Мне ничего не угодно, ко мне звонят, и я спрашиваю: кто?

Гол. Я звоню 417-21.

Друг. гол. Я здесь, это Пав. Мих. Макаров, я звоню к вам, Зин. Ник-на...

I голос (радостно). Пав. Мих., я звоню к вам! Началось выступление большевиков, — на Фурштадской...

П. М. Да, и на Сергиевской...

Голос. Откуда вы знаете? Значит Правительству было известно..?

П. М. Да с кем я говорю?

(А я все слушаю).

Первый голос стал изъяснять свои официальные титулы, которые я забыла. Говорит, будто, из Зимнего Дворца. Выходило как-то, что он спешит известить П. М-ча *от Пр-ва* о выступлении большевиков, а П. М. уже знает *от того же Пр-ва,* которое... неизвестно что́. Наконец, запыхавшийся голос от нас отстал. Спрашиваю П. М-ча, зачем же он-то ко мне звонил.

— Вы слышали?

— Да, но что же делать? А вы еще что-нибудь хотели сказать мне?

— Я хотел попытаться, не найду ли у вас Бориса Викторовича. Его нигде нет...

Далее оказывается: Керенский телефонограммой отменил-таки завтрашнее моленье. Казаки подчинились, но с глухим ропотом. (Они ненавидят Керенского). А большевики, между тем, и моленья не ожидая, — выступили?

Скучная ночь. Я заперла, на всякий случай, окна. Мы как раз около казарм, на соединении Сергиевской и Фурштадской.

Пока что — улица тиха и черна самым обыкновенным образом.

24 октября. Вторник.

Ничего в ту ночь и на следующий день не произошло. Сегодня, после все усиливающихся угроз и самого напряженного состояния города, после истории с Верховским и его ухода, положение следующее.

Большевики со вчерашнего дня внедрились в Штаб, сде-

лав «военно-революционный комитет», без подписи которого «все военные приказания недействительны». (Тихая сапа!).

Сегодня несчастный Керенский выступал в Предпарламенте с речью, где говорил, что все попытки и средства уладить конфликт исчерпаны (а до сих пор все уговаривал!) и что он просит у Совета санкции для решительных мер и вообще поддержки Пр-ва. Нашел у кого просить и когда!

Имел очередные рукоплескания, а затем... началась тягучая, преступная болтовня до вечера, все «вырабатывали» разные резолюции; кончилось, как всегда, полуничем, левая часть (не большевики, большевики давно ушли, а вот эти полу-большевики) — пятью голосами победила, и резолюция такая, что Предпарламент поддерживает Пр-во при условиях: земля — земельным комитетам, активная политика мира и создание какого-то «комитета спасения».

Противно выписывать все это бесполезное и праздное идиотство, ибо в то же самое время: Выборгская сторона от- [illegible] и Петропавл. крепости весь гарнизон [illegible] Совета [illegible]

[illegible]

все было погублено; называет Керенского предателем и думает, что министрам не следует ночевать сегодня дома.

Карташев — в активной панике, все погибло, проклинает Керенского.

Гальперн говорит, что все Пр-во в панике, однако, идет болтовня, положение неопределенное. Борис — ничего не говорит. Звонил мне сегодня об отмене сегодняшнего собрания (еще бы!) П-лу М-чу велел сказать, что домой вернется «очень» поздно (т.е. не вернется).

Все, как будто, в одинаковой панике, и ни у кого нет активности самопроявления, даже у большевиков. На улице тишь и темь. Электричество неопределенно гаснет, и тогда надо сидеть особенно инертно, ибо ни свечей, ни керосина нет.

Дело в том, что многие хотят бороться с большевиками, но никто не хочет защищать Керенского. И пустое место — Вр. Правительство. Казаки, будто бы, предложили поддержку под условием освобождения Корнилова. Но это глупо: Керен-

ский уже не имеет власти ничего сделать, даже если б обещал. Если б! А он и слышать ничего не слышит.

Было днем такое положение: что резолюция Пред-та как бы упраздняет Пр-во, как будто оно уходит с заменой «социалистическим». Однако, авторы резолюции (левые, интернационалисты), потом любезно пояснили: нет, это не выражение «недоверия к Пр-ву» (?), а мы только ставим своим свои условия (?).

И — «правительство» остается. «Правительство продолжает борьбу с большевиками» (т.е. не борьбу, а свои поздние, предательские глупости).

Сейчас большевики захватили «Пта» (Пет. Телегр. Агенство) и телеграф. Правительство послало туда броневиков, а броневики перешли к большевикам, жадно братаясь. На Невском сейчас стрельба.

Словом, готовится «социальный переворот», самый темный, идиотический и грязный, какой только будет в истории. И ждать его нужно с часу на час.

Ведь шло все, как по писанному. Предпоследний акт начался с визга Керенского 26-27 августа; я нахожу, что акт еще затянулся — два месяца! Зато мы без антракта вступаем в последний. Жизнь очень затягивает свои трагедии. Еще неизвестно, когда мы доберемся до эпилога.

Сейчас скучно уже потому, что слишком все видно было заранее.

Скучно и противно до того, что даже страха нет. И нет — нигде — элемента борьбы. Разве лишь у тех горит «вдохновение», кто работает на Германию.

Возмущаться *ими* — не стоит. Одураченной темнотой — нельзя. Защищать Керенского — нет охоты. Бороться с ордой за свою жизнь — бесполезно. В эту секунду нет *стана,* в котором надо быть. И я определенно вне этой унизительной... «борьбы». Это, пока что, не революция и не контрреволюция, это просто — «блевотина войны».

* * *

Бедное «потерянное дитя», Боря Бугаев*, приезжал сюда и уехал вчера обратно в Москву. Невменяемо. Безответственно. Возится с этим большевиком — Ив. Разумником (да, вот

---

* Андрей Белый.

куда этого метнуло!) и с «провокатором» Масловским... «Я только литературно!» Это теперь, несчастный! — Другое «потерянное дитя», похожее, — А. Блок. Он сам сказал, когда я говорила про Борю: «и я такое же потерянное дитя». Я звала его в Савинковскую газету, а он мне и понес «потерянные» вещи: что я, мол, не могу, я имею определенную склонность к большевикам (sic!), я ненавижу Англию и люблю Германию, нужен немедленный мир на зло английским империалистам... Честное слово! Положением России доволен — «ведь она не очень и страдает...» Слова «отечество» уже не признает... Все время оговаривался, что хоть он теперь и так, но «вы меня, ведь, не разлюбите, ведь вы ко мне по-прежнему?» Спорить с ним бесполезно. Он ходит «по ступеням вечности», а в «вечности» мы все «большевики» (но там, в этой вечности, Троцким не пахнет, нет!).

С Блоком и с Борей (много у нас этих самородков!) можно говорить лишь в четвертом измерении. Но они этого не понимают, и потому произносят слова, в 3-х измерениях прегнусно звучащие. Ведь год тому назад Блок был за войну («прежде всего — весело!» говорил он), был исключительно ярым антисемитом («всех жидов перевешать»), и т.д. Вот и относись к этим «потерянным детям» по-человечески!

Электричество что-то не гаснет. Верно потому, что большевики заседают «перманентно». Сейчас нам приносили свежие большевистские прокламации. Все там гидры, «поднявшие головы»; гидра и Керенский — послал передавшихся броневиков. Заверения, что «дело революции (тьфу, тьфу!) в твердых руках».

Ну, черт с ними.

25 октября. Среда.

Пишу днем, т.е. серыми сумерками. — Одна подушка уже навалилась на другую: *город в руках большевиков.*

Ночью, по дороге из Зимнего Дворца, арестовали Карташева и Гальперна. 4 часа держали в Павловских казармах, потом выпустили, несколько измывшись.

Продолжаю при электричестве.

Я выходила с Дмитрием. Шли в аспидных сумерках по Сергиевской. Мзглять, тишь, безмолвие, безлюдие, серая кислая подушка.

На окраинах листки: объявляется, что «Правительство низложено». Прокоповича тоже арестовали на улице, и Гвоздева, потом выпустили. (Явно пробуют лапой, осторожно... Ничего!). Заняли вокзалы, Мариинский Дворец, (высадив без грома «предбанник»), телеграфы, типографии «Русской Воли» и «Биржевых». В Зимнем Дворце еще пока сидят министры, окруженные «верными» (?) войсками.

Последние вести таковы: Керенский вовсе не «бежал», а рано утром уехал в Лугу, надеясь оттуда привести помощь, но...

Электричество погасло. Теперь 7 ч. 40 минут вечера. Продолжаю с огарком...

Итак: но если даже лужский гарнизон пойдет (если!), то пешком, ибо эти живо разберут пути. На Гороховой уже разобрали мостовую, разборщики храбрые.

Казаки опять дали знать (кому?), что «готовы поддержать Вр. Пр-во». Но как-то кисловато. М[illegible]

[illegible] между [illegible]
что сейчас происходит, такая же разница, как между мартом и октябрем, между сияющим тогдашним небом весны и сегодняшними грязными, темно серыми, склизкими тучами.

Данный, значит, час таков: все бронштейны в беспечальном и самоуверенном торжестве. Остатки «Пр-ва» сидят в Зимнем Дворце. Карташев недавно телефонировал домой в обще-успокоительных тонах, но прибавил, что «сидеть будет долго».

Послы заявили, что больш. правительства они не признают: это победителей не смутило. Они уже успели оповестить фронт о своем торжестве, о «немедленном мире», и уже началось там — немедленно! — поголовное бегство.

Очень трудно писать при огарке. Телефоны еще действуют, лишь некоторые выключены. Позже, если узнаю что-либо достоверное (*не* слухи, коих все время — тьма), опять запишу, возжегши свою «революционную лампаду» — последний кривой огарок.

В 10 ч. вечера.

(Электричество только что зажглось).

Была сильная стрельба из тяжелых орудий, слышная здесь. Звонят, что, будто бы, крейсера, пришедшие из Кронштадта (между ними и «Аврора», команду которой Керенский взял для своей охраны в корниловские дни), обстреливали Зимний Дворец. Дворец, будто бы, уже взят. Арестовано ли сидевшее там Пр-во — в точности пока неизвестно.

Город до такой степени в руках большевиков, что уже и «директория», или нечто в роде назначена: Ленин, Троцкий — наверно; Верховский и другие — по слухам.

Пока больше ничего не знаю. (Да что знать еще, все ясно).

Позднее. Опровергается весть о взятии б-ми Зимнего Дворца. Сраженье длится. С балкона видны сверкающие на небе вспышки, как частые молнии. Слышны глухие удары. Кажется, стреляют и из Дворца, по Неве и по Авроре. Не сдаются. Но — они почти голые: там лишь юнкера, ударный батальон и женский батальон. Больше никого.

Керенский уехал раным-рано, на частном автомобиле. Улизнул-таки! А эти сидят, неповинные ни в чем, кроме своей пешечности и покорства, под тяжелым обстрелом.

Если еще живы.

26 октября. Четверг.

Торжество победителей. Вчера, после обстрела, Зимний Дворец был взят. Сидевших там министров (всех до 17, кажется) заключили в Петропавловскую крепость. Подробности узнаем скоро.

В 5 ч. утра было дано знать в квартиру Карташева. Сегодня около 11 ч. Т. с Д. В. отвезли ему в крепость белье и провизию. Говорят, там беспорядок и чепуха.

Вчера, вечером, Городская Дума истерически металась, то посылая «парламентеров« на «Аврору», то предлагая всем составом «идти умирать вместе с Правительством». Ни из первого, ни из второго ничего, конечно, не вышло. Маслов, министр земледелия (соц.), послал в Гор. Думу «посмертную» записку с «проклятием и презрением» демократии, которая посадила его в Пр-во, а в такой час «умывает руки».

Луначарский из Гор. Думы просто взял и пошел в Смольный. Прямым путем.

Однако, пока что, на съезде от большевиков отгородились почти все, даже интернационалисты и черновцы. Последние отозвали своих из «военно-рев. — комитета». (Все началось с этого комитета. Если черновцы там были, — значит, и они начинали).

Позиция казаков: не двинулись, заявив, что их слишком мало, и они выступят только с подкреплением. Психологически все понятно. Защищать Керенского, который потом объявил бы их контр-революционерами?..

Но дело не в психологиях теперь. Остается факт — объявленное большевистское правительство: где приемьер — Ленин-Ульянов, министр иностр. дел — Бронштейн, призрения — г-жа Коллонтай и т.д.

Как заправит это пр-во — увидит тот, кто останется в живых. Грамотных, я думаю, мало кто останется: петербуржцы сейчас в руках и распоряжении 200-сот тысячной банды гарнизона, возглавляемой кучкой мошенников.

Все газеты (кроме «Биржевых» и «Р. Воли») вышли, было... но по выходе были у газетчиков отобраны и на улицах сожжены.

Газету Бурцева «Общее Дело» накануне своего падения запретил Керенский. Бурцев тотчас выпустил «Наше общее дело», и его отобрали, сожгли, — уже большевики, причем (эти шутить не любят) засадили самого Бурцева в Петропавловку. Убеждена, что он нисколько не смущен. Его вечно, при всех случаях, все правительства, во всех местах земного шара — арестовывают. Он приспособился. Вынырнет.

Мы отрезаны от мира и ничего, кроме слухов, не имеем. Ведь все радио даже получают — и рассылают — большевики.

К Х. из крепости телефонировали, что просят доктора, — Терещенко и раненый вчера при аресте Рутенберг: «а мы другого доктора не знаем».

Погадавши, подумавши... Х. решил ехать, спросил автомобиль и пропуск. Еще не возвращался.

Кажется, большевики быстро обнажатся от всех, кто не они. Уже почти обнажились. Под ними... вовсе не «большевики», а вся беспросветно-глупая чернь и дезертиры, пойманные прежде всего на слово «мир». Но, хотя — черт их знает,

эти «партии», черновцы, например, или новожизненцы (интернационалисты)... Ведь и они о той же, большевистской, дорожке мечтали. Не злятся ли теперь и потому, что «не они», что у них-то пороху не хватило (демагогически)?

Позже.

Х. вернулся. Видел Терещенку, Рутенберга и Бурцева, да кстати и Щегловитова с Сухомлиновым. Карташева увидит завтра. Терещенко простужен (в Трубецком бастионе, где они все сидят, не топили, а там сырость), кроме того с непривычки трусит. Рутенберг и Бурцев абсолютно спокойны. Еще бы, еще бы. Рутенберг — старый террорист (это он убил Гапона), а о Бурцеве я уже говорила. Маслов в тяжелом нервном состоянии («социалист» называется!, но, впрочем, я его не знаю).

Х. говорит, что старая команда ему, как отцу родному, обрадовалась. Они под большевиками просто потому, что «большевики взяли палку». Новый комендант растерян. Все обеспокоены, — «что слышно о Керенском?»

Непрерывные слухи об идущих сюда войсках и т.д. — очень похожи на легенду, необходимую притихшим жителям завоеванного города. Я боюсь, что ни один полк уже не откликнется на зов Керенского — поздно.

Сейчас легенда сформировалась в целое сражение где-то или на станции Дно (блаженной, милой памяти Марта!), или в Вырицах.

27 октября. Пятница.

Целый день народ, не могла писать раньше. — То же захватное положение. Газеты социалистические, но антибольшевистские, вышли под цензурой, кроме «Новой Жизни», остальные запрещены. В «Известиях» (Совета) изгнана редакция, посажен туда больш. Зиновьев. «Гол. Солдата» — запрещен. Вся «демократия», все отгородившиеся от б-ков и ушедшие с пресловутого съезда организации, собрались в Гос. Думе. Дума объявила, что не разойдется (пока не придут разгонять, конечно!) и выпустила № «Солдатского Голоса» — очень резко против захватчиков. Номер раскидывался с думского балкона. Невский полон, а в сущности, все «обалдев-

ши», с тупо раскрытыми ртами. В Думе и Некрасов, ловко не попавший в бастион.

Интересны подробности взятия министров. Когда, после падения Зимнего Дворца (тут тоже много любопытного, но — после), их вывели, около 30 человек, без шапок, без верхней одежды, в темноту, солдатская чернь их едва не растерзала. Отстояли. Повели по грязи, пешком. На Троицком мосту встретили автомобиль с пулеметом; автомобиль испугался, что это враждебные войска, и принялся в них жарить; и все они, — солдаты первые, с криками, — должны были лечь в грязь.

Слухи, слухи о разных «новых правительствах» в разных городах. Каледин, мол, идет на Москву, а Корнилов, мол, из Быхова скрылся. (Корнилов-то уж бегал из плена посерьезнее, германского... почему бы не уйти ему из большевистского?).

Уже не слухи, — или тоже слухи, но упорные, — что Керенский, с какими-то фронтовыми войсками, в Гатчине. И Лужский гарнизон сдался без боя. От Гатчины к Спб. наши «победители» уж разобрали путь, готовятся.

Захватчики, между тем, спешат. Троцкий-Бронштейн уже выпустил «декрет о мире». А захватили они решительно все.

Возвращаюсь на минуту к Зимнему Дворцу. Обстрел был из тяжелых орудий, но не с «Авроры», которая уверяет, что стреляла холостыми, как сигнал, ибо, говорит, если б не холостыми, то Дворец превратился бы в развалины. Юнкера и женщины защищались от напирающих сзади солдатских банд, как могли (и перебили же их), пока министры не решили прекратить это бесплодие кровавое. И все равно инсургенты проникли уже внутрь предательством.

Когда же хлынули «революционные» (тьфу, тьфу!) войска, Кексгольмский полк и еще какие-то, — они прямо принялись за грабеж и разрушение, ломали, били кладовые, вытаскивали серебро; чего не могли унести — то уничтожали: давили дорогой фарфор, резали ковры, изрезали и проткнули портрет Серова, наконец, добрались до винного погреба... Нет, слишком стыдно писать...

Но надо все знать: женский батальон, израненный затащили в Павловские казармы и там поголовно изнасиловали...

«Министров-социалистов» сегодня выпустили. И они... вышли, оставив своих коалиционистов-кадет в бастионе.

28 октября. Суббота.

Только четвертый день мы под «властью тьмы», а точно годы проходят. Очень тревожно за тех, кто остался в крепости, когда «товарищи-социалисты» ушли. Караул все меняется, черт знает, на что он не способен. Там чепуха, свиданий никому не дают, потом одним фуксом дали, потом опять всех высадили... Весь день нынче возимся с Гор. Думой («комитет спасения»). Д. В. там даже был.

С утра слухи о сражении за Моск. Заставой: оказалось вздор. Днем, будто, аэроплан над городом разбрасывал листки Керенского (не видала ни листков, ничего). Последнее и подтверждающееся: прав. войска и казаки уже *были* в Царском, где гарнизон, как лужский и гатчинский, или сдавался, или, обезоруженный, побрел кучами в Спб. Почему же они были в Царском, — а теперь в Гатчине, на 20 верст дальше?

Командует, говорят, казачий генерал Краснов и слух: исполняет приказы только Каледина (и Каледин-то за тысячу верст!), а Керенский, который с ними, — у них, будто бы, «на веревочке». По выражению казака-солдата: «если что не по нашему, так мы ему и голову свернем».

Как значительны войска — неизвестно. Здешние стягивают на вокзалы своих, — силы «петроградского гарнизона» (шваль) и красногвардейцев. Эти храбрые, но все сброд, мальчишки.

Генерал Маниковский, арестованный с правительством, освобожден, хотя еще сегодня утром большевики хотели его расстрелять. Он говорил сегодня, что с казаками и с Керенским находился также и Борис. (Очень вероятно. Не сидит же он, сложа руки).

Сейчас льет проливной дождь. В городе — полуокопавшиеся в домовых комитетах обыватели, да погромщики. Наиболее организованные части большевиков стянуты к окраинам, ждя сражения. Вечером шлялась во тьме лишь вооруженная сволочь и мальчишки с винтовками. А весь «вр. комитет», т.е. Бронштейны-Ленины, переехал из Смольного... не в загаженный, ограбленный и разрушенный Зимний Дворец — нет! а на верную «Аврору...» Мало ли что...

Очень важно отметить следующее.

Все газеты оставшиеся, (3/4 запрещены), вплоть до «Нов. Жизни», отмежевываются от большевиков, хотя и в

разных степенях. «Нов. Жизнь», конечно, менее других. Лезет, подмигивая, с блоком, и тут же «категорически осуждает», словом, обычная подлость. «Воля Народа» резка до последней степени. Почти столь же резко и «Дело» Чернова. Значит: кроме групп с.д. меньшевиков и с.д. интернационалистов, правые с-эры и главная группа — с-эры черновцы — от большевиков отмежевываются? Но... в то же время намечается у последних с-эров, очень еще прикрыто, *желание использовать авантюру для себя*. (Широкое движение, уловимое лишь для знающего все кулисы и мобили).

То есть: левые, за большевиками, партии, особенно с-эры черновцы, как бы *переманивают* «товарищей» гарнизона и красногвардейцев (и т.д.): большевики, мол, обещают вам мир, землю и волю, и социалистическое устройство, но все это они вам не дадут, а могут дать — и дадим в превосходной степени! — *мы*. У них только обещания, а у нас это же, — немедленное и готовое. *Мы* устроим настоящее социалистическое правительство без малейших буржуев, *мы* будем бороться со всякими «Корниловцами», *мы* вам дадим самый мгновенный «мир» со всей мгновенной «землей». С большевиками же, товарищи дорогие, и бороться не стоит; это провокация, если кто говорит, что с ними нужно бороться; просто мы возьмем их под бойкот. А так как мы — все, то большевики от нашего бойкота в свое время и «лопнут, как мыльный пузырь».

Вот упрощенный смысл народившегося движения, которое обещает... не хочу и определять, что именно, однако очень много и, между прочим, ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ БЕЗ КОНЦА И КРАЯ.

Вместо того, чтобы помочь поднять опрокинутый полуразбитый вагон, лежащий на насыпи вверх колесами, — отогнав от вагона разрушителей, конечно, — напрячь общие силы, на рельсы его поставить, да осмотреть, да починить, — эта наша упрямая «дура», партийная интеллигенция, — желает только сама усесться на этот вагон... Чтобы наши «зады» на нем были, — не большевистские. И обещает никого не подпускать, кто бы ни вздумал вагон начать поднимать... а какая это и без того будет тяжкая работа!

Нечего бездельно гадать, чем все кончится. Шведы — (или немцы?) — взяли острова, близок десант в Гельсингфорсе. Все это по слухам, ибо из Ставки вестей не шлют, воору-

женные большевики у проводов, но... быть может, просто — «вот приедет немец, немец нас рассудит...»

Господи, но и это еще не конец!

29 октября. Воскресенье.

Узел туже, туже... Около 6 часов прекратились телефоны, — станция все время переходила то к юнкерам, то к большевикам, и, наконец, все спуталось. На улицах толпы, стрельба. Павловское Юнк. Уч. расстреляно, Владимирское горит; слышно, что юнкера с этим глупым полковником Полковниковым заседали в Инж. Замке. О войсках Керенского слухов много, — сообщений не добыть. Из дому выходить больше нельзя. Сегодня в нашей квартире (в столовой) дежурит домовой комитет, в 3 часа будет другая смена.

Вчера две фатальные фигуры X. и Z. отправились, было, соглашательной «делегацией» к войскам Керенского — «во избежание кровопролития». Но это вам, голубчики, не в Зимний Дворец шмыгнуть с ультиматумом Чернова. На первом вокзале их схватили большевики, били прикладами, чуть не застрелили, арестовали, издевнулись вдосталь, а потом вышвырнули в зад ногой.

Толпа, чернь, гарнизон — бессознательны абсолютно и сами не понимают, на кого и за кого они идут.

Газеты все задушены, даже «Рабочая»; только украдкой вылезает «Дело» Чернова (ах, как он жаждет, подпольно, соглашательства с большевиками!), да красуется, помимо «Правды», эта тля — «Новая Жизнь».

Петропавловка изолирована, сегодня даже X. туда не пустили. Вероятно, там, и на «Авроре», засели главари. И надо помнить, что они способны на все, а чернь под их ногами — способна еще даже больше, чем на все. И главари не очень-то ею владеют.

Петербург, — просто жители, — угрюмо и озлобленно молчит, нахмуренный, как октябрь. О, какие противные, черные, страшные и стыдные дни!

30 октября. Понедельник. 7 час. веч.

Положение неопределенное, т.е. очень плохое. Почти ни у кого нет сил выносить напряжение, и оно спадает, ничем не разрешившись.

ВОЙСКА КЕРЕНСКОГО НЕ ПРИШЛИ (и не придут, это уж ясно). Не то — говорят — в них раскол, не то их мало. Похоже, что и то, и другое. Здесь усиливаются «соглашательные» голоса, особенно из «Новой Жизни». Она уж готова на правительство с большевиками — «левых дем. партий». (Т.е. *мы* — с ними).

Телефон не действует, занят красной гвардией. Зверства «большевистской» черни над юнкерами — несказанны. Заключенные министры, в Петропавловке, отданы «на милость» (?) «победителей». Ушедшая, было, «Аврора» вернулась назад вместе с другими крейсерами. Вся эта храбрая и грозная (для нас, не для немцев!) флотилия — стоит на Неве.

31 октября. Вторник.

Отвратительная тошнота. До вечера не было никаких даже слухов. А газет только две — «Правда» и «Нов. Жизнь». Телефон не действует. Был всем потрясенный Х., рассказывал о «петропавловском застенке». Воистину застенок, — что там делают с недобитыми юнкерами!

Поздно вечером кое-что узнали, и очень правдоподобное.

Дело не в том, что у Керенского «мало сил». Он *мог бы* иметь достаточно, придти и кончить все здешнее 3 дня тому назад; но... (нет слов для этого, и лучше я никак и не буду говорить) — *он опять колеблется!* Отсюда вижу, как он то падает в прострации на диван (найдет диван!), то вытягивает шею к разнообразным «согласителям», предлагающим ему всякие «демократические» меры «во избежание крови». И в то время, когда здесь уже льется кровь детей-юнкеров, женщин, а в сырых казематах сидят люди пожилые, честные, ценные, виноватые лишь в том, что *поверили* Керенскому, взяли на себя каторжный и унизительный (при нем) правительственный труд! Сидят под ежеминутной угрозой самосуда пьяных матросов, — озверение растет по часам.

А Керенский — не все договорил еще! Его еще зудит выехать в автомобиле к «своему народу», к знаменитому «петроградскому гарнизону» — и поуговаривать. УЖ БЫЛО. Оказывается — выезжал. И не раз. Гарнизон не уговорился нисколько. Но он и не сражается. Постоит — и назад с позиций, спать. Сражается сброд и красная армия, мальчишки-рабочие с винтовками.

Казаки озлоблены до последней степени. Еще бы! Каково им там, в этом, поистине дурацком, положении? И Борису, если он там тоже сидит с ними. Каждое столкновение казаков с «красными», — (столкновений все же предотвратить нельзя, — Керенский верно, смахивает слезу пальцем перчатки) — кончается для красных плохо.

Керенский имеет сношение со здешними соглашателями-черновцами? Они же (как я верно писала) выбиваются из сил, желая воспользоваться *для себя* делом большевиков, которые исполнили грязную работу захватчиков и убийц. Черновцы мечтают приступить к дележке добычи, и непременно с тем, чтобы вся добыча была ихняя; вам же, грабители и убийцы, мы обещаем полную безнаказанность... Мало? Ну, вот вам уголок стола во время пира, мы ничего... (уже не говорят о «бойкоте», уже «согласны пустить и кое-каких большевиков в свое министерство...» А что говорят большевики? Они-то, — согласились делить по-черновски свою добычу? Они ничего не говорят. Они делают — свое.

Черновцы и всякие другие интернационалисты этим молчаньем не смущены. Убеждены, что все равно — разбойникам одним с добычей не справиться. Действительно, у них сейчас: служащие не служат, министерства не работают, банки не открываются, телефон не звонит, Ставка не шлет известий, торговцы не торгуют, даже актеры не играют. Весь Петербург озлоблен не менее казаков, но молчит и сопротивляется лишь пассивно.

Однако, страшно ли «обезьяне со штыком» пассивное сопротивление? И на что разбойникам министерства? На что им банки? Им сейчас нужны деньги, а для этого штык лучше служащих откроет банк. Они старались — и отдадут крупинку награбленного Чернову или кому бы то ни было?! У них можно только *отнять,* а они уж носом чуют, что «отниманьем» не очень пахнет. Еще боятся, еще шлют своих копьеносцев к «позициям» с колючей проволокой и хромыми пушками (оружие, однако, почти все в их руках), — но уже понемногу смелеют, тянут лапу... щупают; попробуют — можно. Дальше валяй.

Не бесцельно ли позорятся соглашатели, деля капитал (Россию) без «хозяев»?

Я лишь рисую сегодняшнее положение. И вот, наконец, последнее известие, естественно вытекающее из предыдущих:

три дня перемирия между войсками Керенского и большевиками. Во всех случаях это великолепно для большевиков. В три дня многое сделается и многое для них выяснится. Можно еще, «на всякий случай», укрепить свои позиции, подзуживая победительное торжество и терроризируя обывателей. Можно, кроме того, и поагитировать в «братских» войсках, теряющих терпение и, конечно, не пылающих высоким духом. Много, много можно сделать, пока болтают черновцы.

А немец — что? Или он — не сейчас?

О Москве: там 2000 убитых? Большевики стреляли из тяжелых орудий прямо по улицам. Объявлено было «перемирие», превратившееся в бушевание черни, пьяной, ибо она тут же громила винные погреба.

Да. Прикончила война душу нашу человеческую. Выела — и выплюнула.

1 ноября. Среда.

Все идет естественным (логическим) порядком. Как по писанному, — впрочем, ярче и ужаснее всякого «писанного». Дополнения ко вчерашнему такие: здешние соглашатели продолжают соглашаться... между собой, о том, что нужно согласиться с большевиками. В думском комитете до последнего поту сидели, все разговаривали, обсуждали состав нового «левого» правительства, чуть не все имена выбрали... так, как будто все у них в кармане и большевики положили завоеванный «Петроград» к их ногам. Самый жгучий вопрос решали: соглашаться ли им с большевиками? Решили. Соглашаться. Как вопрос о соглашательстве стоит у большевиков — этим не занимались. Разумелось само собой, что большевики только и ожидают, когда снизойдут к ним другие левые партии (!!).

В думском комитете, где осталось большевиков весьма немного, из захудалых, — да и те просто «присутствовали», — назначения так и сыпались. Чернов, конечно, премьером... Очевидец мне рассказывал, что это жалкое и страшное совещание все время сопровождалось смехом, и что это было особенно трагично. Предлагали так, просто, кого кто придумает. Предложили знаменитого Н. Д. Соколова, — его кандидатура была встречена особым взрывом смеха, но благосклонно. Вообще захудалые большевики мало против кого возра-

жали, они помалкивали и только смеялись. Горячо галдели все остальные.

Чернов, — вернее черновцы, ибо самого-то Чернова где-то нету, портфель министра нар. просв. снисходительно обещали Луначарскому. (А он давно в Смольном!). Проекты блистательные...

...Царское было раньше оставлено; туда, после оставления Гатчины, явились, свободно и смело, большевики. Распубликовали, что «Царское взято». Застрелили спокойно коменданта (не огорчайтесь, А. Ф., это не «демократическая» кровь), стали сплошь врываться в квартиры. Над Плехановым издевались самым площадным образом, в один день обыскивали его 15 (sic!) раз. Больной, туберкулезный старик слег в постель, положение его серьезно.

Вот картина. Не думаю, однако, чтобы кто-нибудь, по каким угодно рассказам и записям, мог понять и представить себе нашу здесь *атмосферу*. В ней надо жить самому.

Сегодня большевики, разведя все мосты, просунули на буксире (!) свои броненосцы по Неве к Смольному. Совершенно еще не встречавшееся безумие.

По городу открыто ходят весьма известные германские шпионы. В Смольном они называются: «представители германской и австрийской демократии». Избиение офицеров и юнкеров тоже входило в задачу Бронштейна? Кажется, с моста Мойки сброшено пока только 11, трупы вылавливаются. Убит и князь Туманов, — нашли под мостом.

Самое последнее известие: Керенский и не в Гатчине, а совершенно неизвестно где. Слух, что к нему собрался, было, ехать Луначарский (это еще что?), но Керенского нет.

2 ноября. Четверг.

Я веду эту запись не только для сводки фактов, но и для посильной передачи атмосферы, в которой живу. Поэтому записываю и *слухи* по мере их поступления.

Сегодня почти все, записанное вчера, подтверждается. В чисто-большевистских газетах трактуется с подробностями «бегство» Керенского. Будто бы в Гатчине его предали изменившие казаки и он убежал на извозчике, переодевшись матросом. И даже, наконец, что в Пскове, окруженный враждебными солдатами, он застрелился.

Из этого верно *только одно,* конечно: что Керенский куда-то скрылся, его при «его» войсках нет, и никаких уже «его войск» — нет.

Соглашательские потуги (вчерашнее «министерство») стыдливо затихли.

Масса явных вздоров о Германии, о наступлении Каледина на Харьков (психологически понятные легенды). А вот не вздор: в Москве, вопреки вчерашним успокоительным известиям, полнейшая и самая страшная бойня: расстреливают Кремль, разрушают Национальную и Лоскутную гостиницы. Штаб на Пречистенке. Много убитых в частных квартирах — их выносят на лестницу (из дома нельзя выйти). Много женщин и детей. Винные склады разбиты и разграблены. Большевистские комитеты уже не справляются с толпой и солдатами, взывают о помощи к здешним.

Черно-красная буря над Москвой. Перехлест.

Уехать нельзя и внешне (*и внутренно*) Да и некуда.

Пока формулирую кратчайшим образом происходящее так: Николай II начал, либералы-политики продолжили — поддержали, Керенский закончил.

Я не переменилась к Керенскому. Я всегда буду утверждать, как праведную, его позицию во время войны, во время революции — до июля. Там были ошибки, человеческие; но в марте он буквально *спас* Россию от немедленного безумного взрыва. После конца июня (благодаря накоплению ошибок) он был кончен, и, оставаясь, *конченный,* во главе, держал руль *мертвыми* руками, пока корабль России шел в водоворот.

Это конец. О начале — Николае II — никто не спорит. О продолжателях-поддерживателях, ка-детах, правом блоке и т.д. — я довольно здесь писала. Я их не виню. Они были слепы, и действовали, как слепые. Они не взяли в руки *неизбежное,* думали, отвертываясь, что оно — избежно. Все видели, что КАМЕНЬ УПАДЕТ (моя запись 15-16-го года), все кроме них. Когда камень упал, и тут они почти ничего не увидели, не поняли, не приняли. Его свято принял на свои слабые плечи Керенский. И нес, держал (один!), пока не сошел с ума от непосильной ноши, и камень — не без его содействия, — не рухнул всею своею миллионнопудовой тяжестью — на Россию.

3 ноября. Пятница.

Весь день тревога о заключенных. Сигнал к ней дал Х., вернувшийся из Петропавловки. Там плохо, сам «комендант» боится матросов, как способных на все при малейшей тревоге. Надо ухитриться перевести пленников. Куда угодно — только из этой матросско-большевистской цитадели. Обращаться к Бронштейну — единственный *вполне* бесполезный путь. Помимо противности вступать с ним в сношения — это так же бесцельно, как начать разговор с чужой обезьяной. Была у нас мать Терещенки. Мы лишь одно могли придумать — скользкий путь обращения к послам. Она видела Фрэнсиса, увидит завтра Бьюкенена. Но их тоже положение, — обращаться к «правительству», которого они не признают? Надо хранить международные традиции; но все же надо понимать, что это ...., для которой нет ни признания, ни непризнания.

Посольства охраняются польскими легионерами.

О Москве сведения потрясающие. (Сейчас — опять, что утихает, но уже и не верится). Город в полном мраке, телефон оборван. Внезапно Луначарский, сей «покровитель культуры», зарвал на себе волосы и, задыхаясь, закричал (в газетах), что если только все так, то он «уйдет, уйдет, из большевистского пр-ва»! Сидит.

Соглашатели хлебнули помоев впустую: большевики недаром смеялись, — они-то ровно ни на что не согласны. Теперь, — когда они упоены московскими и керенскими «победами»? Соглашателям вынесли такие «условия», что оставалось лишь утереться и пошлепать восвояси. Даже подленинцы из «Новой Жизни» ошарашились, даже с-эры черновцы дрогнули. Однако, эти еще надеются, что б-ки пойдут на уступочки (легкомыслие), уверяют, что среди б-ков — раскол... А, кажется, у них свой начинается раскол и некоторые с-эры («левые») готовы, без соглашений, прямо броситься к большевикам: возьмите нас, мы уже сами большевики.

В Царском убили священника за молебен о прекращении бойни (на глазах его детей). Здесь тишина, церковь все недав ние молитвы за Врем. Пр-во тотчас же покорно выпустила. Банки закрыты.

Где Керенский — неизвестно; в этой истории с большевистскими «победами» и его «побегом» есть какие-то факты,

которых я просто *не знаю*. Борис там с ним был, это очевидно. Одну ночь он ночевал в Царском наверно (косвенные сведения). Но был и в Гатчине. Ну, даст весть.

4 ноября. Суббота.

Все то же. Писать противно. Газеты — ложь сплошная.

Впрочем: расстрелянная Москва покорилась большевикам.

Столицы взяты вражескими — и варварскими — войсками. Бежать некуда. Родины нет.

5 ноября. Воскресенье.

Приехал Горький из Москвы. Начал с того, что объявил: «ничего особенного в Москве не происходило» (?!) X. видел его мельком, когда он ехал в свою «Нов. Жизнь». Будто бы, «растерян», однако «Нов. Жизнь» поддерживает; помогать заключенным (у него масса личных друзей среди б-кого «правительства») и не думает.

В стане захватчиков есть брожения; но что это, когда два столпа непримиримых и непобедимых на своих местах: Ленин и Троцкий. Их дохождение до последних пределов и незыблемость объясняется: у Ленина попроще, у Троцкого — посложнее.

Любопытны подробности недавних встреч фронтовых войск с большевистскими (где всегда есть агитаторы). Войска начинают с озлобления, со стычек, с расстрела... а большевики, не сражаясь, постепенно их разлагают, заманивают, и, главное, как зверей, *прикармливают*. Навезли туда мяса, хлеба, колбас — и расточают, не считая. Для этого они специально здесь ограбили все интенданство, провиант, заготовленный для фронта. Конечно, и вином это мясо поливается. Видя такой рай большевистский, такое «угощение», эти изголодавшиеся дети-звери тотчас становятся «колбасными» большевиками. Это очень страшно, ибо уж очень явственен — дьявол.

Керенский, действительно, убежал, — во время начавшихся «переговоров» между «его» войсками и б-стскими. Всех подробностей еще не знаю, но общая схема, кажется, верна; эти «переговоры» — результат его непрерывных колебаний (в такие минуты!), его зигзагов. Он медлил, отдавал противоре-

чивые приказы Ставке, то выслать войска, то не надо, вызванные возвращал с дороги, торговался и тут (наверно с Борисом и с казаками: их было мало, они должны были требовать подкрепления). Устраивал «перемирия» для выслушивания приезжающих «соглашателей»... Словом, та же преступная канитель, — наверно.

Рассказывают (очевидцы), что у него были моменты истерического геройства. Он как-то остановил свой автомобиль и, выйдя, один, без стражи, подошел к толпе бунтующих солдат... которая от него шарахнулась в сторону. Он бросил им: «мерзавцы!», пошел, опять один, к своему автомобилю уехал.

Да, фатальный человек; слабый... герой. Мужественный ... предатель. Женственный... революционер. Истерический главнокомандующий. Нежный, пылкий, боящийся крови — убийца. И очень, очень, весь — несчастный.

6 ноября. Понедельник.

Я кончу, видно, свою запись в аду. Впрочем — ад был в Москве, у нас еще предадье, т.е. не лупят нас из тяжелых орудий и не душат в домах. Московские зверства не преувеличены — преуменьшены.

Очень странно то, что я сейчас скажу. Но... мне СКУЧНО писать. Да, среди красного тумана, среди этих омерзительных и небывалых ужасов, на дне этого бессмыслия — скука. Вихрь событий и — неподвижность. Все рушится, летит к черту и — нет жизни. Нет того, что делает жизнь: элемента борьбы. В человеческой жизни всегда присутствует элемент волевой борьбы; его сейчас почти нет. Его так мало в центре событий, что они точно сами делаются, хотя и посредством людей. И пахнут мертвечиной. Даже в землетрясении, в гибели и несчастии совсем внешнем, больше жизни и больше смысла, чем в самой гуще ныне происходящего, — только начинающего свой круг, быть может. Зачем, к чему теперь какие-то человеческие смыслы, мысли и слова, когда стреляют вполне бессмысленные пушки, когда все делается посредством «как бы» людей, и уже не людей? Страшен автомат, — машина в подобии человека. Не страшнее ли человек — в полном подобии машины, т.е. без смысла и без воли?

Это — война, только в последнем ее, небывалом, идеальном пределе: обнаженная от всего, голая, последняя. Как если бы пушки сами застреляли, слепые, не знающие куда и зачем. И *человеку* в этой «войне машин» было бы — сверх всех представимых чувств — еще СКУЧНО.

Я буду, конечно, писать... Так, потому что я летописец. Потому что я дышу, сплю, ем... Но я не живу.

Завтра предполагается ограбление б-ками Государственного Банка. За отказом служащих допустить это ограбление на виду — б-ки сменили полк. Огрябят завтра при момощи этой новой стражи.

Видела жену Коновалова, жену Третьякова. Союзные посольства дали знать в Смольный, что если будут допущены насилия над министрами — они порывают все связи с Россией. Что еще они могут сделать? Третьякова предлагает путь подкупа (в виде залога; да этим, видно, и кончится). Они выйти согласятся лишь вместе.

У Х. был Горький. Он производит *страшное* впечатление. Темный весь, черный, «некочной». Говорит — будто глухо лает. Бедной Коноваловой при нем было очень тяжело. (Она — милая француженка, виноватая перед Горьким лишь в том, разве, что ее муж «буржуй и кадет»). И вообще получалась какая-то каменная атмосфера. Он от всяких хлопот за министров начисто отказывается.

— Я... органически... не могу... говорить с этими... мерзавцами. С Лениным и Троцким.

Только что упоминал о Луначарском (сотрудник «Н. Жизни», а Ленин — когда-то совсем его «товарищ») — я и возражаю, что поговорите, мол, тогда с Луначарским... Ничего. Только все о своей статье, которую уж он «написал»... для «Нов. Жизни»... для завтрашнего №... Да черт в статьях! Х. пошел провожать Коновалову, тяжесть сгустилась. Дима хотел уйти... Тогда уж я прямо к Горькому: никакие, говорю, статьи в «Нов. Жиз.» не отделят вас от б-ков, «мерзавцев», по вашим словам; вам надо уйти из этой компании. И, помимо всей «тени» в чьих-нибудь глазах, падающей от близости к б-кам, — что сам он, спрашиваю, сам-то перед собой? Что говорит его *собственная совесть?*

Он встал, что-то глухо пролаял:

— А если... уйти... с кем быть?

Дмитрий живо возразил:

— Если нечего есть — есть ли все-таки человеческое мясо?

* * *

Здесь обрывается текст моей «Петербургской Записи», — все, что от нее уцелело и, после долгих лет попало в мои руки. Продолжения (которое по размеру почти равно печатаемому, хотя обнимает всего 20 следующих месяцев) я не имею, и, вероятно, никогда иметь не буду. У меня сохранились лишь отрывочные заметки самых последних месяцев в СПБ (июнь 19 г. по янв. 20 г.), — эти заметки вошли в сборник «Царство Антихриста», вышедший заграницей в 21 г. на русском, французском и немецком языках. Они будут впоследствии перепечатаны в отдельном издании, соединенные с такими же заметками о шестимесячном нашем пребывании в Польше в 1920 г., с января по ноябрь.

Автор.